

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

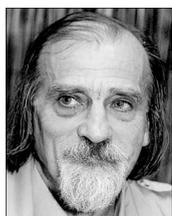
НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 4 (5 1) / 2 0 2 3



НИКОЛАЙ
СВЕЧИН
Нижний Новгород

4



ЕФИМ
ГАММЕР
Иерусалим

42



АЛЕКСАНДР
ОРЛОВ
Москва

52



НИКОЛАЙ
РАЧКОВ
Тосно,
Ленинградской обл.

57



ГЕННАДИЙ
ИВАНОВ
Москва

62



АНАСТАСИЯ
РОСТОВА
Нижний Новгород

67



АЛЕКСЕЙ
ПЕНДРАКОВ-
СКИЙ
Москва

71



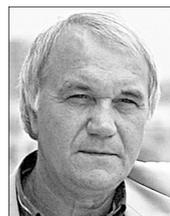
АЛЕКСАНДР
КРАМЕР
Любек, Германия

102



ТАТЬЯНА
ЯРЫШКИНА
Сыктывкар

120



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЕВ
Санкт-Петербург

123



МАРГАРИТА
ШУВАЛОВА
Кстово

127



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

135



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

172



ЛЕЙЛА
ОРЕН
Нижний Новгород

177



АЛЛА
НОВИКОВА-
СТРОГАНОВА
Орен

194

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Николай СВЕЧИН В ЧЕЧЕНСКИХ ГОРАХ	4
Владимир КУЗИН ОТЕЦ МИХАИЛ	17
Наталья ВЕСЕЛОВА НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ	23
Ефим ГАММЕР БЕЗ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ	42
Александр ОРЛОВ УСТРОИТЕЛЬНИЦА	52

Поэзия

Николай РАЧКОВ И ГНЕВ НА СЕРДЦЕ, И ГРУСТЬ...	57
Геннадий ИВАНОВ ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ И РОДИНЕ, И ЧЕСТИ	62
Анастасия РОСТОВА И НАД ОБРЫВОМ ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ...	67

Проза

Алексей ПЕНДРАКОВСКИЙ ПОЕХАВШИЙ	71
НОЧЬ В БИЛЬЯРДНОЙ	79
Андрей БАРАНОВ ВЕЗУНЧИК	84
Елена АНТИПОВА АНКИНА РОДНЯ	97
Александр КРАМЕР ДРУГИЕ	102
Максим СИМБИРЕВ ТРОФЕИ	115

Поэзия

Татьяна ЯРЫШКИНА ДО ТЕБЯ	120
Александр КОВАЛЕВ ПИСЬМА С СЕВЕРА	123
Маргарита ШУВАЛОВА К БЕРЕГАМ ЭТИМ ДОЛГИМ БЫЛ ПУТЬ...	127
Аркадий ГОНТОВСКИЙ ТОНКИЙ СОН	131

Из будущих книг

Елена КРЮКОВА ЛАЗАРЕТ, фрагменты	135
--	-----

Стихи по кругу

Олег РЯБОВ	172
Рустам МАВЛИХАНОВ	173
Евгений ХАРИТОНОВ	174
Петр РОДИН	175
Андрей БОНДАРЕНКО	176
Лейла ОREN	177

Юбилеи

Вениамин ХАНОВ УЧИТЕЛЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 100 лет российскому литературоведу профессору Ивану Кирилловичу Кузьмичёву	179
--	-----

Вехи памяти

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА ПОСЛЕДНЕЕ УПОВАНИЕ 140 лет со дня смерти И.С. Тургенева	194
Галина МУХИНА «СУТЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА – В ПРАВДЕ» 150 лет со дня рождения Михаила Пришвина	206
Валерий СУХОВ «УБРАЛИ ТОПСЕЛЯ И ЖДАЛИ ШТОРМА» Дебют Анатолия Мариенгофа	222

Литпроцесс

Елена РУСАКОВА: ЖУРНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОКРЫМ ОТ СЛЁЗ ЧИТАТЕЛЯ – СЛЁЗ ЯРОСТИ, ПЕЧАЛИ, СМЕХА	228
Лидия ДОВЫДЕНКО «ВЕСЬ МИР – ЛАЗАРЕТ...» О новой книге Елены Крюковой	232
Дарья СИМОНОВА ВИТРАЖИ НА СОЛНЦЕ О книге Марины Соловьевой «Разные двери»	238

Николай СВЕЧИН

Родился в 1959 году в Горьком. Окончил экономический факультет Горьковского госуниверситета. Работал нормировщиком на заводе, инструктором горисполкома, занимался бизнесом.

Первая книга, объединившая две повести («Завещание Аввакума» и «Охота на царя»), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. Плодотворно работает в жанре исторического детектива. Лауреат премии в области литературы и кино «Русский детектив» (2021) сразу в двух номинациях: роман «Взаперти» назван лучшим в номинации «Детектив года», а сам Инкин признан «Автором года» с произведением «Кубанский огонь». Почетный гражданин Нижнего Новгорода.

Живет в Нижнем Новгороде.

В ЧЕЧЕНСКИХ ГОРАХ

Август 1878 года вольноопределяющийся Сто шестьдесят первого Александропольского пехотного полка Алексей Лыков встретил в горах. Их партизанская команда выслеживала непримиримых – участников прошлогоднего газавата. Само восстание было давно подавлено. Чеченцы и дагестанцы ударили в спину русской армии, когда та сражалась с турками. Зачинщиками выступили паломники. Они возвращались из Мекки через Константинополь, где встречались с мухаджирами – беженцами, переселившимися с русского Кавказа в Блистательную Порту. Мухаджиры ненавидели царскую власть и мечтали вернуться на родину. Сотни их тайно проникли в Терскую область и готовили там бунт. Идея была возродить на Кавказе имапат по образцу Шамиля. Свергнуть урусов и создать мусульманское государство, живущее по законам шариата и подчиняющееся вождю всех правоверных – турецкому султану. Добавляли масла в огонь беглые ссыльные. Начальство в наказание за беспокойное поведение отправляло их в центральные русские губернии под надзор полиции. Надзор, однако, был такой, что туземцы быстро возвращались в родные горы и селились среди единоверцев, которые их прятали. Наводненный эмигрантами и беглыми, край походил на пороховую бочку, готовую взорваться в любую минуту. Фитилем для взрыва и стала начавшаяся война.

Вождем бунта неожиданно для всех сделался Алибек-Хаджи Алдамов из Зандака. Ему было всего двадцать семь лет, когда молодой чече-

нец вернулся из паломничества. В Константинополе хаджи встретился с турецким генералом Гази-Магомедом, сыном Шамиля. В свое время тот принял вместе с отцом и братом присягу на верность Александру Второму. Потом он выпросил у государя разрешение отлучиться ненадолго в Турцию, чтобы уладить отношения с родственниками. Забрал огромную пятнадцатитысячную пенсию и остался там навсегда, нарушив данное слово. Теперь Гази-Магомед готовил восстание в тылу русских войск. Он обещал Алдамову, что османы высадят десант на Черноморском побережье Кавказа и придут на выручку повстанцам. С двух сторон задавят русских и водрузят зеленое знамя ислама...

Когда началась война, Алибек-Хаджи подбил своих однообщественников взяться за оружие. Его избрали имамом. Вспыхнуло кровавое восстание, получившее название малый газават (большой был при Шамиле). Пламя восстания перекидывалось от аула к аулу. К Зандаку присоединились многие общества, но не все. Например, Гудермес и Шали встретили бунтарей выстрелами. Старшина Шали прапорщик Борщих Ханбулов убедил земляков, что власть белого царя крепка, восстание не имеет шансов на успех и лишь принесет народу горе и лишения¹. Ряд других селений дали своих мужчин в отряды милиции, которые помогали немногочисленным войскам бороться с мюридами Алибека. Того, в свою очередь, поддерживали дагестанцы. В Гунибском округе объявили имамом Мухаммад-Хаджи Согратлинского, осадили Гунибское укрепление и перерезали сообщение по дорогам. А Мехти-бека назвали имамом всего Кавказа и уцмием² Кайтага и Табасарана.

В мае 1877 года турки действительно высадились в Очамчире, Гаграх и Адлере. Но до Чечни с Дагестаном они не добрались, да не очень-то и старались. Уже в августе их выкинули обратно. И повстанцы остались один на один с русской армией. Мятежные аулы сжигались, посевы уничтожались, жители переселялись на равнины. Алибек-Хаджи метался по Ичкерии и Салаватии, постоянно возвращаясь в родные ему Симсирские леса. Он считал свой хутор Симсир неприступным для противника. С одной стороны селение окружал непроходимый лес, а с трех других – глубокие овраги. Но регулярные войска при поддержке туземной милиции преодолели все препятствия. Власть щедро платила своим и союзникам. Милиционеры получали пятнадцать рублей жалованья в месяц. А за каждого доставленного повстанца, независимо, живого или мертвого, выдавали двадцать пять рублей. Охочие до денег смельчаки озолотились.

К октябрю мятеж был в целом подавлен. Алибек надеялся на осеннюю распутицу, когда воевать в горах нельзя, и заперся в очередном неприступном ауле у подножия горы Дарум. Аул расположился в треугольнике, образуемом реками Беноевский Ярык-Су и Ауховский Ярык-Су. В вершине треугольника реки сливались, их глубокие ущелья служили защитой повстанцам. Имам создал там лагерное место с большими запасами вяленой баранины, чая, сахара, масла, красных товаров. Взять его осенью было очень трудно, почти невозможно. Но среди горцев нашелся предатель. Богатый чеченец Бий-Султан был скомпрометирован перед властями, его ожидало наказание. Желая спасти имущество, он предложил генералу Смекалову, командующему карательной

¹ Впоследствии Борщих Ханбулов получил за это от правительства большую пожизненную пенсию. (Здесь и далее примеч. автора.)

² Уцмий – правитель.

экспедицией, привести отряд тайными тропами через горы прямо в аул. Генерал согласился. Он выделил большие силы для создания в лесах множества засад. Когда в селении завязался бой, восставшие в панике бросились в разные стороны. И попали в засады, где их нещадно истребляли. Начались травля и избиение беглецов. Алибек-Хаджи спасся всего с пятью сообщниками.

Имамат доживал последние дни. Один за другим пали Цудахар и Телетль. Их сначала разрушили артиллерией, потом взяли штурмом и сожгли дотла. Последним склонился Согратль. После двухдневных боев его жители выдали военным руководителей обоих восстаний – и чеченского, и дагестанского. Мухаммад-Хаджа Согратлинский, его отец шейх Абдурахман-Хаджи, Аббас-паша, Умма-Хаджи Дуев, Даду Залмаев и Даду Умаев оказались в плену.

Из вождей один лишь неуловимый Алибек вновь выскользнул из окружения и вернулся в Чечню. Но уже через три недели он тоже сдался – чтобы не пострадали принявшие его аулы. По всей Терской области начались военно-полевые суды. Власти отказались от прежней тактики умиротворения и мягких репрессий. С 10 по 30 ноября в разных местах были казнены более трехсот человек. Главного атамана, Алибека-Хаджи Алдамова, и одиннадцать его ближайших сподвижников повесили 9 марта 1878 года на базарной площади в Грозном.

Открытое неповиновение широких масс было подавлено. Однако в горах остались непримиримые – власти называли их недобитками. Счет им шел на сотни, и они представляли большую опасность. Военная администрация создала для борьбы с инсургентами так называемые партизанские команды. Партизанскими их именовали потому, что те действовали без всякого руководства сверху, на свой страх и риск. Впервые их придумал начальник Терской области генерал-адъютант Свистунов. Когда бунтовщики перерезали дороги и нарушили сообщение с Ведено, он выслал на борьбу с ними отряды с особыми полномочиями. Партизаны патрулировали дороги и убивали всякого, кто казался им подозрительным. Без суда и следствия. Террор принял такие масштабы, что запуганные жители окрестных селений держались от дорог подальше. Когда вождей перевешали, команды сначала распустили. Но летом 1878 года часть их была заново сформирована. С одной разницей: если в прошлом году средняя численность штыков в них составляла сто – сто пятьдесят человек, то теперь максимум десять-двенадцать. Активная фаза войны закончилась, и отряды сделали небольшими, для лучшей маневренности. Отчаянные люди силой в одно неполное отделение шли во враждебные горы. И резались там с абреками, дезертирами, беглыми ссыльными... Кровавые схватки шли каждый день, без свидетелей, без подмоги из крепостей, без начальственного глаза, по принципу «кто кого».

Алексей Лыков к лету излечился от раны, полученной при штурме Цихидзирских высот. Он мог уже ехать домой – доброволец с Георгиевским крестом, со шрамом под самым сердцем. Но решил дополнительно испытать себя. Его сманил Калина Голунов. Пластун, видать, не навоевался досыта и записался в партизанскую команду очищать ущелья Ичкерии. Там шалили разрозненные группы бывших инсургентов. Вольноопределяющийся согласился. Правда, затем их разделили. Голунова как опытного командира назначили помощником начальника сводного отряда из пяти партизанских команд. А Лыков попал в кормишинскую артель. Так называлась команда старшего унтер-офицера

Ширванского полка Сергея Михайловича Кормишина. Он не уступал самому Калине, в ничьей опеке не нуждался и действовал с большой храбростью, помноженной на опыт и тщательный расчет.

Нижегородец быстро понял, что с командиром ему опять повезло. У Кормишина было чему поучиться. Сергей Михайлович воевал на Кавказе уже двадцать лет. Он участвовал еще в штурме аула Гуниб и пленении Шамиля. Жилистый, неутомимый, наблюдательный, невероятно опытный, старший унтер-офицер всегда добивался результата. Его артель уничтожила больше всех мятежников при самых малых потерях. Командование ставило Кормишина в пример остальным, а по итогам летней кампании он получил третьего Георгия. (Лыкову тогда же навесили Аннинскую медаль¹.)

Начальник переговоров с Калиной, затем расспросил Лыкова и принял его к себе, несмотря на молодость. Кроме них двоих в артель входили еще семеро.

Два казака-терца из Кизляро-Гребенского полка держались вместе. Оба именовались Александрами: высокий – по фамилии Гурин и низенький – Баюнов. Их называли Шура Крупный и Шура Мелкий. При этом Баюнов был сильнее и ловчее своего товарища-гиганта. Веселые, бывалые, они пользовались большим успехом у женщин всех народностей. И тут уже Гурин побеждал Баюнова.

Василий Листопадов ставил себя высоко и жил особняком. Его кличка – Васька Стрелок – была получена не просто так. Листопадов великолепно стрелял и охотно применял свои навыки. Всякий солдат убивает в бою: там думать некогда, или ты врага, или он тебя. Но в передышке между схватками служивый закурит трубку, поболтает с приятелем, вспомнит о доме. А Васька брал винтовку и выходил на охоту. Он занимал позицию на ничейной полосе и ждал добычи. При появлении зазевавшегося противника стрелял и всегда попадал. Солдаты не любили его за тягу к убийствам. Листопадов сделался в роте изгоем, с ним не разговаривали, не делились табаком. Он замкнулся и стал только злее. Потом его ранили. Стрелок вылезился и на войну не вернулся, а подался бороться с повстанцами. Там за убитого горца платили четвертной билет! Васька открыл промысел и заработал за осень 1877 года триста с лишним рублей, а также получил ефрейторскую лычку. Деньги он носил при себе, не доверяя никому, и время от времени вынимал и пересчитывал. Чем еще больше настраивал против себя товарищей.

Когда Лыков пришел в артель, они со Стрелком выяснили, кто из них лучше. Алексей показал класс, он не уступил в меткости, хотя дольше целился. Листопадов зауважал парня и даже показал ему несколько секретных приемов. Вольноопределяющийся их запомнил.

Харитон Бындарь, Иван Толстопят и Макар Кляузин были просто хорошие солдаты с боевым опытом.

Замыкал артель анекдотичный персонаж – Иоганн Пупершлаг. Саратовский немец выращивал горчицу, когда началась война с Турцией. Его призвали из ратников – бедолага вытянул жребий. А до этого он благополучно проскочил жеребьевку, шмыгнул в ополчение, минуя срочную службу, и собирался жениться. Неуклюжий, но по-немецки аккуратный, Иоганн обречен был пасть на поле боя – он совсем не годился для войны. Но Двадцать первая пехотная дивизия на театр

¹ Знак отличия ордена Святой Анны – награда для нижних чинов за особые подвиги и заслуги, проявленные не на поле боя.

главных действий не поехала, а занялась подавлением восстания в тылу. Кормишин встретил Пупершлага в Дагестанском нагорном отряде полковника Накашидзе, пожалел и взял под защиту. Сначала пристроил денщиком к полковому адъютанту, а потом помог перейти в кашевары. Весь прошлый год немец кухарничал. Теперь он попросился в кормишинскую артель на ту же роль кашевара, и Сергей Михайлович согласился.

Таким образом, вся партизанская команда состояла из восьми нижних чинов под командой унтера. Вооружены они были по-разному. Казаки предпочитали шашки и кинжалы, а вместо винтовок имели карабины. Листопадов все внимание уделял горячему оружию. Он достал где-то винчестер модели «мушкет». Магазиновая винтовка имела семнадцать зарядов! В руках меткача это было страшное оружие. Василий носил его в чехле, постоянно смазывал, протирал, ухаживал за ним, как за невестой.

Лыков до этого воевал в команде пешей разведки Рионского отряда. Охотники добыли себе лучшие образцы, что имелись у турок. Алексей взял хороший трофей – тоже винчестер, но двенадцатизарядный, образца 1876 года. С ним он и подался в партизаны.

Остальные артельщики ходили по горам с однозарядными берданками. А у Пупершлага вообще была передельная¹ винтовка Крнка, которую он забросил.

Команда уже две недели лазила по горам восточного угла Веденского округа, в треугольнике между селениями Таузен, Махкеты и Элистанжи. Они выдвинулись из крепости Ведено – столицы округа и всей Ичкерии, прошли на восток около сорока верст и разбили лагерь на берегу реки Бас. Отряд прочесывал местность, оставляя на хозяйстве кашевара и с ним, по очереди, одного солдата. Остальные семеро ходили вместе, стараясь не выпускать друг друга из виду. Война в этих местах кончилась меньше года назад. Да и то сказать – горцы замирились для видимости. Ненависть к русским осталась. Ее сильно подпитывали репрессии. Все мало-мальски влиятельные и образованные люди так или иначе оказались замешаны в волнениях. Теперь настал час расплаты. Семейных выселяли в город Опочка Псковской губернии, а также в глухие местности Новгородской и Архангельской губерний, несемейных – в Томск и Тобольск². Оставшееся население было обложено трехрублевым подушным сбором на возмещение убытков казне и частным лицам, причиненных восстанием. Для нищих чеченцев это были большие деньги, особенно после карательных экспедиций, сжигавших аулы, конфисковывавших скот и уничтожавших посевы.

Группы непримиримых прятались в лесах, местные жители их укрывали и кормили. Поэтому первое, чем занялся Сергей Михайлович, это поиск и вербовка осведомителей из числа туземцев. Для этого ему в штабе крепости выдали двести рублей золотыми пятерками. Партизаны не только прочесывали окрестности, но и заходили на хутора и в аулы, разговаривали с жителями, пытаясь привлечь их на свою сторону.

Команде поручили поймать и доставить в Ведено одного из непримиримых – Джамболата Алибекова из Хатума. Он был помощником здешнего вожака бунта Лорис-Хаджи Гериева, повешенного весной в

¹ *Передельная винтовка* – винтовка, переделанная в казнозарядную из старой дульнозарядной винтовки.

² Ссылным разрешили вернуться на родину только после воцарения Александра Третьего.

Грозном вместе с главными атаманами. Гериев был из Таузена, отчего за этим селением Кормишин наблюдал особенно тщательно. Таузен славился тем, что оттуда был родом отец первого имама Кавказа шейха Мансура. Жители гордились земляком и не очень привечали русских. Пока партизанам не удавалось найти там доносчика. Между тем Алибеков, уже много раз ускользавший от урусов, не унимался. Месяц назад он напал на фуражиров, перегонявших скот для пропитания гарнизона крепости. Абрек угнал пять казенно-подъемных лошадей с овсом и просом, а также двенадцать голов порционного скота. При налете погиб нижний чин Апшеронского пехотного полка.

Алексей впервые попал в такую удивительную страну и не переставал восхищаться. Местность относилась к числу самых диких и труднодоступных во всей Терской области. На юге возвышался Андийский хребет, отделявший Чечню от Дагестана. От него отходили к северу высокие отроги, делившие пространство на котловины. По котловинам текли к равнинной Чечне быстрые реки, пробившие в скалах глубокие отвесные ущелья. Путь им преграждала гряда Черных гор. Реки сливались друг с другом и в конечном итоге впадали в Сунжу.

Отроги как бы разлиновывали плато. Они были не очень высокими, бесснежными и живописно-пугающими. На Кавказе более двадцати вершин превосходят Монблан, самую долговязую гору Европы, но в этой части их размеры не столь впечатляли. Однако карабкаться по тропам, с перевала на перевал, было утомительно. А еще требовалось держаться настороже – вдруг за камнем прячутся Алибеков со своими джигитами? Пока инсургенты не попались партизанам ни разу. Они находили костры со следами ночевки, но кто искал здесь приют, было неясно. Еще всюду были разбросаны посева. Чаще всего это оказывались кормовые травы: овес, люцерна, райграс и эспарцет. Реже попадался табак, а дважды – марена¹.

Наступил очередной день поиска. Иоганн заявил, что останется в лагере один, пусть его не охраняют. Ишь, осмелел на третьей неделе... Сергей Михайлович почему-то согласился.

Команда отправилась вниз по течению реки Аржи-Ахк. Впереди в дозоре двигался Шура Крупный. Охотники держались в пятидесяти шагах за ним, Кормишин шел в арьергарде. Неожиданно казак замер, всмотрелся в даль и жестом позвал остальных. Все быстро подошли, кроме отставшего унтера.

Шура показал вперед. По тропе поднимался горец с винтовкой за спиной. Он не видел настигавших его русских и карабкался беззаботно. Василий Листопадов тут же сдернул винчестер и прицелился в туземца. Лыков схватил его за руку:

– Что ты делаешь? А вдруг это мирный горец?

– У него ружье за спиной, – огрызнулся Стрелок.

– Ну и что? Тут все ходят с ружьями. Примерно как наши мужики в лесу всегда с топорами.

– А я по походке вижу, что он мятежник. Самая разбойничья походка!

Листопадов попробовал освободить руку. Тогда Алексей вырвал у него винтовку и сказал с угрозой:

– Слышь, урдалак. Смири свой нрав. Война кончилась, сейчас мирное время.

¹ *Марена* – травянистое растение, которое выращивали для изготовления натуральных красителей.

- И что? – с вызовом спросил партизан.
- А то. Нейдется кого-нибудь прикончить?
- Здесь нас никто не любит. Любого вали – не ошибешься.
- Тут подоспел Кормишин и спросил шепотом:
- Что за шум, а драки нет?

Шура Крупный показал ему уходящего вверх по тропе горца:

- Васька хотел убить его в спину, а Леха не дал.

– Правильно сделал, что не дал, – тут же высказался старший унтер-офицер. Он взял из рук Алексея «мушкет» и приказал:

– Лыков! Проследи за ним. Постарайся увидеть лицо или запомнить какие приметы.

- Есть!

Вольноопределяющийся быстро пошел по тропе, стараясь не шуметь. Другие охотники остались его ждать.

Незнакомый туземец успел уйти достаточно далеко. Лыков настиг его, когда тот уже спускался с перевала вниз, в долину. Там стояло четыре сакли, у одной из них была привязана лошадь. Подходя к хутору, горец оглянулся, и Алексей разглядел его черты. Мужчина лет тридцати, бородатый, худощавый, как большинство здесь. Шашка, кинжал – тоже как у всех. Белый архалук при желтом чекмене? И это не примета.

Горец зашел в саклю, у которой стояла лошадь, через минуту вышел оттуда со свертком в руках. Еще раз осмотрелся. Похоже, он опасался чужих глаз... Сунув кулек в сакву¹, незнакомец в желтом чекмене сел на коня и уехал вниз по реке. Нижегородец дал ему скрыться из глаз, спустился к хутору и осмотрел саклю. Пустая, заброшенная; пахнет куриным пометом. Передаточный пункт для инсургентов? Может быть...

Лыков бегом отправился к своим и доложил командиру об увиденном. Тот выслушал и приказал:

- Айда туда, осмотрим.

Ваську он поставил впереди колонны, вернув ему отобранный Лыковым винчестер. Тот шел обиженный и все искал, кого бы ему подстрелить. Но никто партизанам не попался.

Избушки при осмотре оказались пустыми и давно заброшенными. Лишь в той, куда заглянул неизвестный, остались следы недавнего пребывания человека. И Кормишин решил устроить на хуторе засаду. Вдруг появится тот, кто облюбовал себе заброшенное жилье для непонятных целей?

Партизаны спрятались в трех других хижинах и затаились. До конца дня ничего не произошло. Пришлось ужинать сухарями и спать на земле. Утром послышались шаги, и в обжитую саклю зашел чеченец с узлом в руке. Он появился из ниоткуда, часовой прохлопал его появление. Но охотники мгновенно и бесшумно отобилизовались. Когда гость появился на пороге, его схватили.

Это оказался знакомый Кормишину старшина аула Дуц-Хутор по фамилии Раздаев. Он опешил, попав в руки урусов. Сергей Михайлович кивнул ему:

- Здорово, уважаемый. И что ты сюда притащил? Давай показывай.

В узле обнаружили двадцать патронов к берданке, кусок сыра и лаваш.

– Ого, какое богатство. Патрон в ваших краях стоит рубль ассигнациями. Дорогой подарок. Скажи, старшина, для кого он?

¹ Саква – седельная сума.

Раздаев уже взял себя в руки и ответил:

– А пастух за ними придет, наш аульный пастух. Он передал, что появились волки, попросил занести эти... как по-вашему?

– Огнеприпасы, – подсказал Сергей Михайлович.

– Да, точно так.

– Давай его дождемся, – предложил Кормишин.

Веко у старшины дернулось, но он ответил:

– Давай.

– Долго ждать придется?

Туземец пожал плечами:

– Кто знает? Может, полдня, а может, и три. Если вам нечего делать, ждите. А у меня есть обязанности по должности.

– Не много ли чести для пастуха, что улем¹ лично носит ему лепешки?

– Нет, не много, он мой племянник.

– И как зовут этого достойного человека?

Раздаев на мгновение запнулся, потом выговорил:

– Гати.

Командир оглядел свою команду:

– Все запомнили ответ? Ждем Гати.

Потом он обратился к пленнику:

– Раздаев, ты понимаешь, что врешь мне, а значит, и власти? Если вместо пастуха сюда явится абрек по имени Джамболат, ты и твоя семья поедете далеко на север. Где очень холодно и голодно.

Но староста посмотрел на русского свысока и отвернулся.

Партизаны опять попрятались в сакли. Туземца унтер посадил рядом с собой. Потянулось мучительное ожидание. Когда солнце уже клонилось к закату, Шура Крупный не выдержал и тихо вылез из своей хибары на двор, справить малую нужду. Только он распрямился во весь рост, как грохнул выстрел. Пуля угодила казаку прямо в лоб. Он рухнул на землю. Тут же раздался ответный выстрел – Кормишин успел разглядеть, откуда бьет враг. Алексей тоже выпустил в ту сторону три заряда. Но шансов, что пули попали в цель, было немного.

Артельщики выскочили наружу, Лыков без команды побежал в обход предполагаемой позиции противника, но все оказалось напрасно. Через десять минут вольноопределяющийся на ватных ногах вернулся к своим.

Гурин вытянулся на поляне. Перед ним на коленях стоял Баюнов и вполголоса молился. А Васька Стрелок выступил навстречу Алексею:

– Это тот его убил, кого ты не дал мне пристрелить! Щенок! Все из-за тебя...

– Отставить! – рявкнул старший унтер-офицер.

– А вот и не отставить! – еще громче выкрикнул Листопадов. – Я и в крепости так скажу. Нету человека, а этот вон стоит, сопляк, живой и здоровый.

Алексею хотелось провалиться сквозь землю. Ведь, скорее всего, Васька прав. Не пастух же уложил их товарища, а кто-то из шайки Алибекова. Лыков не позволил убить его – и вот расплата...

Команда переночевала на хуторе, причем разжигать костер не решились. Лыков вызвался простоять на посту без смены – замаливал свою вину. Связанного старосту положили между двумя пехотинцами. В душе каждому хотелось ткнуть его кинжалом в бок, а потом сказать,

¹ Улем – уважаемый человек.

что «при попытке к бегству». Но Кормишин дал всем понять, что не потерпит самосуда. Он ни словом не упрекнул нижегородца. Ведь тогда, в ссоре со Стрелком, командир принял его сторону.

Утром артель собралась в дорогу. Им предстояло выйти к селению Махкеты, сдать стоящему там посту пленного и похоронить товарища. Лыков подошел к командиру:

– Сергей Михайлович! Разрешите, я останусь.

– Зачем?

– Осмотрю цепочку следов.

– Один? Это глупо, – Кормишин дернул себя за седой ус и добавил: – Мстить собрался? Их четверо или пятеро. И как будешь мстить?

Алексей упрямо ответил:

– Как получится. Одного они точно не ждут. А вдвоем... ввосьмером мы их за целый год не поймает.

Старший унтер-офицер покачал головой, подумал и ответил:

– Ну, как хочешь... Мы вернемся через два дня.

Махнул своим, и артель ушла. Раздаева поставили в середину и заставили тащить труп Шуры Крупного на волокуше. Лыков замыкал колонну. Когда партизаны скрылись в лесу, он отделился от них и стал медленно спускаться кустарником параллельно тропе. Идти было трудно, еще труднее было не шуметь при этом. Наконец нижегородец вернулся на поляну к оставленному хутору, но не со стороны реки, а со стороны леса. Затаился и стал ждать. Ему казалось, что инсургенты захотят сюда вернуться. Вдруг на хуторе тайник, который русские не нашли?

Так миновал целый день. Никто не пришел. Алексей переночевал вполглаза – очень хотелось спать после предыдущей бессонной ночи. Забылся он под утро и благополучно проснулся от лучей солнца, бивших ему в глаза.

Что делать? Он был один во враждебных горах. Страха вольноопределяющийся не испытывал, его подстегивала злость. Умирать погоди, говорил он себе, мы еще поборемся. Одному и впрямь легче: ни с кем не надо советоваться, никто тобой не командует. И противник не ждет одиночки. Может, пойти по тропе в ту сторону, куда уехал вчерашний всадник?

И Алексей решил. Он был одет как горец. Серый чекмень, серый архалук, шашка и кинжал на поясе и винчестер за плечами. Только кокарда на папахе и погоны с золотым кантом вольноопределяющегося выдавали в нем военного. Ноговицы были дополнены поршнями из буйволиной кожи с железными крючьями – горскими «галошами» для лазанья по камням. Сорок восемь патронов в подсумке, баклага с водой, манерка, сухари, горсть сахара и кусок вяленой баранины – на два дня хватит. Если не убьют раньше...

Еще какое-то время Лыков сидел и прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы страха на самом деле нет. Это хорошо. И он двинулся по тропе. Где-то впереди, по словам Кормишина, Аржи-Ахк сливается с Ахкой. Затем единый поток отклонится вправо, к Хулухте. Места дикие, подходящие для укрытия. И уж точно там не ждут одинокого уруса.

Он прошел в выбранном направлении четыре часа без отдыха. Тропа медленно забирала вправо. Вдруг, когда Алексей обогнул валун, на него кинулись двое. Резко развернувшись, охотник показал им тыл и припустил обратно. За ним гнались. Выждав нужный момент, Лыков

выхватил кинжал и обратился к противнику лицом. Первый преследователь увлекся и слишком приблизился к нему. И налетел на клинок. Удар в сердце; туземец, хрипя, повалился на землю. А русский уже атаковал второго. Хотели догнать? Ну вот, догнали. Получите! Это за Шуру Крупного!

Второй преследователь, молодой парень с едва пробившимися усами, опешил и затормозил на бегу. Но больше ничего сделать не успел – Лыков насадил на кинжал и его. Раз-два – и в дамки... Разгоряченный боем и необычно быстрой победой, он всмотрелся вперед. На тропе стоял третий горец, постарше, в белом бешмете и желтом чекмене. Он держал одну руку на эфесе шашки, а другую на рукояти кинжала. И разглядывал русского с интересом и даже, кажется, с одобрением. Это был тот человек, которого Алексей не дал Ваське застрелить в спину!

– Ты ловкий и храбрый, – похвалил русского чеченец. – Я еще не видал такого приема, только слышал о нем.

До него было шагов десять, и Алексей начал снимать висевшую за спиной винтовку. Горец укоризненно цокнул языком:

– Ца-ца-ца! Только что показал свое мужество, а теперь хочешь убить меня из ружья? Давай драться как мужчины, холодным оружием. С таким противником сразиться – честь для джигита.

Голос у чеченца был приятный, наружность мужественная и притягательная. Лыков смешался – ему расхотелось убивать этого человека.

А тот продолжил:

– Ты ведь меня ищешь? Я Джамболат Алибеков Хатумский. А как зовут тебя?

– Алексей Лыков. Скажи, кто убил вчера моего товарища? Ты?

– Нет, это сделал вон тот молодой, что лежит на тропе позади тебя. Его зовут Косум. Вернее, звали... Но, случись, и я бы убил уруса. И убивал не раз, кстати сказать. Мы же воюем с вами. Так что я твой враг. Давай драться, но со всем уважением друг к другу. Или ты устал? Мы можем перенести поединок на завтра. Ты один, других ваших близости нет?

– Нет.

– В одиночку пошел на всех нас? Я думал, только мы, чеченцы, такие...

Алексей слушал и удивлялся. Туземец нравился ему все больше. Почему он враг, а не приятель? По-русски говорит почти без акцента, смотрит смело, но речь его учтива и почтительна. И нижегородец заявил:

– Я не хочу с тобой драться. Ну, в том смысле, что убивать тебя.

– Ай-яй... Но ведь придется!

– Давай лучше ты сдашься властям. Будешь живой.

Алибеков прыснул:

– Я – сдамсь? Извини, ты сказал ерунду. Так по-вашему?

– Но почему мы должны обязательно резать друг друга? – попытался спорить вольноопределяющийся. – Пусть не сделаемся кунаками, но останемся людьми. Конечно, тебе придется ответить перед законом за свои злодейства...

– Ца-ца-ца! В чем же мои злодейства? Не в том ли, что я защищал свою землю от захватчиков?

– Но вы помогали туркам!

– Конечно. Мы помогали... как это у вас? единоверцам. Мы с ними чтим одного Бога. А вы для нас неверные. Кроме того, несете свои

порядки, навязываете их нам. Мы, чеченцы, все равны между собой. У нас нет ни знати, ни черни. А у вас?

Противники помолчали, подбирая новые аргументы для спора. Наконец Джамболат спросил:

– Зачем вы пришли на нашу землю? Зачем ты, Лыков, пришел сюда? Чего плохого я тебе сделал, что ты явился меня убивать?

– Я подданный своего государя. Нам объявили войну, я взял оружие.

Чеченец слушал, чуть склонив голову набок. Кажется, он пытался понять логику русского.

– Однако война закончилась, а ты еще здесь. В наших горах. Ищешь, кого зарезать. Этого требует от тебя твой государь?

– Ну... присяга...

– Ступай домой и возвращайся без винтовки и кинжала. И я встречу тебя как почетного гостя и кунака.

– Не могу, – с искренним сожалением ответил Алексей. – Хотел бы, но тогда это будет дезертирством. Я солдат и должен выполнять приказы.

– Русские солдаты прошлым летом сожгли мой аул. Они тоже выполняли приказы. Как я теперь должен к ним относиться? Представь: чужие люди пришли в твою страну, в твоё селение, уничтожили его, вытоптали посевы, обрекли женщин и детей на голод, а мужчин перебили. Что бы ты сделал в ответ?

– Стал бы с ними сражаться...

– Вот видишь. Так что снимай ружье, берись за шашку. Если устал и хочешь отдохнуть, я пойму. Перенесем поединок на завтра. Удивительно, что ты пришел один, без отряда. Смелый или глупый...

Вдруг за спиной горца дрогнула ветка, и показался ствол.

– Так вот какой у тебя честный поединок! – крикнул Лыков, хватаясь за цевье винчестера.

Алибеков мгновенно повернулся и заговорил по-чеченски – резко, повелительно. Из кустов вышел горец, очень похожий на него, но с неприятным злым лицом. Джамболат отобрал у него винтовку, жестом отослал назад и вновь повернулся к русскому:

– Извини! Это мой средний брат Самболат. Он... не такой, каким полагается быть настоящему джигиту. Я очень сожалею об этом. Младший, Имадин, растет порядочным и радуется меня, но он еще молод для войны. Ну? Смотри.

Алибеков-старший взял в одну руку свою винтовку, в другую – оружие брата и положил их сбоку от тропы. Отступил на пять шагов и предложил:

– Сделай то же самое, и начнем.

– А этот?

– Он будет смотреть. Не бойся, мы схватимся один на один. Если ты победишь, Самболат тоже сразится с тобой. Если захочет. Но я сомневаюсь в этом.

В голосе абрека проскользнуло нечто, похожее на презрение. Он через плечо вновь сказал что-то резкое брату, и тот попятился.

Вольноопределяющийся решил. Он снял винчестер, с лязгом извлек шашку из ножен, вынул и кинжал. Противник улыбнулся ему ободряюще и сделал шаг вперед.

– Драться с тобой – честь для меня. Если бы все русские были как ты, мы могли бы дружить, а не истреблять друг друга...

Лыков тоже сделал шаг вперед. Вот-вот они скрестят оружие... Нижегородец лихорадочно вспоминал уроки сабельного боя от Калины Голунова. Тот много времени потратил, натаскивая молодого приятеля. Как уж там?

Калина говорил, что драться белым оружием¹ русскому человеку с горцами очень трудно. Почти безнадежно. Они учатся сабельному бою с детства, оттачивают приемы всю жизнь и достигают большого мастерства. Но в их манере есть пробелы, которые нужно использовать. В частности, горцы любят наносить шашкой и даже кинжалом рубящие удары, а колющих избегают. Многие считают их нечестными, так как русские полагают нечестным бить лежащего. Если в ответ на рубящий удар нанести прямой выпад шашкой, горец часто оказывается к нему не готов. И есть шанс пробить защиту. Надо только изловчиться.

Джамболат ободряюще кивнул Алексею – мол, не дрейфь. Было видно, что он не боится смерти. Безо всякой рисовки, просто не боится. У Лыкова же задрожали руки и вспотела спина. Или – или, кто кого. Горский сабельный бой. Даже храбрые кавказские полки – Ширванский, Апшеронский, Куринский – старались избегать его.

– Уверен, что не хочешь перенести на завтра? – участливо, уже в который раз спросил чеченец.

– Нет. Давай, начинай, – выдохнул русский. И они сошлись.

Начало боя едва не стало для Лыкова концом. Он слишком волновался и сразу пропустил опасный удар. Шашка скользнула по локтю и дошла до плеча, разрубив погон. Пока русский приходил в себя, пропустил боковой удар кинжалом. Хорошо успел отскочить, и лезвие лишь оцарапало бок. Вольноопределяющийся остановился и попробовал взять себя в руки. К его удивлению, чеченец не использовал этот момент, прекратил атаку и дал противнику оправиться. Зачем убивать такого, снова подумал Алексей. Почему мы враги, а не кунаки? Но разводить нюни было некогда. Плечо саднило, по животу стекала кровь.

– Можно? – спросил разрешения горец.

– Валяй, – кивнул русский и пошел наконец в атаку. Несколько быстрых ударов шашкой Джамболат отбил без особого труда. Алексей сделал вид, что вспомнил о кинжале. Покрутил им – и совершил неожиданный выпад гурдой² и следом – потяг³. Острое лезвие вошло чеченцу чуть ниже сердца, пройдя между газырями. Тот запнулся, выронил клинок и схватился свободной рукой за грудь. Ноги его подкосились. Из уголка рта показалась тонкая струйка крови. Отняв руку и увидев на ней алые пятна, Алибеков улыбнулся – просительно и немного печально:

– Драться с тобой... честь...

И упал.

Брат джигита дико закричал и кинулся прочь. У Лыкова не было ни сил, ни желания преследовать его. Он сел рядом с Джамболатом на корточки и взял его за окровавленную ладонь.

– Прости...

Чеченец из последних сил сжал его руку и умер.

Вечером Алексей безбоязненно разжег костер в заброшенном хуторе. Тела погибших горцев лежали неподалеку. На поляне паслись, стреноженные, три лошади.

¹ Белое оружие – холодное.

² Гурда – чеченская шашка.

³ Потяг – обратное движение, извлекающее клинок из тела противника.

Вольноопределяющийся неожиданно для себя сделался богат. За убитых инсургентов ему полагалось семьдесят пять рублей. Верховые лошади тянули каждая на сто двадцать – сто пятьдесят рублей. Чеченцы все оказались щеголи. Одних серебряных газырей набралось несколько фунтов! Но самым ценным из трофеев было оружие. Кинжал и шашка Джамболата, старинной работы, отделанные серебром, тянули на полтысячи. Итого Лыков существенно разжился. В Нижнем Новгороде вся его семья жила на пенсию недавно умершего отца – тридцать четыре рубля пятьдесят копеек в месяц. Ее едва хватало, чтобы сводить концы с концами. А сестра на выданье, барышню нужно одеть... Неожиданно вырученные деньги должны были пригодиться дома.

Однако Алексей меньше всего сейчас думал об этом. Он сварил похлебку, сделал из кавказской брусники чай и долго сидел, глядя на пламя. Ему было бесконечно жаль убитого им храброго достойного человека. Действительно, что он тут делает, в чужой земле? Пора домой. А эта боль останется теперь с ним. Навсегда. Могли бы быть друзьями. Иметь подобного друга – большая честь...

В ту ночь Самболат легко мог застрелить русского из темноты. Тому было все равно.

Вечером следующего дня Лыков услышал шаги – возвращалась кормишинская артель.

Владимир КУЗИН

Родился в 1964 году, образование среднее техническое (авиамеханический техникум) и незаконченное высшее (4 курса Ивановского государственного университета, филологический факультет).

Работает в охране. Живет во Владимире.

ОТЕЦ МИХАИЛ

Отец Михаил открыл ключом входную дверь, зажёг в прихожей свет и прислушался. Тишина. Видимо, все уже спали.

Он разделся, вошёл в комнату сына и наклонился над ним. Хотел было поцеловать Павлика в щёку, но подумал, что может ненароком его разбудить... Вернулся в прихожую.

Руки его тряслись, лоб покрылся капельками пота.

«Надо немедленно сообщить в милицию», – он подошёл к телефону, снял трубку и приставил к уху... Немного постоял... затем повесил её обратно, прошёл на кухню и сел за стол, на котором были приготовленные супругой его любимая запечёная курица и булочка с какао.

«Откуда только эти двое взялись?.. Не иначе, из Томилинской колонии сиганули, других зон поблизости нет».

Перед глазами отца Михаила вновь возникло лицо рыжего веснушчатого мужика в промокшей арестантской робе, который смотрел на стоявшего перед ним священника с явным любопытством, прищурив глаза, словно пытаясь уловить его, отца Михаила, мысли; и лохматого, в грязном оборванном пальтишке, – этот сидел прямо на голой земле, прислонившись спиной к сосне и постоянно надрывисто кашлял и сплёвывал.

Рыжий наставил на отца Михаила двустволку; а лохматый принялся его спрашивать, куда он идёт, далеко ли до посёлка, не видел ли он поблизости милицию... Затем рыжий велел отцу Михаилу вывернуть карманы, а их содержимое бросить к его ногам... Поднял ключи, кошелек и целлофановый пакетик с двумя просфорами, одну из которых положил себе в рот, а другую отдал лохматому. Тот с жадностью, давась и чавкая, её разжевал и проглотил.

– Семь рубликов с копейками, – сказал рыжий своему напарнику, положил деньги в карман его пальто, отбросил пустой кошелек в сторону и снова направил на священника ружьё.

«Конец», – подумал отец Михаил. У него похолодело внутри. И тут же, будто само собой, вырвалось:

– Я тут недалеко живу; могу продукты принести, а ему, – кивнул на лохматого, – лекарства...

Затем он наплёл рыжему про то, что без сухой и тёплой одежды им будет нелегко... а дальше – непонятно, зачем – упомянул о своём восьмилетнем сынишке...

Рыжий, казалось, ещё больше прищурился... затем усмехнулся, наклонился к напарнику и начал ему что-то говорить... Отец Михаил с трепетом прислушался к их словам, но разобрать ничего не смог... И вдруг явственно услышал:

– Вряд ли обманет, – рыжий посмотрел на отца Михаила, – чин не позволит...

После они ещё о чём-то пошептались... и, вернув священнику ключи, договорились встретиться с продуктами часа через два у горбатой берёзы, на которую указал ему лохматый...

Отец Михаил шёл по тропинке, постоянно оглядываясь и спотыкаясь. Всё думал, что ему выстрелят в спину... А выйдя из рощи и убедившись, что хвоста нет, он со всех ног кинулся к посёлку...

И сейчас, сидя на кухне, он никак не мог унять дрожь в руках.

«Никогда не думал, что могу в такое вляпаться, – пронеслось у него в голове. – Больше ни в жизнь через эту проклятую рощу не пойду... Днём, когда шёл на службу, там на деревьях птички пели да солнышко улыбалось – красота!.. Какой же она оказалась обманчивой! – Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. – Ну так что, звонить в милицию?»

Отец Михаил поднялся со стула... немного постоял... и принялся ходить взад-вперёд по кухне, от волнения время от времени покусывая на пальцах рук ногти – привычка с детства, которую он не смог побороть в себе и по сей день.

«Подумать только, я запросто в эту минуту мог лежать с продырявленной башкой под какой-нибудь ёлкой, заваленный травой и ветками... Господи, благодарю Тебя за чудесное спасение; за то, что в самый ответственный момент Ты не дал мне потерять выдержку и разум...» – Он перекрестился на распятие, стоявшее в углу на полочке.

Затем отхлебнул из чайника и задумался.

«Здорово я сообразил насчёт продуктов; в самое их больное место попал – они, поди-ка, несколько дней не евши... А этот ляпнул: ему, мол, чин не позволит обмануть... Умник нашёлся! Да такие, как ты не то что рассуждать о людях – жить среди них не имеют права. Потому что несут им только горе и слёзы... Нет, вас нужно по крайней мере изолировать от общества. И это долг не только государственный, но и христианский – вырывать плевелы на пшеничном поле...»

И отец Михаил опять метнулся к телефону.

«А разве мне решать, кто пшеница, а кто плевелы?.. – Он остановился. – А почему бы и нет; ведь для того человеку и дан разум, чтоб различать добро и зло... Постой, но различать в себе; о других же сказано: “не суди...” Ну, если эту заповедь понимать буквально, то дойдёшь до вонючей толстовщины. Полоумный граф не понимал, что если ликвидировать полицию и суды, власть в обществе захватят убийцы, грабители и насильники, и на Земле наступит хаос... – И вдруг будто кольнуло: – А вот батюшка Серафим своим истязателям не стал даже сопротивляться; а когда они его изувечили, он их простил... – Отец Михаил продолжил хождение по кухне. – Так ведь у него не было семьи, для кого ему нужно было себя беречь?.. А у меня жена, сын. Заботиться о них – тоже мой христианский долг. Вот если бы я был монахом...

А что бы тогда? Неужто пошёл бы в лес с провизией? – Отец Михаил усмехнулся. – Дурак ты, ваше благородие. Они бы тебя там, не моргнув и глазом, шлёпнули и принялись бы уминать твои баранки-пряники за обе щёки...»

Он опять отхлебнул из чайника и сел за стол.

«Не бойтесь убивающих тело... – внезапно вспомнил он. – Да как же их не бояться? Страх смерти вложен в каждое живое существо. Когда я прошлой осенью резал поросёнка, он визжал как чумной... Да, но человек и свинья – не одно и то же...»

Он тряхнул головой.

«Ну, хорошо, пусть я испугался... Так ведь за сынишку. Что с ним без меня станет? Ясно, что на одну мамкину зарплату ему в наше время придётся ох как туго, – скажем, надлежащего образования уж точно никак не получить, а значит, и не найти хорошую работу. А отсюда все прелести жизни... А Бог? Разве Святые Отцы не призывали во всём полагаться на Него? И разве я не читал о тех новомучениках, которые в годы сталинских репрессий шли в лагеря и ссылки, а то и на расстрел, оставляя свои семьи без кормильца?.. И читал, и преклонялся перед ними, и другим в пример ставил... Так, значит, дело не только в сыне? Тогда в чём ещё?»

Взгляд отца Михаила упал на приготовленный ужин. Ему показалось, что неслучайно.

«Ну, уж только не в этом...» – Он даже отпрянул.

И вдруг отчётливо вспомнил, как в первые дни после свадьбы они с супругой долгими зимними вечерами, лёжа в постели, рисовали в своём воображении голубые, цвета небесной лазури, обои; ослепительно белый кафель в ванной и покрытые позолотой ручки дверей, оклеенных бледно-розовой плёнкой. Как планировали со временем купить телевизор с жидкокристаллическим монитором (какой однажды видели у знакомых), двухкамерный холодильник... Он вспомнил, как мечтал посадить на садовом участке помимо всего прочего лучок и петрушку, чтобы запекать с ними цыплят – как он говорил, с хрустящей корочкой.

«М-м, – постанывал он от удовольствия, – пальчики оближешь... Купим микроволновку и будем делать гриль...»

Отец Михаил встал и прислонился спиной к стене.

«Многое из того уже осуществилось... Холодильник, кафель в ванной и... вот она – печёная курица... – Он присмотрелся к ней внимательно. – Точно, с луковыми дольками... – усмехнулся. – Сбылась мечта идиота... А те двое были рады даже крохотным просфорочкам... Худые, измождённые... Глядели на моё толстое пузо и, наверное, всё понимали... Особенно рыжий. Глаза хитрющие, пронизывающие насквозь... Как только я ему о сынишке сказал, он тут же двустоволку и опустил... А после пошептался с лохматым и говорит мне: «Ладно, дуй за харчами»... За харчами? Да правда ли? – Отец Михаил вздрогнул. – А что если рыжий жожалел моего сына?.. И убедил своего пахана... или как он там у них зовётся... отпустить меня якобы за провизией?.. А я тут рассуждаю о своей сообразительности и хладнокровии. Тем более, если уж говорить начистоту, я перед ними почти хныкал! Ведь это не трудно было тогда понять по моему плаксивому голосу...»

Так неужели и впрямь это моя суть? Которая вылезла наружу только под дулом ружья?.. Курица-гриль, ванная с кафелем, ласковая жена в постели... Нет, подожди, желание человека иметь детей – естественно...

А контрацептивы? – Отец Михаил закрыл лицо ладонями. – Боже праведный!..»

Он внезапно вспомнил ощущение приятного томления в груди, когда, пряча в сумку эти аптечные штучки, бежал в магазин за бутылочкой сухого вина, букетом цветов и тортом к чаю.

«Неужто всё это было только ради удовлетворения собственной похоти? Из желания таким образом угодить объекту своего вождения и сделать ответное чувство ещё более страстным?.. А ведь я никогда не понимал девственников. Тех же Серафима Саровского и Сергия Радонежского... Не понимал или не желал понимать? А может, понимал, но не хотел принять?.. Господи, но тогда ведь я и о здравии супруги молился не только ради неё самой!..

Вот она, истина! – Он обхватил голову руками. – Я не Христа искал, а мамону! Не горней радости, а земного рая! А Бога использовал для его приобретения!.. И ладно бы для всего человечества, как Толстой; я опустился ниже его, ибо желал мирского счастья в основном себе! А если хотел его и для своих домочадцев, то это – проявление не Духа, а одного из сильнейших природных инстинктов, коими наделена любая живая тварь!»

Отец Михаил вскинул голову.

«Да-да, та самая девочка-таджичка у колхозного рынка. Которая просила подаяние, стоя босиком прямо на голом асфальте – и это в конце октября!.. Помнится, я небрежно сунул ей в ладошку двухрублёвую монету. На которую она не могла купить себе даже маленькую булку хлеба!.. Тогда как сыну я почти тут же всучил здоровенный пломбир в шоколаде, который он, раскапризничавшись до истерики, буквально выклянчил у меня. Хотя перед этим смолотил кремовое пирожное!..»

Отец Михаил потупил взгляд.

«А девочка мне спасибо сказала... За что, глупышка? Ведь я, когда к тебе подошёл, поди-ка, сам того не осознавая, моментально просчитал, что Павлик – моя обеспеченная старость, а от тебя мне – как от козла молока...»

По его щеке покатилась слеза.

«Чему же я учил своих прихожан? Что им проповедовал? Любить Бога, чтобы получать от Него блага жизни? Любить ближних, как самих себя, ради самих же себя? Ценить жизнь, каждый её миг: небо, солнышко, журчание ручейка, пение птиц – только как источник личного наслаждения? Пускай наслаждения тем миром, который дал человеку Господь; но ведь я никогда не упоминал о том, что, ощущая красоту и гармонию сущего, мы должны чем-то Творцу ответить! И не только свечками и поклонами – наше раболепие Ему не нужно, как не нужны родителям поклоны от своих детей. Он хотел иного: нашим ощущением гармонии мира изменить духовную природу человека, его суть, – как же я раньше этого не понял? Чтобы мы стали чище, добрее, сострадательнее друг к другу; научились воспринимать чужие радость и боль, как свои собственные!.. Не то ли имел в виду Достоевский, сказав, что красота спасёт мир? Красота во всех своих проявлениях – природы, искусства, человеческой души... Но случилось иное: ощутив наслаждение (пусть и не греховное!), человек не только захотел стать единственным обладателем его источника, но и возжелал удовольствий ещё более утончённых! Это как если бы кто-то угостил тебя кусочком торта; а ты, вместо того, чтобы почувствовать в душе умиление и благодарность и поделиться с ним чем-то своим, –

сказал бы ему: “Здорово, тащи сюда весь торт!..” Вот и я учил людей лишь пользоваться плодами крестной смерти Спасителя, не разъясняя им, для чего Он нам эти плоды оставил. Иными словами я, священник Михаил, по своему чину обязанный хоть в малой мере понимать замысел Творца и противостоять лукавому, – напротив, клюнул на его приманку и увлёк за собою остальных»...

Он снова взглянул на распятие.

«Господи, как же я прозевал в жизни самое главное? Её сердцевину!»

Опустился на колени.

«Да-да, две тысячи лет назад Ты стоял перед тем же выбором, перед каким оказался сейчас я.

Оставить этих больных и похотливых злодеев на произвол судьбы, чтобы они в конце концов превратились в стадо скотов и перегрызли друг другу глотки; или... нести им земной и Небесный хлеб, дающие жизнь... Ты обливался кровавым потом, когда просил Отца: “Да минует Меня Чаша сия...” Ибо Ты знал – и знал наверняка! – что стоит Тебе в эту тёмную рощу войти и начать им проповедовать, как они Тебя тут же растерзают! А дары Твои поделят меж собой и сожрут!.. И всё же Ты свой выбор сделал! Боже Иисусе, – он заплакал, – Ты сделал его, потому что не мог поступить иначе! Ибо не просто не желал этим бедолагам страдания и смерти; главное – Ты не мог вынести их неведения, незнания счастья, неизмеримо более высокого, чем поглощение запечённых кур!.. И даже когда Тебя истязали, Ты терпел ради них жесточайшие муки! Чего стоят одни только металлические крючья, раздирающие Твою плоть!..»

Отец Михаил зажмурился.

«А я... даже не мук испугался. Какие там муки? Хлоп из ружья, и всё... Я не пошёл за Тобой, боясь потерять именно земной рай. И оказался в числе тех, кто Тебя бичевал! Даже не подозревая этого...»

Он взглянул в окно и сквозь наступивший вечерний сумрак увидел тёмный силуэт сосновой рощи, откуда только что вышел.

«А что если дело не в жалости рыжего и они отпустили меня с надеждой на то, что я их не обману? А я в ответ не просто не вернусь, но и натравлю на них милицию. В результате чего окончательно добыю их больные души. Ибо если они потеряют веру в слово священника – быть может, последний огонёк их угасающих душ, – то мир для них станет ещё большим средоточием злобы, вранья и разгула страстей. И что-либо изменить после этого в их сердцах станет практически невозможным. Я просто пошёл их в ад. То есть сотворю дело, прямо противоположное цели Христа!.. Как же так случилось, что я понял это только сейчас?..»

Отец Михаил вытер ладонью слёзы с лица. С минуту стоял на коленях, уставившись в пол...

«Да, я сознаю, – он покачал головой, – что для меня там всё может кончиться плачевно: свидетели им не нужны... И всё же, пока не грянет возможный выстрел, я успею сказать им о Любви – о подлинной, сострадательной, жертвенной Любви, ради которой к нам, убийцам и блудникам, приходил Спаситель. О том, что кроме этой милосердной Любви, дающей высшее счастье, человеку жить на Земле незачем...»

Он поднялся с колен, открыл кладовку, достал оттуда довольно большую сумку, в которой носил с собой облачение, и положил в неё запечённую курицу. Затем взял из хлебницы батон, из холодильника – несколько сарделек, яиц и две пачки творожной массы. Открыл аптечку

и вынул оттуда упаковку аспирина, моток бинта и пузырёк йода. Всё это аккуратно сложил в сумку и вышел в прихожую. Надел куртку, ботинки. Снял с вешалки свой старый потрёпанный бушлат, в котором обычно копался в огороде.

«Подойдёт ли им по размеру? – прикинул он. – Впрочем, выбора нет».

Накинул его себе на плечо и открыл входную дверь.

– Папа, ты уходишь?

Отец Михаил резко обернулся.

«Господи, укрепи меня...»

– Мне надо, Павлик... Иди, спи.

– А когда ты вернёшься? Ты ведь обещал утром сводить меня в рощу, показать дятла...

Отец Михаил опустил голову.

«Вот и его душу я губил всю жизнь...»

– Знаешь, сынок... – он замялся, – мы обязательно сходим с тобой в лес. И дятла увидим, и синиц послушаем... Только пойдём мы туда не с пустыми руками. А наберём целый рюкзак пшена и хлеба... А к следующей весне соорудим несколько скворечников, чтобы пернатым было где растить своих птенчиков... Хорошо?

И он посмотрел Павлику в глаза. Тот стоял в глубоком раздумье.

Отец Михаил немного помедлил... затем взял сумку, вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь...

Наталья ВЕСЕЛОВА

Родилась в 1967 году в Ленинграде. Окончила филологический факультет ЛГУ. Шеф-редактор литературного журнала «Золотое слово».

Автор 16 книг (повести, романы), постоянных публикаций в периодике (рассказы, очерки, эссе). В петербургском театре «Родом из блокады» читаются отрывки из повести «Друг мой, кот...».

Лауреат второй степени литературной премии «Гордость Державы Российской» за повесть «Одиннадцатый час» (2008). Обладатель Гран-при в номинации «Современная русская проза» всероссийского конкурса «Лермонтовские сезоны» (2021). Член Российского межрегионального союза писателей и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина.

Живет в Санкт-Петербурге.

НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ

Рассказ-притча

*Пусть на северном склоне – зато, вроде, рядышком,
смерть проста и легка, приручая всерьёз –
там, на солнышке, проще, наверно – есть батюшка...
А у нас всё причастье – снежинки из слёз.*

А. Маничев

Туманный склон полого уходит вверх. Как выглядит вершина горы, спрятавшаяся в мнимо прозрачной мгле, точно не знает никто из тех, кто с надеждой и страхом устремляет взгляд к верхней доступной его зрению точке, – и у каждого разные предположения. Кто-то рассказывает о серебристом мерцании, исполненном снующих теней, другой описывает заросли эдельвейсов, покрывающих, по его мнению, светлую поляну на высоком уступе, третий уверяет, что ясно различил неописуемо красивых золоторунных горных животных с грациозно изогнутыми рогами, непринужденно перелетающих вдоль отвесных участков горы с одного невидимого каменного карниза на другой – без опаски сорваться, без красования перед изумленным зрителем – с поистине ангельским бесстрашием... Что там на самом деле скрывается? Почему на первый взгляд путешествие вверх по пологому склону представляется сплошным удовольствием, а на деле выматывает дерзкого ходока так, что он непременно возвращается с четвертьдороги, чувствуя себя шелудивым псом, сбежавшим со двора от хозяина и избитого палкой за ослушание?

Иногда кажется, что туман над вершиной почти готов рассеяться, – во всяком случае, вспыхивает за ним теплый, несказанно белый свет, к которому устремлено все живое на этой горе – и люди, и вся остальная одушевленная тварь, включая сюда не только меховых, пернатых и чешуйчатых, но и трепещущие травы, и поющие воды ручьев. Но таинственная дымка окончательно никогда не покидает вершину – жители и хотят этого, и боятся: вдруг свет окажется слишком ярким и жгучим – таким, что спалит их просторные дома, их пышные деревья со зрелыми плодами да и сами бесстыдно вздетые глаза выжжет напрочь, оставив непочтительных поселенцев в вечной тьме?

Но если не задаваться всеми этими странными вопросами – а здесь считается дурным тоном ими задаваться, – то жизнь на некрутом склоне, который почему-то все зовут «северным», вполне сносная – настолько, что большинство другой и не желало бы. Множество прелестных внешне и вполне крепких, светлых и добротных, как в гляцевых журналах о загородной недвижимости, теремов, домов и домиков разбросано по широким уютным уступам – некоторые из них окружены яркими благоухающими цветниками, другие стоят в тенистых садах с резными беседками и лопотливыми фонтанчиками, но есть и такие, что бесстрашно глядят широкими окнами на отвесный обрыв, под которым тоже всегда стоит туман, – только не радостный и многообещающий, как наверху, а неприятно темный, бурый и сырой. Те, кто поселился здесь не сразу, а пришел, преодолев долгий и тяжкий путь от самого подножия, никогда не рассказывают о том, что видели внизу, – да и сами стараются поскорей забыть...

Соне не совсем повезло: Сергей, мужчина, который пробыл ее мужем целых сорок шесть лет, пролетевших незаметно, как послеобеденная дрема, – ее любимый Сережа именно из тех людей, кто вопросами – задается. И даже предпринимает попытки скалолазания – безуспешные, разумеется, попытки. Более того, он повторяет их всякий раз, когда от дочки приходит посылка, – обычно она посылает своим старикам пышный сдобный пирог, который они честно делят пополам, – и Соня после этого радостно летит на церковную службу, а Сергей, преисполнившись новых сил и надежд, собирается в путь. Раньше Соня деятельно отговаривала его, боясь, что он найдет себе пристанище где-то выше, поселится там с кем-то другим – мало ли добрых людей, близких или просто знакомых, можно найти на трудных горных путях! – и к ней не вернется. Но теперь-то женщина знает точно, что место этого неугомонного мужчины и раньше было, и сейчас есть – рядом с ней. И он всегда будет возвращаться. И лежать – обиженным и измученным, со сбитыми в кровь ногами, полуслепым после столкновения с усиливающимися по мере подъема невыносимым светом, в бесчисленный раз слушая ее неловкие утешения... Как сейчас.

– Каждому свое. Ну есть уже у нас этот дом – и слава богу! Чем он тебе плох? Или ты просто от меня убежать хочешь? Думаешь, это я тебя здесь держу, а не будь меня – ты бы с легкостью и на самой вершине обосновался?

– Глупости говоришь. Ты и сама прекрасно понимаешь, что у нас никого ближе друг друга нет. Если я найду место для жизни где-то повыше, то и ты туда доберешься. Не сможешь не добраться.

– Но я не хочу. Мне и здесь хорошо, а там неудобно. Десять шагов вверх пройду – и уже ноги ломит. Ты ведь знаешь, я с трудом даже к Маше ходила, хотя они живут, считай, на одной прямой с нами, окна

в окна. Но, видать, на одной – да не совсем: все-таки чуть-чуть, а в гору дорога идет. Я считала: от наших ворот до их всего сто семьдесят четыре шага – так бывало, пока дойду, все равно три раза отдохнуть сажусь, и после каждого привала кажется, что больше не встану. Да и там у них все время неловко как-то, места себе не могу найти, разговор не клеится, и так тревожно, так светло во всех комнатах, что глаза слезятся... Прошу ее – мол, лучше ты к нам приходи, под горку-то, чай, легче бежать! А она мне – темно, мол, у вас и холодно. Вот и договорились встречаться на полпути – в той беседке с розами и фонтаном. И все равно обеим неважно там. А что неважно – и не поймешь... И не видеться не можем: с детского садика всю жизнь подружили! Только всего вместе пережито...

– А ей дети посылки шлют? Смотрю, пояс у нее такой же, как наши, – помнишь, Ниночка нам их еще в самом начале прислала? Мягкий какой, яркий – и не линяет со временем... Дай, я твой поглажу... Да, и мой такой же, вот, потрогай... А Маше твоей тоже дети прислали?

– Нет, это сестра ее младшая... Тоже в самом начале. И посылки долго слала – маленькие такие каравайчики – а теперь... Трудно ей, наверное, старая ведь уже – под девяносто, должно быть, подвалило. Уточню у Машики в следующий раз. А про детей ее лучше и не спрашивай. Беспутные оба выросли. Она даже не знает, где они сейчас.

– Да что уж теперь. Хорошо, хоть наша Ниночка... Как думаешь, она здесь, с нами, поселится?

– Ха, размечтался, старый... Но к нам она точно сразу зайдет, как придет. И котка своего заберет. Вон, смотри – ждет ее, все ушами прядает, не идет ли хозяйка... Барсик, Нина! Где Нина? Гляди-ка, вскочил и хвост трубой... Нету еще твоей Нины... Не приехала пока...

– Ну зачем ты, Соня, животное травмируешь? Видишь, как он обиженно смотрит... И его, между прочим, не Барсик зовут, а...

– Ах, Сережа, какая разница! Все коты – Барсики. Скажите, пожалуйста, – обиделся он... Ну, и иди себе в сад, усатый-полосатый, выглядывай свою Нину.

– Он не полосатый. Зачем ты так про абиссинца? Он светло-коричневый, с переливами – просто хищник... И эти глаза... Как у египетской царицы – длинные и зеленые. Никогда не думал, что могу полюбить кота.

– А помнишь, когда Ниночка только принесла его домой – у однокурницы оказалась аллергия на кошек, и нам пришлось его взять, – как ты был против! «Убери от меня своего кота! Я к нему равнодушен!» Что, скажешь, не твои слова? Но он все равно тебя покорила своей красотой и обхождением... Однажды захожу я в гостиную – там, в Петербурге, – а ты сидишь в кресле – умиротворенный такой – и гладишь кота, который мурлычет у тебя на коленях, и даже чешешь ему за ушами. Но только ты увидел меня – сразу отдернул руки и спрятал их за спину, – как мальчишка, которого застукали за тайным поеданием варенья... И еще лицо сделал такое недовольное – мол, вот, вспрыгнуло на меня противное животное, и теперь не знаю, как его согнать... Я пощадил твою гордость и не сказала, что видела.

– Зато сейчас сказала. Впрочем, это уже не имеет значения: кот с нами, ждет Нину, и зовут его...

– А можно, я тебе признаюсь в чем-то ужасном? Я сейчас вспомнила, что так тебе про это и не рассказывала тогда.

– Соня! Неужели ты мне все-таки когда-нибудь изменила?.. Нет, я ничего, я просто так спросил. Признавайся, конечно, если хочешь...

– У тебя даже сейчас мозги на это настроены... Но нет, я хотела рассказать про хомячка. Того, рыжего с белым...

– Хомячка?! Как... А, ну да, конечно, у нас был хомячок... Хомячиха... Нюся. Которая не пойми как исчезла в квартире – или из квартиры! – а мы так ее и не нашли. Ниночка, бедняжка, проревела целый месяц. Она, кажется, тогда даже в школу не ходила еще... Так ты что – нашла его высохший трупик в каком-нибудь углу?

– Нет, Сережа. Я его убила.

* * *

Она просто уронила это проклятое кольцо, когда снимала с пальца. Серебряное кольцо без камней, массивное, довольно уродливое, крепко державшееся только на указательном пальце, а на среднем некрасиво вертевшееся, норовя спрятать резную печатку. Оно с легким звоном запрыгало по линолеуму, звук явно направлялся под тахту, и Нинин взгляд за ним безнадежно опоздал. Звук оказался быстрее взгляда... Нина честно исползала на карачках весь пол – при этом очень глубоко внутри, как всегда, обозначился привычный страх найти где-нибудь в дальнем углу сухую и легкую мумию хомячка, так же бесследно испарившегося из квартиры в канувших семидесятых, – она и в первый класс еще не пошла тогда. Но ни кольца, ни мумии она так и не обнаружила – нигде, хотя первое искала на совесть, сначала со вниманием, потом с удивлением, потом кому-то назло... Кольцо словно провалилось в другое измерение или галактику. С тех пор прошло около двадцати семи лет – но у Нины до сих пор иногда ни с того ни с сего просыпалось недоверие – не может же быть, чтобы вполне осязаемый предмет за миг распался на атомы! – и тогда она в очередной раз предпринимала дежурную попытку отыскать давнюю пропажу – все так же безрезультатно.

Но, положа руку на сердце, она всегда считала, что с ее жизнью что-то не так – а может, и не с жизнью, а просто с ней самой. Потому что кое-что пропадало, а кое-что и появлялось, вопреки логике и твердым законам бытия. Например, новая перчатка на меху, обидно потерянная в продуктовой «стекляшке», вдруг коварно появилась на тумбе в прихожей – притом что никак не могла оказаться банально забытой там: ведь не в одной же перчатке прошла Нина восемьсот метров в двадцатиградусный мороз до знакомого магазина!

А кружка, из которой много лет мама пила свой бледно-желтый из-за лимона чай! Нина с детства знала и принимала как данность, что чашка изнутри сплошь как бы облита золотом – такая тонкая старинная чашка, давно утратившая в боях родное блюдо. Представить маму пьющей чай из чего-то другого было равносильно тому, как если бы солнце однажды отправилось в путь справа налево. И вот однажды эта же незыблемая чашка, сохранив идеально выписанный лиловый пион на боку, оказалась внутри примитивно белой, с затейливым вензелем на дне, а широкая золотая кайма уверенно шла теперь лишь поверху. В ответ на дочкино изумление – куда делось все золото из чашки?! – мама включила изумление – свое: «Ты что, Нина? Чашка всегда такой была. Ей уже лет сто, наверно. Раньше их целиком золотыми внутри, скорей всего, и не делали...» Папа выглянул из-за любимой «Вечерки» и с подозрением глянул на дочь – мол, что за странные у нее опять выкрутасы? – конечно, мамина чашка всегда была белая внутри, он даже иногда деликатно брал ее за хрупкую ручку и разглядывал донышко на свет: такая тонкая работа, что окружность почти

не видно... Как такое могло получиться, если б чашка внутри была покрыта позолотой? Но Нина ведь тоже любовалась этой чашкой все детство и пол-юности! И именно золото, казалось, переливавшееся через край, прельщало ее...

Чашка и перчатка оставались хотя и загадками, но – были. А вот кольцо Нина сегодня опять проискала всю ночь. Ползала на животе, обливаясь потом, тяжело дыша и до резкой боли свернув шею на сторону, – нет, это ужасно, куда оно могло деться?!

– Просыпаемся! Животы подставляем!

Нина вздрогнула и открыла глаза: палату уже заливал безжалостный мертвенный свет длинной гудящей на потолке лампы – правда, ощущала она его пока только затылком, потому что уже четвертый день, как ей велено было лежать ничком не менее 16 часов в сутки («А лучше – двадцать четыре», – вполне серьезно добавил лечащий врач). Больная осторожно пошевелилась – боль из сведенной судорогой шеи выстрелила в ухо, затылок, плечо... Мыча от напряжения и обреченно ощущая, что воздуха сегодня не хватает чуть-чуть – но все-таки сильнее, чем вчера, Нина перевалилась на бок, помогая себе локтем, путаясь в длинной кислородной трубке, а потом мучительно плюхнулась на спину, одновременно привычным движением задирая рубашку, под которой живот превратился уже в сплошной огромный черно-багровый синяк. Фигура, упакованная в мятый одноразовый белый с голубым костюм химзащиты, уже оборачивалась к ней от тумбочки, блеснули мгновенным отсветом лампы огромные пластмассовые очки. Рука, негибкая в двух резиновых перчатках, уже равнодушно захватывала в складку черную кожу Нининого живота.

– Живого места нет... – донеслось из-под клювообразного респиратора. – Уж извини, дорогуша, но колоть-то все равно надо... Вот так... Давай лоб... – в голову прицелилось что-то вроде небольшого игрушечного пистолета, щелкнуло... – Тридцать восемь и девять... Палец давай... Не этот... – пульсоксиметр нежно прижал указательный... – Ты всю ночь на кислороде была или канюли только что вставила?

– Всю... – выдавила Нина и удачно изобразила припекшимися губами храбрую улыбку: – А что, не... очень? Сколько там?

– Девяносто три, – полсекунды поколебавшись, сказала медсестра. – Если б без кислорода, то нижняя граница... Сама, наверное, знаешь. А вот с кислородом не должно так быть. И температура... высоковата. Но доктор придет – разберется... – и девичья фигура, которой «скафандр» каким-то образом даже шел, подчеркивая юную летучесть и гибкость, решительно шагнула к соседней кровати, словно подчеркивая этим, что свое дело сестра сделала, а остальное – не в ее компетенции.

Нина откинулась на подушку, подавляя произвольное стремление снова и снова оттягивать ворот рубашки в попытках протолкнуть побольше воздуха в странно сужившееся, будто меховой лапой придавленное дыхательное горло или хоть отодвинуть невидимый лежащий на груди кирпич. Да что ж такое-то? Уже шестнадцатые сутки пошли, как она здесь, а все только хуже и хуже, и неизвестно, на сколько еще затянется! Хорошо хоть дома никто не ждет и не страдает, так что мучиться приходится только одним – собственным – страхом и болью – не двойными, не тройными, как у остальных, прикидывающих, на кого в случае чего останутся дети... Живность домашняя – и та загодя пристроена... А в молодости у Нины был кот, названный ею в честь экзотического цветка какой-то заведомо недостижимой страны, обожаемый и единственный (ни один настоящий котолюбитель не поспорит с тем, что истинный кот –

как любовь – у человека в жизни может быть только один, сколько бы их впоследствии ни прошло через руки), но умер много лет назад, как раз когда она попала в больницу с приступом острого холецистита. Родители рассказывали, что до последнего дыхания измученный болезнью и старостью зверь, когда-то похожий на стремительного горного хищника, косил свои изумительные хризолитовые глаза на дверь, все верил, что войдет хозяйка, – войдет и спасет... Или нет – просто почешет под подбородком, проведет двумя пальцами меж острыми бархатными ушами, и лежок станет предстоящий неведомый путь.

– Нина, не расстраивайся... – крупная добрая женщина Лена с соседней койки смотрела большими, выразительными, усиленно сочувствующими глазами. – У моего деда восемьдесят шесть было – и ничего, сейчас планирует, как День Победы отпраздновать. Теперь, когда уже год эта зараза ходит, ее гораздо лучше лечить научились. И почти никто не умирает – только если кто уж совсем побочками обвешан – ну, диабет там тяжелый или рак... Или если человек старый очень, а тебе сколько – пятьдесят один? Ну, и не переживай. Сейчас еще денек-другой – и на выздоровление повернет прочно. Нин, ты не молчи, пожалуйста...

Ну да, конечно, уже и День Победы на носу. Нининому героически погибшему под Стрельной дедушке, названному собственными идейными родителями в честь Энгельса, невзирая на роковое противоречие с невозможной фамилией Паливода, на этот раз не шагать в Бессмертном полку...

– Мне трудно говорить, – глухо отозвалась Нина, с отчаяньем вспоминая, что еще вечером кислорода в ее крови было надежных девяносто семь процентов, и доктор, заглянув в листок, кивнул: «Очень хорошо!»; а всего одна ночь миновала – и нижняя граница нормы... Господи, пожалуйста, только не реанимация!

* * *

– Ты серьезно? Зачем?

– Разумеется, это вышло случайно. Ниночка ведь выпускала своего хомяка из клетки иногда. Ну, и заснула она в тот вечер, решив, наверно, что уже отнесла его обратно. А эта тупая скотина... ты ведь не будешь утверждать, что хомяки умные, нет? Короче, он залез под мое вязанье, которое лежало на диване, – а я с размаху села сверху – и еще поерзала, вытягивая из-под задницы твой недовязанный жилет... В общем, от бедной Нюси мало что осталось. Я никому ничего не сказала и быстренько вынесла... тушку... в мусоропровод, а утром, как ни в чем не бывало, участвовала в бурных семейных поисках и утешала дочку, что, мол, «погуляет и вернется»...

– Несчастливая скотинка. Надо же, какая ужасная смерть.

– Ничего не ужасная. Сам знаешь... Помнишь, мы вышли с тобой из метро – и вдруг этот треск...

– Да. Отломился и рухнул на толпу дурацкий бетонный козырек у старой станции. Там погибло одиннадцать человек. Не напоминай, это ни к чему.

– Что уж теперь... Да и когда это было! Но я до сих пор не могу забыть, как Ниночка с такой надеждой искала свою Нюсю, звала ее так жалобно – а я слушала, и перед глазами стояла картинка... прямо скажем, неаппетитная: я снова и снова мысленно заворачивала в газету окровавленный меховой мешочек, совершенно плоский и рыхлый.

– Я тоже тебе признаюсь – только не в страшном, а в смешном. Лет через пятнадцать после того дня она тоже кое-что искала.

– Н-н... Не помню... Хотя, да! Серьгу, кажется?

– Кольцо. Здоровенное серебряное кольцо, скорей перстень. Я терпеть не мог его на Нинкиной руке. Такое грубое, аляповатое, для какого-нибудь маргинала-мужика, на мизинце татуированном носить, а не для нежной девушки. Так вот, она его выронила, кольцо куда-то укатилось и сразу не нашлось. А я на следующий день зашел к ней в комнату забрать со стола свою «Вечерку» – и вижу: лежит себе за ножкой стола, поблескивает. Я его поднял и выкинул.

– Теперь я спрошу: зачем?!

– А я отвечу, только без обид: чтобы добавить перцу в ту пресную жизнь, которую ты ей устроила. Она, должно быть, до сих пор думает, что кольцо провалилось в параллельный мир, гадает, как могла вещь исчезнуть совсем... Хоть что-то странное, интересное.

– Ну, положим... Эта шутка, конечно, в твоём духе, тут ничего не скажешь... Но почему это я «устроила ей пресную жизнь», можно спросить? Ты раньше мне не говорил такого...

– Раньше я тебя немножко боялся. То есть не тебя, конечно, а твоей реакции. Ты бы начала плакать, кричать и обвинять меня... «Она девушка! Ей матерью быть! Самое правильное и естественное для девушки – работать с детьми! Чтобы научиться всему! И стать в будущем хорошей матерью! А искусство сделает из нее проститутку!» Нина тоже боялась твоего крика и слез. Ей было легче разрушить свою жизнь, чем видеть, как ты колотишься в рыданиях. Вот и отправилась учиться на воспитательницу, хотя детей уже тогда терпеть не могла. Ну а потом, естественно, и возненавидела...

– Зачем ты наговариваешь на нашу дочь? Ни одна из нас не может ненавидеть детей. Тебе этого никогда не понять. Любая нормальная женщина любит всех ребятшек и мечтает родить побольше своих.

– Да, но только если ее не заставляют это делать.

– Ниночку никто не заставлял. Я просто спокойно объяснила ей, что все эти творческие вузы не доводят до добра, а ей быть женой, матерью, и... Она мне, к счастью, тогда еще доверяла.

– Именно. Но только ни женой, ни матерью она так и не стала, если помнишь. И сдается мне, именно потому, что работала воспитательницей в твоём детском саду и успела так нанюхаться этих цветов жизни, что зареклась заводить такое чудо у себя дома.

– Нет. Просто она нарвалась на мужчину, который использовал ее и бросил... И, знаешь, теперь вообще лучше не говорить о подобных вещах... И нечего усмехаться! Прямо, как раньше...

– Да, но думать-то мне никто не запретит. Ладно. С чего мы начали? А, с кольца... Кстати, на тебе есть еще одна вина – вспомни перчатку.

– Перчатку я, между прочим не отняла, а, наоборот, принесла. Просто увидела, как Нина забыла ее на столе в нашей «стекляшке», когда перекладывала продукты из корзинки в сумку. Хотела позвать ее, чтобы вместе пойти домой, но потом с чего-то решила пошутить потвоему. Дочка ушла, а я взяла забытую перчатку и дома тихонько положила в прихожей на тумбу под зеркалом. Ты говорил – не надо, а я: «Давай над ней подиутим!» Как потом Нина удивлялась! Она ведь точно знала, что потеряла ее в универсаме! А я молчала – мне было приятно видеть Ниночкино изумление и чувствовать себя немножко

волишебницей. Хотела, конечно, признаться со временем, но потом, знаешь, то одно, то другое... Так и забыла. А она, скорей всего, нет.

– Да, интересная у нас семья оказалась. Девочка до сих пор думает, что в ее жизни было целых два чуда. Я даже не знаю, хотел бы я или нет, чтобы она узнала, что это были вовсе не чудеса...

– Все равно ведь узнает когда-нибудь.

– Да. Одно утешает: чудо все-таки случилось – мы здесь. И она обязательно к нам... Слышишь, что там такое?

– Как всегда по воскресеньям. Опять, наверное, пришла посылка от Ниночки.

* * *

У Нины было одно, весьма сомнительное преимущество перед остальными недужными в палате: ее койка стояла у стены вдалеке от окна и батареи, что позволяло, во-первых, меньше страдать от упрямого, безжалостно пышущего даже теперь, в начале мая, жара (будто четверем страдальцам было мало собственного, сжигавшего изнутри), а во-вторых, – иногда, преодолевая резкую спастическую боль в безнадежно закаменевшей шее, отвернуть тяжелую голову и просто некоторое время не видеть всего этого .

Палата, в тучные времена – платная, двухместная, с – невероятная роскошь по нынешним временам! – отельным, вполне опрятным, даже кокетливым санузлом – во время эпидемии вынужденно сошла с пьедестала и превратилась в обычную душную живопырку. Широкая тумба была безжалостно изгнана из пространства между двумя удобными кроватями, и ее заменила третья, с жалобно поющей при каждом движении пациентки панцирной сеткой. Та же участь постигла и стол с телевизором – вместо них втиснули четвертую узкую и жесткую клеенчатую койку из смотровой, бросив поверх пятнистый комковатый матрас третьего срока, на который, пока он еще не был наскоро застелен больничной простыней, страшно было взглянуть.

Зато не слышать чаще всего не удавалось: невеселые разговоры трех других пациенток как начинались сразу после утренних уколов в живот и измерения неутешительных показателей температуры и сатурации, – так и замолкали далеко за полночь, очень постепенно увядая и еще несколько раз по нисходящей вспыхивая. Предметом вечных бесед – тишина здесь казалась очень страшной – служили дети, мужья и старенькие мамы, которых все женщины боялись больше никогда не увидеть, имея для этого вполне резонные основания: палата считалась тяжелой, без кислорода не лежал никто, у каждой из носа торчали прозрачные голубоватые канюли, от которых змеились гибкие пластиковые трубки, – и без этой ежеминутной поддержки таинственная «сатурация» критически падала; температурили тоже все четыре страдальцы...

В довершение всего окно палаты «удачно» выходило в торец здания, глядя прямо на узкую, мощенную плитками дорожку, ведущую к неказистому одноэтажному зданию, мрачное предназначение коего предстало перед ними со всею очевидностью очень быстро: поднявшись с койки, чтобы доковылять до санузла, и посмотрев по пути в окно, больные почти обязательно видели, как беспечный санитар в скафандре толкает по каменной тропке перед собой тяжелую увертливую каталку с тугим и длинным черным пластиковым пакетом на молнии. Пакетом, с которым каждая немедленно в мыслях отождествляла саму себя...

– А я матери-то, когда последний раз уходила от нее, сказала – пока, мамуль... И даже в щеку не поцеловала – поленилась наклоняться... Вот тебе и «пока»... А теперь просто подержать бы ее за руку... Такая сухая маленькая ручка стала...

– А у меня дочке одиннадцать лет. Она мою помаду диоровскую сперла и губы намалевала – так я ее за холку взяла да и головой под кран сунула. Отмывай, ору, свою наглую морду... Знать бы, что только два дня пройдет, и...

– А я, девочки, мужа прокисшим супом накормила в прошлую субботу. Сын кастрюлю в холодильник убрать забыл и ушел, а жара-то какая... Я прихожу, нюхаю – точно, припахивает маленько, а ведь и половину еще не съели... Блин, думаю, полтора кило мяса пропало – жалко... А потом – а, наплевать, мой со смены вечером придет – схочмячит за милую душу и не заметит, перца побольше положу. И схочмячил... Если б сюда не загремела, то и не вспомнила бы. А теперь... Хоть бы посмотреть на него – и то за счастье.

– Да, вот и я все думаю: вдруг я своих теперь только на экране смартфона до конца жизни видеть буду, а слышать – через микрофон? И не потрогаю никогда, детей по головке не поглажу... Ох, девчонки... Мы ведь здесь без посещения, как в тюрьме... Видели, какую колючую проволоку поверх больничной стены нацепили? Из нашего окна тоже видно кусочек.

– Да, когда меня сюда привезли, я из окна скорой на посту у ворот росгвардейцев в противогазах и с автоматами видела.

– Точно, и надпись – осторожно, смертельно опасная инфекция...

– Да, бабы, попали мы с вами... И, главное, лечат наобум...

Нина тоже иногда умозрительно хотела бы поговорить о том, как ей мечтается подержаться сейчас за родную руку, поцеловать любимую макушку... Но о чем она может рассказать этим трем замужним мамашам – о том, что детей в принципе терпеть не может еще с тех пор, как тринадцать лет проработала воспитателем в детском саду? И, пока не начала жить одна, даже и помыслить не смела о бунте, подспудно почитая его за предательство... Хотела поступать на худграф, рисовала легко и с удовольствием, в студию не бегала – летала, а дома в ванной оборудовала фотолабораторию, где с упоением шаманила по ночам... Но мама – гордая и породистая, с греческим профилем, Софья Фридриховна (это у других девочек могла быть мама Соня или какая-нибудь мама Катя, а к ее матери уменьшительное имя категорически не шло) – устроила красивую бесслезную истерику, всегда пугавшую ее дочь и мужа до кишок. «Ты у нас поздний ребенок, мы с отцом ждали тебя двенадцать лет! И для чего? Чтобы ты так отблагодарила нас?! Чтобы превратилась в богемную потаскушку, которых штампуют эти так называемые творческие вузы?! Чтобы получила профессию, которой нет, и потом стала содержанкой в сомнительных кругах?! Чтобы мы даже умереть спокойно не могли, зная, что не выполнили свой родительский долг?!» За двенадцать лет бесплодного брака возможность беспрепятственного материнства успешно превратилась в идею фикс у Софьи Фридриховны, которая, родив, наконец, долгожданную дочку, не уставала повторять, что неосуждаемая цель всех женских устремлений, единственное оправдание самого существования женщины на земле – это бесперебойное воспроизводство и воспитание потомства. «Женщина, которая не мечтает о детях, – чудовище, понимаешь ты?! – трагически восклицала она, ломая брови и руки. – Нет, скажи, ты понимаешь это или нет?!» И легче было понять и признать, чем спорить. «Со мной, наверное, что-то не в порядке, если я так

не думаю, – испуганно рассуждала выпускница школы. – Если бы мама знала... Господи, она, наверное, не смогла бы меня любить!» Тогда Нина была к детям просто равнодушна – а неодолимое отвращение родилось, укоренилось и окрепло в подневольные годы, когда с маминой подачи ей посчастливилось работать воспитательницей в том самом садике, коим бесценно, многие десятилетия руководила Софья Фридриховна... Она, Нина, ненормальная, если ей кажется неприятным придурковатый восторг молодой мамыши, которая истово нюхает в детсадовской раздевалке мокрые колготки толстой слюнявой дочурки, при этом идиотически присюсюкивая: «А ктё эта у нась тьякой мокленький!..»? Или она действительно чудовище, если на работе не умиляется густой зеленой соплей, свисающей из ноздри задумчиво калякающего бессмыслицу на альбомном листе карапуза и не мчится вытирать ее голой рукой, а брезгливо командует няне: «Подотри вон тому нос салфеткой!»? И это неправильно – при виде малолетнего садиста, будущего маньяка, который на прогулке, сидя на корточках у куста, сосредоточенно отрывает лапки по одной у ни в чем не повинного бронзовика, желать немедленно оторвать ему самому – только не жестокие лапки, а сразу радикально – тупую и заведомо бесполезную в будущем башку? И она должна каждый раз не каменеть сердцем при виде многих прочих невинных детских шалостей, а мудро искать их причину в собственной педагогической несостоятельности? Впрочем, своего ребенка Нина, наверное, атавистически полюбила бы – из вселенской песни бытия слово «инстинкт» не выкинешь, – если бы захотела однажды его родить. Но, чтобы это желание пришло, освоилось и осталось, нужно было однажды хоть раз вдохновиться чужим материнством, – но такого случая Нине так и не представилось: все, наверное, какие-то неправильные материнства подворачивались... А теперь и вовсе исполнился пятьдесят один. И если так дальше пойдет, то о пятидесяти двух можно и не мечтать.

* * *

– Ну, и чего ты добился? Посмотри на свои ожоги – ты же буквально спалил себе лицо! А глаза? Глаза целы? Не хватало только тебе ослепнуть от собственной наглости... Смотри, когда-нибудь этим и кончится! Ну ужасели ты до сих пор не понял, что бесполезно, бесполезно, бесполезно – пытаться лезть вверх по горе?! Она неприступна для нас с тобой, прими ты уже это, смирись и успокойся! Чем нам здесь плохо?! Дом, сад, кот... Но каждый раз, как я из храма возвращаюсь, – ты ушел. И я уже знаю, в каком состоянии вернешься... Почему?! После стольких неудачных походов?! Вот я же не лезу никуда, только до беседки с фонтаном добираюсь иногда с Машей встретиться – и то мне ясно, что выше пути нет! На что ты надеешься?!

– На Божью милость. Но сейчас ты ошибаешься. Я не пытался лезть вверх. Я просто подумал после последней посылки: может, получится пройти не вверх, а вбок? По той же широте? Просто обогнуть гору? Начала перевалить на восточную сторону, а там, глядишь, и на южную...

– И далеко ты добрался?

– Я почти увидел восточный склон... По-моему, там сплошь виноградники – как в Крыму, помнишь? – и даже море, кажется, вдалеке. Очень красиво... Но такая жара, что мне показалось, что я вот-вот сгорю, – и пришлось повернуть, а сердце так и разрывалось... Хотя несколько тамошних птиц все же пролетело над моей головой! Здесь таких нет. Просто умопомрачительные птицы – и как поют... Я только

миг слышал их пение, но оно так и осталось в душе занозой... Вот послушай... Попробуй услышать... Пожалуйста.

– Нет, не могу. Сколько ни пытаюсь – не получается...

– Ничего, в следующий раз...

– Какой еще следующий раз?! Ты хочешь сказать, что теперь будешь бесконечно рваться на юг? Так же, как раньше – к вершине?!

– Не получилось через восток – пойду через запад... Там может быть прохладней.

– Опять ничего не выйдет. Только обгорюшь понапрасну.

– Соня, ты не понимаешь. Сейчас у меня ничего не получилось, потому что посылка была не от Ниночки. Я, когда ел тот пирог, сразу почувствовал чужую руку. Нет, все прекрасно, вдохновляюще, как всегда, – но не она посылала, а кто-то чужой. А ты ничего... странного не ощутила?

– Пожалуй. Но я сразу отмела эту мысль, потому что кто, кроме нее?

– Ну, может, она не смогла – скажем, заболела или уехала – и попросила кого-то... Но что гадать! В другой раз сама отправит – вот увидишь – это будет совсем другой вкус. И тогда уж я...

– Пожалуйста, не надо... Давай лучше поговорим о Ниночке. Помнишь, какая она у нас красавица? Волосы темно-пепельные, а глаза – ярко-голубые. И личико такое точеное, белое, как сметана, и фигурка – загляденье. Когда мы вместе шли по улице, то я все время замечала, как мужчины и парни оборачиваются ей вслед...

– Почему же ты тогда всю жизнь уверяла ее, что она дурнушка?

– Да это чтобы она выросла скромной! Чтобы не вздумала наряжаться и вести себя, как вертихвостка! Чтобы не растратила свою красоту на недостойных мужчин, а берегла ее для единственного! Чтобы не держалась так нагло и уверенно, как это делают те, которые считают себя красотками!

– Она и сберегла себя для единственного. Который разбил ей сердце и сломал жизнь.

– Но не в моих силах было это предвидеть, Сергей! Я хотела как лучше. Разве я могла предположить, что со своей красотой Нина выберет самого неподходящего мужчину! Я верила, что она пойдет моим путем не только в профессии, но и во всем, – а я-то ведь сделала хороший выбор и была с тобой счастлива в браке...

– Да. Это так. Но только у каждого свой отдельный путь.

– А правда хорошо было бы взять ребенка за руку, провести по жизни широким хорошим путем, подальше от всех этих обрывов и пропастей, – и не беспокоиться за него? Но, к сожалению...

– К счастью. К счастью, нельзя его взять и провести.

– Да ну тебя... Смотри-ка, а кот наострил уши! Будто прислушивается к чему-то...

– К отдаленным шагам, например. К тем, которые мы еще не можем слышать, а он – может. И вообще весь какой-то встревоженный...

– Глядя на него, я начинаю надеяться.

* * *

Большая добрая Лена умерла в их палате первая.

– Завтра буду на выписку проситься, – как всегда, легонько задыхаясь, заявила она накануне. – Одышка – это у меня из-за веса, сколько себя

помню, верней, после родов, с тех пор, как разнесло. Но врачам же не докажешь. А у меня мать одна в квартире сидит, на волонтеров покинутая... Хватит мне уже тут жариться – дома батареею проклятую хоть отключить можно, завтра так и скажу нашему чуреку... – имелся в виду чем-то напоминавший крепкого низкорослого степного коня их лечащий врач из бывшей союзной республики, где жара никого не пугает.

Лена в очередной раз вытерла мокрый лоб пухлой пястью, за безымянный палец которой было больно – так глубоко врезалось в него широкое обручальное кольцо, – и с облегчением принявшего окончательное решение человека откинулась на подушку. Но наутро раскосые глаза степняка, лечившего своих больных исключительно «по клеточкам», – то есть попросту зачеркивая на листе в соответствующих графах заранее и не им напечатанные назначения, – даже под бесцветными очками, придававшими сходство с марсианами всему лечащему персоналу, выразительно полезли на лоб.

– Ваш сатурация, – с медицинскими терминами, относившимися к модной болезни, доктор был очень даже в ладу, в отличие от русской грамматики, – сегодня очень низкий. Только восемьдесят восемь. Я сейчас приглашу к вам заведующий, – растерянно сообщил он удивленной пациентке.

– Вот дурак, – тихо удивилась Лена ему в спину. – Мне сегодня гораздо лучше, и температуры почти нет. Там, наверное, девяносто восемь. Девятку с восьмеркой перепутал. Чурек, он и есть чурек. И хорошо, что заведующий сейчас придет. Его-то я и заставлю меня выписать.

Но никто из болящих не поддержал бодрых прогнозов соседки – наоборот, повисла недоверчивая страшноватая тишина. Дальше все происходило быстро и жутко: тонконогий, угловато вышагивающий в белочерном скафандре, убийственно похожий на аиста, добывающего у себя под ногами лягушку, завотделением лично измерил Лене содержание кислорода в крови, ничего не сказал и неприметно кивнул медсестре. Та открыла дверь, в свою очередь, тоже кивнула кому-то – и в палату немедленно въехала высокая дребезжащая каталка. На Ленины изумленные возражения слаженно работавшие медики внимания не обращали, будто посторонним назойливым шумом были вполне искренние уверения в том, что она, определенно, почти выздоровела; ей только бросили на ходу: «Ложитесь в одной рубашке»... Она так и уехала, все сляясь приподняться на жестком гнущем ложе, – недоумевающая, глупо-покорная бледная туша в промокшей рубашке в синий цветочек... Уже вечером за нехитрыми пожитками пришла санитарка – и странно осиротевшие обитательницы палаты, присмирив, наблюдали, как бесцеремонно и небрежно бросает она в рыжий клеенчатый мешок все подряд – тапочки вперемешку с зубной щеткой и расческой, растрепанную книгу поверх стакана с брякающей ложечкой; как, скамкав, запикивает халат, сует дорогой смартфон и беспроводные наушники... Боясь поинтересоваться, куда забирают имущество отбившей, каждая убеждала себя, что просто это привычно, с легким скифским варварством освобождают дефицитное койко-место, а Лену, когда переведут из реанимации, положат в другую палату... Они бы так и верили в это изо всех сил до конца собственных дней, если б одна из них, не выдержав пытку очевидностью, не решилась с заковыристой простотой спросить хмурую санитарку:

– И куда теперь ее вещи?

Решив, на что и был расчет, что вопрошавшей все уже откуда-то известно, та сухо проговорила:

– В дезинфекцию, потом родственникам отдадут. Такой порядок.

Воцарилось мучительное молчание – только три бокастых кислородных концентратора, весело булькая и разве что не подпрыгивая, выдували в тонкие трубки прохладный газ последней надежды.

* * *

– Коты в этом никогда не ошибаются. Помнишь, в Петербурге он всегда знал, когда Ниночка где-то на подходе к дому, – за четверть часа начинал дежурить в прихожей! Как собака... Кстати, здесь я никогда не видела ни одной собаки. Разве не странно?

– Им тут нечего делать. Их работа – защищать хозяев и их дома, а здесь – от кого нас защищать? Хотя, пожалуй, хорошо, что у нас никогда не было собаки, – вдруг мы бы скучали по ней?

– Не знаю. Никогда их не любила. А в нашем доме без них и подавно хорошо – и тогда было, и сейчас. Нам довольно кота, правда? Что, Сережа, не стесняешься теперь брать его на колени?

– Нет. Я ему очень благодарен. Он словно связывает нас с Ниной. Особенно теперь, когда кажется, что она уже где-то близко. Вот появится – и будет все точно так же, как тогда: мы с тобой, наша дочка, этот кот... Даже твоя чашка с золотой каемкой.

– Кстати, чашка... Она ведь никогда не была полностью золотой внутри? Только ободок? Я ничего не путаю?

– Да, конечно, такой широкий, я прекрасно помню... Почему ты спрашиваешь?

– Так просто... Нет, Сереженька, так же не будет – и к лучшему. Я как подумаю, что слишком уж наша дочка настрадалась... Ведь она его... этого... столько лет любила... Наверно, и сейчас любит. Только его одного – других и видеть никогда не желала. Почему?! Мы ее с такими женихами знакомили! А он обращался с ней хуже, чем с собакой, бросал на много лет, женился на другой, разводился, вновь с ней заигрывал, а потом опять оскорблял по-всякому... А Нина все равно его ждала и каждый раз к нему возвращалась, – на первый же свист бежала, именно как собака. Еще и годами содержала, когда он работать отказывался. Даже в дом к нам, родителям, его привести стыдилась, но себя так переломить и не смогла, силы воли не хватило. Может, болезнь у нее такая?

– Я и сам часто задавался этим вопросом. Но теперь, здесь, перестал. К чему? Есть загадки, которые нам разгадать не дано. Вернее, их просто не положено разгадывать тем, кому они не предназначены. Ну а Ниночка, я уверен, рано или поздно раскроет эту тайну.

– Но я – мать, и имею право задумываться, почему так поступили с моим ребенком!

– Да брось, Соня. Какие у нас теперь права... Сидим здесь, на северном склоне, – и слава богу, что хоть у самого подножия прилепились. Могло быть много хуже, сама знаешь.

– То-то ты все рвешься то вверх, то на юг.

– Да. Неугомонный я тебе достался. Но ты ведь знала, за кого выходила...

– Нет. Все сорок шесть лет я каждый день открывала в тебе что-то новое. Неизменным с самого начала оставалось только одно – твоя вопиющая небрежность. Неужели трудно было, например, застегиваться на нужные пуговицы? Помнишь, мы с Ниной ехали в гости, и на эскалаторе по пути вверх ты застегивал куртку наугад и как попало,

при этом размахивая свободной рукой и с выражением декламируя Каррансу, – неудивительно, что промахнулся даже не на одну, а на две пуговицы... Потому мы и задержались, выйдя за стеклянные двери, – ведь не могла же я допустить, чтобы ты так и пошел по улице... И, главное, я тебя почти успела переастигнуть!

– Да, а Нина уже сбежала по ступенькам на асфальт и раздраженно звала нас снизу – давайте скорей, что вы там застряли, мы же опаздываем...

– Я, представь себе, даже помню, что ты тогда цитировал из этого колумбийца: «Все хорошо. И росный луг, и эти / восторженные ветви на ветру. / Все превосходно. Праздник поутру / проснувшейся природы. Свет и ветер...». Тогда я, конечно, не знала, что слушаю пророчество, но все-таки...

– Да. Он словно знал, где мы поселимся, чтобы его вспоминать, а я как специально выбрал именно это стихотворение... Что с тобой?

– Вот теперь я слышу. Почти отчетливо... Совсем как кот! Ну, прислушайся же!

– Да. Теперь нет сомнений. Хотя я еще и не слышу ничего, но мать и кот – это уже кое-что.

– Смотри, он точно собрался встречать, как тогда! Позови его!

– Сейчас... Я от волнения забыл, как его зовут... Что-то горное... Какие-то снежные вершины...

* * *

Нет, ну, не может же быть... Вот так – раз и все, считай, на ровном месте... Кашель – не такой уж и сильный, температура... Подумаешь! Ведь, считай, жизнь только началась, и ничего толком еще так и не получилось. После бегства из детсада – металась, металась по всяким конторам – то кружок кройки и шитья для взрослых вела, то в типографии верстальщицей после каких-то невнятных курсов, то... И вот лишь полгода назад прилепилась к одному по-хорошему здоровому коллективу – наплевать, что фирма черепицу продает, а Нина накладные сверяет, зато называется уважительно – менеджером, а главное – атмосфера теплая, люди душевные, работа как второй дом... Вот и сейчас в соцсетях уже почти родные климактерические девчонки не забывают посылать улыбочивых котиков и пищут наперебой: «Крепись!»; «Верь в себя!»; «Настройся на выздоровление!»; «У тебя получится!»; «Держим кулачки!»...

Словом, где-то вдалеке забрезжил над жизнью бледный рассвет, и пожалуйста – утром, как гром среди ясного неба:

– Сатурация критически снижается. Вы не волнуйтесь... Вам нужна более основательная кислородная поддержка. Надеюсь, что неинвазивная, обойдемся маской. Пока...

Да нет, зачем себя обманывать, никакого ясного неба давно уж не было, и гром ожидался со дня на день, даже, пожалуй, запоздал... Почему-то все приходило на ум какой-то давний молочный коктейль с тоненькой трубочкой, по которой она счастливо втягивала его в себя – уже не ледяной, густой, отдающий вишневым сиропом... Так теперь тщи-лась тянуть в легкие кислород – жиденькой ненадежной струйкой – часто, прерывисто, со странным шипением. А ужас, наоборот, шел мощными волнами – высокими, упругими и черными, захлестывал с головой, – и тогда хотелось, заломив руки, с первобытным криком выскочить в коридор, хватать там кого попало за руки, умолять о спасении... Но уже

трудно стало поднимать разбитое болью тело – и волна, сухо облизав, отваливала, оставляя жертву распластанной на последнем берегу.

Все, как с Леной: узкая длинноногая каталка, стыдное и неуклюжее карабканье на нее, страшные взгляды товаров с мятых постелей – правда, телефон она зачем-то ловким воровским движением спрятала под рубашку, смутно чувствуя, что иначе связь с живым миром будет обрезана раз и навсегда («Вам потом вернут»... Когда – потом?!); повезли заранее ногами вперед, выдернув из ноздрей хлипкие канюли, – и оказалось, что без них она – просто жалкая бесправная рыба, выловленная сачком из аквариума в дорогом супермаркете. На исходе зимы при ней там выловили живого карпа для одной женщины, сунули, извивающегося, в белый пластиковый пакет, завязали и шлепнули поверх клейкую бумажку с ценой и штрихкодом. Покупательница небрежно пихнула приобретение в железную тележку и отправилась дальше в путь между яркими рядами соблазнительных товаров; потом Нина случайно столкнулась с ней на кассе – и увидела, как среди других покупок судорожно колотится длинный белый сверток... «Хреново ж ему там сейчас», – помнится, равнодушно констатировала она – и вот не прошло и трех месяцев, как сама превратилась в такого же приговоренного к съедению карпа, только было ей много хуже: бедолага просто физически мучился моментом, не осознавая неумолимого грядущего, погибающий же человек с отчаяньем заглядывал в разверзающуюся впереди бездну... «Но почему я непременно должна как Лена?! Ведь многие оттуда возвращаются – подышат из маски – и возвращаются, их даже к ИВЛ не подключают! Я – худая, а Лена была толстая, толстые часто умирают от этой заразы, а худые всегда выздоравливают! Боже мой, Боже, за моими вещами так же придет санитарка...»

– Здесь придется подождать немножко. Там койку обеззараживают, – и незнакомая тощая «космонавтка», привезшая Нину прямо к стеклянной двери с надписью «Реанимация», исчезла из помутневшего окоема.

Больная осталась одна в широком коридоре, где гулял приятный сквозняк, и тогда сквозь почти привычное, явное и несомненное страдание вдруг стало назойливо проступать другое, до поры задавленное, усиленно отрицаемое, но всегда неумолимо побеждавшее в любой борьбе...

Да что там думать – Нина его и сейчас любит, после всех этих издевательских тридцати лет. Даже в этот момент, перед последней дверью, – все равно любит. Как любила и в тот день, когда, невинно ища таблетку от головной боли, нашла у него в ящичке стола бархатную коробочку с золотым кольцом – и сердце зашло от счастья. Но Леша резко выхватил у подруги немного укусивший ее за палец футляр, и твякнул: «Не хватай! Твое какое дело – может, я жениться собрался!» «Н-на ком?..» – потрясенно выдавила Нина, у которой перед глазами быстро меркло видение ее самой, но в подобающей случаю фате и кружевном платье. «Ну не на тебе же!» – отрезал чужой жених. Несостоявшаяся невеста, глотая слезы, поплелась на его кухню, чтобы успеть до ухода домой, к родителям, перемыть тарелки... Но любить не перестала. Конечно, не на ней – женятся на красивых и нарядных, веселых и умных, а она – глупая и унылая серая мышь. Мама так и говорит постоянно: «Одевайся сдержанно! Не с твоей внешностью обращаешь на себя внимание, люди смеяться будут – такая дурнушка, а разодета в пух и прах!» «Пусть я некрасивая, но ведь интересная же?! – иногда с отчаяньем спрашивала Ниночка Софью Фридриховну. – Меня ведь полюбит кто-нибудь?!» «С чего ты взяла, что ты интересная? Совершенно неинтересная. На лице один нос торчит, и тот кривой, волосы цвета половой тряпки. А покрасишь – еще хуже станут.

Вдобавок, говорить с тобой не о чем, двух слов нормально связать не можешь, мозгов не больше, чем у цыпленка, – любой вокруг пальца обведет, – неумолимо отвечала та. – На таких, как ты, женятся не за красоту и ум, а за чистоту, скромность и любовь к детям. Только это и нужно в жизни, остальное – так, мишура...» Дочь прекрасно усвоила материнские уроки – и не думала в чем-нибудь упрекать Лешу, когда после трех лет брака с другой женщиной он неожиданно позвонил (Нина в магазине положила коробку молока мимо тележки, и та с глухим хлопком взорвалась на каменном полу, обдав несколько человек белыми брызгами, как осколками, – да наплевать!) и буднично, словно они расстались накануне, позвал к себе. Дома у него все оказалось по-прежнему: засохшая плесень на посуде в раковине, мышинными шкурками свернувшаяся пыль по углам, гора неглаженной одежды в кресле, десяток заляпанных разнородной грязью кроссовок в прихожей... Через несколько часов все сияло хирургической чистотой – а Леша небрежно теребил волосы Нины, счастливо припавшей к его плечу, и философски курил, пуская к потолку густой дым цвета голубиной грудки... Несколько месяцев она весело носилась с тяжелыми сумками, неустанно изобретала на кухне кулинарные шедевры, настойчиво таскала любимого по врачам, потому что в который раз оказалось, что за время их очередной разлуки его здоровье снова драматически пошатнулось... Потом он опять пропал на много лет, чтобы строить суровую мужскую жизнь с новой *настоящей* женщиной, достойной рыцарской любви, серенад и подарков. А Нина, на поверхности собственной души открещиваясь от унижительного, рабского чувства, давая страшные клятвы и зароки, внутри себя никогда не сомневалась, что вновь помчится к нему, раскинув руки, чуть только услышит в трубке единственный, дорогой, равнодушно-ласковый голос...

«За что мне это, за что?! – думала она и теперь, часто, по-собачьи, дыша в больничном коридоре в ожидании, когда ее доставят к одру страданий. – Почему у других хотя бы есть, что вспомнить перед смертью, а у меня – только гнусное служение человеку, который не испытывал и тени благодарности?! Чем я так провинилась, за чьи грехи расплачиваюсь так жестоко?!» Ответа и быть не могло – но нагретый от жара ее голого тела телефон под рубашкой – был. Нина не слышала безнадежно любимый голос два с половиной года, пять месяцев и одиннадцать дней. Однажды этот голос уже научил ее, как звонить первой: «Кто тебе разрешил названивать?!» – но теперь Нина готова была даже на эти четыре слова, лишь бы услышать его вообще. Хоть раз. Последний.

– Это кто?

– Леша, это я... Нина... Только не бросай трубку!

– А-а, это ты...

– Леша, я в больнице... Я все-таки подцепила эту... эту дрянь...

– А я переболел легко.

– Меня везут в реанимацию... И мне кажется, что я уж оттуда живая не выйду...

– Да, у нас на работе тоже двое умерло. Сейчас многие умирают... Слушай, давай потом, я занят, в багетной мастерской рамку заказываю.

– Леша, я не смогу потом... Я буду в реанимации... Там отнимут телефон... Поговори со мной... О чем-нибудь! Пожалуйста... Расскажи мне... Расскажи, зачем ты рамку заказываешь...

– Фотку деда вставить ко Дню Победы. Того, который под Стрельной был ранен. Меня к нему родители пацаном часто отправляли. Хороший был старикан.

– А мой дед погиб на войне... именно... под Стрельной...

– Да, там целая дивизия полегла. Мой тоже чуть не погиб. Его тогда на поле боя одна крыса штабная раненого помирать бросила – спасибо, санинструктор на него наткнулся, увидел, что живой, хоть и кровью истекает.

– Кры... Крыса?..

– Да, адъютант какой-то. Дед говорил – немчура, потому что звали его, кажется, Карлом, как Маркса... Или нет, как Энгельса... Забыл... Фамилия, правда, хохлятская – что-то вроде... Неразлейвода... Точно не помню, но имя-фамилия дурацкие. Говорит, сволочь, – извини, мол, лейтенант, сейчас каждый за себя... Правда, далеко не убежал: через десять шагов снарядом накрыло... Короче, ладно, дело давнее... Ты давай там, не дрейфь, я позвоню, как дел поменьше станет.

– Леш, ты не понял, я уми... Леша!!! Леша!!!

Нина не знала, что в ней еще осталось столько слез, – и когда они неостановимо, будто кто-то внутри повернул клапан, хлынули, то дышать стало невозможно вовсе: хрипя и захлебываясь, она в смертной муке приподнялась, раздирая ворот рубашки. Кто-то мягко подхватил ослабевшую женщину поперек спины, сквозь слезы проступило удивительное зрелище: не «космонавт»! Обычный мужчина в широкой синей футболке, с мягким брюшком, с бородкой...

– Женщина, милая, вы лучше сидите, не ложитесь... А плакать нельзя... Нам здесь никак нельзя плакать... – чужие глаза смотрели на нее по-женски участливо, почти нежно.

– Вы тоже... здесь... лежите?... – в несколько приемов заглотив по ничтожной порции воздуха, нашла в себе силы спросить Нина.

– Да, с анализов вот в палату возвращаюсь, – улыбнулся товарищ по несчастью.

– А я – всё... кажется. В реаним...мацию везут, – в Нине начал неумолимо закипать мелкий нервный смех. – Вот только койку... домоют... После предыдущего... покойника...

Но собеседник не стал уговаривать ее крепиться и верить в себя, а глянул почти сурово:

– Если так, то вы... причаститься... не хотите? Я грешный иерей Николай, и, когда забирали меня сюда, взял с собой на такой случай, – его ладонь с благоговением легла на грудь, на витиеватую надпись «Russia», под которой Нина только теперь заметила что-то объемное, висящее у собеседника на шее.

– А... а можно? – наивно спросила болящая.

– Если вы верите в Бога, то уже нужно. Даже необходимо, – пришел спокойный ответ.

Она растерялась:

– Я... верю... вроде... за родителей вот в церкви... записки обязательно подаю... А когда они... В общем, мы из метро вышли... Понимаете, я уже внизу стояла, на асфальте... под лестницей... А мама стала папе куртку застегивать... Прямо у дверей... Шарф там... ему заправлять... Он сам не умел, верней, не любил, всегда ему что-то мешало... Я только крикнуть успела – ну скоро вы там... И вдруг – грохот и пыль столбом... Будто снаряд... Я зажмурилась – и тишина такая... Такая... Глаза открываю – передо мной ни лестницы... ни дверей метро... ни родителей... Только руины... Потом сказали – козырек... бетонный... отломился и всех под собой... ну... Короче, я на следующий день в церковь прибежала... Меня научили в трех монастырях на вечный помин подать...

Сказали... сказали – это им там навсегда... как пояса... золотые... будут... Но я и дальше... все годы... записки ходила писать, чтобы эти, как их... частицы вынимали... за упокой... И даже теперь, когда увозили сюда... соседку попросила отнести записку, денег дала ей... Потому что вдруг им... там без этого плохо... – с мучительными остановками для судорожных сиплых вдохов, как умела, рассказала Нина.

– Значит, верите. Не верили бы – не писали бы, – тихо сказал он. – Сложите руки на груди вот так.

Одной ладонью Нина упиралась в жесткий край своего железного ложа и, отпустив его, пошатнулась. Двери реанимации разъехались, выпустив двух «космонавтов» – зеленого и белого, которые сразу же хмуро шагнули в сторону каталки. Священник остановил их движением руки столь властным, что санитары невольно отступили, чувствуя, что здесь свершается нечто гораздо более важное, чем их обязанности, и более страшное, чем то, что происходит за раздвижными дверями.

Отец Николай осторожно вытянул за шелковую ленту предмет, висевший у него на шее, – и зачарованной Нине на миг показалось, что в ладонях у него сверкнуло маленькое, но ослепительное солнце.

– Повторяйте за мной, как сможете: «Вечери Твоя тайныя...»

* * *

– *Ирбис! Ирбис! Папа, он так быстро несется вверх по горе, словно знает, куда ведет нас!*

– *А что ты хотела, дочка, – там его прародина, ты же сама назвала его в честь высокогорных кошек – снежных барсов. Вот он, наконец, дождался тебя – и, конечно, хочет показать те места, к которым всегда стремился.*

– *Как – кошек?! Барсов?! Когда я называла котенка, я думала, что ирбис – это такой цветок... Какой-нибудь экзотический... Как странно.*

– *Странно другое: мы так легко идем за ним по этой сумасшедшей круче – и свет ничуть не обжигает... Раньше я и ста шагов от дома в сторону вершины не мог пройти, почти слеп от белизны, ноги кровоточили и были как в колодки закованы... А теперь посмотри вниз: видишь – далеко внизу – в просвете вон того облака – маленькое красное пятнышко? Нет? Да я сам уже почти не вижу... Но это крыша того дома, где мы с Соней и Ирбисом ждали тебя. Соня, а ты видишь?*

– *Нет. Там темно – диву даюсь, каким образом мы вообще что-то различали, когда жили у подножия? А как я теперь буду видеться с Машей? Ведь в той розовой беседке, оказывается, тьма-тьмуца!..*

– *И это образуется, ты скоро убедишься.*

– *Сергей, как ты думаешь? Если наш кот здесь станет настоящим ирбисом – он приведет нас к тем горным цветам? Ну, о которых люди говорили...*

– *Наверное... Ирбис! Ты хитрый зверь – почему раньше не показал мне эту тропу, когда я так рвался вверх – и возвращался опаленный и униженный, а ты и ухом не вел?*

– *Рано было. Неужели ты не понимаешь? Он не хотел уходить без хозяйки, но не знал, сможет ли она пойти за ним. А раз Нина спокойно идет, то и мы тоже: те, кто любит друг друга, здесь не разлучаются. Представляешь, доченька, – всегда, когда приходила от тебя посылка, папа становился сам не свой – все рвался то вверх, то на южную сто-*

рону... А Ирбис с ним не ходил, не показывал тропу – вот папа и возвращался ни с чем.

– Кстати, Нина, – а последнюю ведь не ты послала? Она была какая-то не такая, как раньше, – то, да не то. Как не из твоих рук.

– Да, папа, это соседка, по моей просьбе. Я сама не могла... Ой, смотрите, наш Ирбис уже на какой-то поляне... Только хвост гуляет среди цветов... Какая красотища... Я таких никогда не видела.

– Это эдельвейсы, дочка. Те самые высотные цветы северных склонов... Значит, все правда.

– Здесь правда вообще все...

– Хватит философствовать, давайте лучше выберем дом!

– А... разве мы не пойдем выше и южнее?

– Видите – Ирбис остановился... Значит нам суждено остаться на севере, с ирбисами и эдельвейсами.

– Вам троим... А я, кажется... Я, наверно, приду сюда попозже... Но это будет уже навсегда.

– Ниночка! Куда ты?! Почему?! Сергей, она уходит! Ну, сделай что-нибудь, ты же мужчина!!

– Не удерживай ее, Соня... Подождем еще немного. Северный склон – это вовсе не так плохо, как мне раньше казалось.

Прозрачный воздух еле заметно дрожал, словно сам не мог вынести своей чистоты и прозрачности. Огромные дикие кошки, невозмутимые, бело-черные, с глазами цвета отражающих ясное зимнее небо льдинок, царственно возлежали на высоких отрогах, скрестив и свесив мощные мягкие передние лапы. Покачивались на узкой высокогорной поляне словно из колючего ослепительного инея изваянные цветы с острыми лепестками и золотой сердцевинкой. Далеко внизу неслись ледниково-голубые облака, изредка являя в просветах веселую солнечную долину с цветной россыпью разновеликих крыш. Но вершина горы, по-прежнему недоступная и ничуть не приблизившаяся, все так же окутана была непроницаемым туманом, в котором лишь иногда, смутным намеком, проступало нечто слишком величественное, чтоб это можно было представить, – и сердце любого, взглянувшего вверх, непременно начинало горько ныть от запоздалых сожалений о несбывшемся.

И все же некоторых так никогда и не покидало вечное стремление ввысь.

* * *

– Меня... утром привезли? Я... сознание потеряла, да?

– Только не волнуйтесь... Все хорошо. Вы в реанимации. Пробыли на ИВЛ двадцать шесть дней в искусственной коме. Но теперь мы вас полностью отлучили от аппарата – очень постепенно и осторожно. Сейчас вы дышите самостоятельно, дело идет на поправку. Но, чтобы полностью выздороветь, вам предстоит еще долгая и серьезная работа, так что потребуются много сил и времени...

– Да... До эдельвейсов... добраться трудно... Если б вы знали... как они высоко...

– О чем это она, доктор?

– Ничего особенного. Еще сохраняется легкая спутанность сознания. Скоро пройдет.

Ефим ГАММЕР

Родился в 1945 года в Оренбурге, окончил отделение журналистики Латвийского госуниверситета в Риге. Работал в газетах «Латвийский моряк» (Рига), «Ленские зори» (Киренск, Восточная Сибирь). С 1978 года живет в Израиле. Работает на радио «РЭКА» – «Голос Израиля». Редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп».

Автор многих книг стихов и прозы, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству.

Член редколлегии альманахов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается». Член правления Союза писателей Израиля – иерусалимское русскоязычное отделение.

Живет в Иерусалиме.

БЕЗ ПРАВА НА ПОРАЖЕНИЕ

1

Иерусалим сходил с ума. Впервые за три тысячи лет своего непростого существования он подвергался не осаде, не разграблению, а выходил на кулачный бой, причем по всем гуманным правилам боксерского искусства, в кожаных десятиунцевых перчатках. И не против палестинцев, сирийцев или прочих ливанцев, а против немцев. Да-да, немцев из Западной Германии, детей и внуков солдат вермахта, от чьих рук у многих нынешних израильтян погибли родные и близкие из старших поколений.

Когда-то я писал, что был самым счастливым еврейским мальчиком в Риге. У меня, рожденного в апреле 1945 года, остались после войны в живых и родители, и оба дедушки, обе бабушки. Такого везения евреи моего поколения не ведали не только в Риге, но повсеместно – в Польше, Чехословакии, Украине, России, Латвии, Литве, Белоруссии, во всех тех местах, где осуществлялось «окончательное решение еврейского вопроса». Разумеется, и в Израиле, куда негласно, а потом законным путем прибывали мои соплеменники. И вот сейчас, когда по всему городу расклеены плакаты о предолимпийском матче по боксу между сборными Иерусалима и Западного Берлина, они уже заранее обсуждали ход поединков и строили прогнозы на московскую Олимпиаду-80.

– Как ты считаешь, – спрашивал меня Марк Зайчик, спортивный комментатор радио «Голос Израиля», с кем я изредка, хотя он и тяж, боксировал в спарринге «на технику». – У нас есть шансы побить немцев?

– Ринг покажет, – уклончиво отвечал я.

– Но все же... Кто у нас есть в Иерусалиме сейчас? Ты... И?

– Я и открываю турнир. Работаю в первой паре.

– А остальные?

– Остальные из Тель-Авива.

– Немцы знают об этой хитрости?

– У них тоже в принципе сборная Западной Германии. Это для видимости говорится «Иерусалим – Берлин», чтобы сгладить национальный момент. На самом деле расклад такой: евреи против немцев. Причем в руках одинаковое оружие. Перчатки, Марк! И тут мы еще посмотрим, кто кому вмажет, когда они не с автоматами на нас, безоружных...

– В прежние времена весь клан братьев Люксембург составил бы вам компанию. Но все трое уже по возрасту не подходят, ушли в тренеры.

– Я тоже не мальчик. Мне 34.

– Ты в форме...

– Ясное дело, для меня это последний шанс.

– Предельный возраст для любителей, – напомнил спортивный комментатор.

– Но не для профессионалов, Марк! Прорвусь на Олимпиаду, а там посмотрим.

– Смотри сейчас...

Намек Марка я понял с полуоборота. Все бои с местными боксерами и приехавшими из-за границы за путевкой на Олимпиаду я заканчивал с «явным» уже в первом раунде, за минуту-полторы. Тренеров занимало: как я буду выглядеть на международном ринге, когда придется выкладываться все три раунда. Хватит ли дыхалки и выносливости? Не потеряют ли убойной резкости мои кулаки? Все же по их версии я – старик.

В отличие от них, стариком себя я на ринге не чувствовал. Во мне еще оставался десяток неистраченных боксерских лет. Глядишь, при благоприятном раскладе на московской Олимпиаде, еще и в профессионалы вырвусь. Появятся хоть какие призовые деньги. А то ведь не на что жить. Стипендия на курсах иврита – не зарплата. К тому же, впереди прибавление семейства, и хоть устраивайся на завод слесарем – по прежней специальности. Правда, и слесарем меня пока что никуда не брали.

– Оформим вас слесарем, – разъяснили мне в отделе кадров завода «Тельрад» на полузабытом русском, – а материально вознаграждать надо как инженера со стажем. В два раза больше придется платить, чем обычному слесарю. И ради чего? За ту же самую работу.

– Почему? – недоумевал я. – Слесарь и слесарь.

– А университетское образование?

– Не учитывайте!

– Так нельзя. Бухгалтерия не пропустит.

Вот я и оставался как перекасти поле: на производство рядовым рабочим не брали, в институт Вингейта на курсы учителей физкультуры не принимали.

Катись туда, катись сюда.

Рассчитывай только на бокс и выбивай победу за победой в своем «пенсионном» для спорта возрасте.

Авось оскал саблезубого тигра обернется улыбкой удачи.

Эта удача, держащая в боксерской перчатке призовой билет на Олимпиаду, смотрела на меня из синего угла ринга.

Крепыш-немец переминался с ноги на ногу, поглядывал на меня. Не знаю, что ему говорили о сопернике-переростке. Но представить

несложно. Установка секунданта перед боем звучала, приблизительно, так: «Он – старик! Сдохнет уже во втором раунде. Потаскай его по рингу и добивай! Левой – правой, еще раз правой, как ты умеешь, и он – твой».

Мне секундант ничего не говорил. Возрастная разница между мной и немцем – тринадцать лет. Он чемпион Западной Германии, победитель отборочного турнира в Гамбурге.

Молодость – за него.

Что за мной? Опыт? Нет, опыт при такой возрастной разнице не в счет.

А что в счет?

То, что я еврей, стою на земле Израйля и в моих руках такое же оружие, как у противника. Вот что!

– Боксеры на центр ринга!

Рефери вызывает нас, и весь зал иерусалимского «Дома молодежи» замирает в ожидании. Мы пожимаем друг другу руки. Я рта не раскрываю: чего говорить, когда слово за рингом? А немец – распогодился, что ли от нашего гостеприимства? – выбрасывает какую-то фразу. С угадываемыми сквозь «шпрыханье» словами «Иерусалим», «Израиль», «юден» – «евреи».

«Юден!»

Это был тот удар, который нанес немец сам себе, в поддыхало, не иначе. Если раньше против него был направлен разве что мой многолетний навык турнирного бойца, то сейчас всем своим существом я рвался показать ему, во что превратили бы во время войны его предков мои предки, будь у них под рукой равноценное оружие.

Мне трудно объяснить, что произошло со мной. Но эта гортанная речь, пусть и приветственная по своему существу, внезапно включила во мне какую-то подспудную энергию наших двужильных праотцев Маккавеев, разгромивших самую мощную армию древнего мира – греческую.

Без всяких подсказок секунданта я уже изначально предвидел, что будет происходить на сером квадрате ринга все три раунда подряд.

Гонг!

Мы сближаемся. По диагонали. Ему четыре шага до центра. Мне четыре шага. Но на четвертом шаге правую ногу я резко ставлю в сторону и, меняя стойку, наношу немцу первый, он и разящий наповал удар.

Нокдаун?

Нокдаун!

Но судья не ведет отсчет секунд, бой не останавливает. И я нанизываю атаку на атаку, тесню противника в его синий угол.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

Берлинец выглядел упрямым и настойчивым. Но этого мало. В скорости он уступал, да и в арсенале технических приемов я превосходил его.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

У немца пошла кровь из носа. Зеркала души принимают дымчатый отлив. Я «плаваю» в его зрачках. Несомненно, парень в грогги. Но стоит на ногах, держится. И рефери не спешит объявить нокдаун. Он – наш, израильский рефери. Видать по всему, в нем тоже колобродит не дающая мне покоя фраза: «Мы еще посмотрим кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие».

Гонг!

Минута отдыха. И опять секундант обходится без наставлений и советов. Обмахивает полотенцем и приговаривает:

– Хорошо! Хорошо! Бей! Ты – первый. За тобой вся команда.

Я смотрю на него. И мне вспоминается, как в Риге, когда снимали фильм о Штирлице «Семнадцать мгновений весны», поддатые статисты, облаченные в эсэсовскую форму, «пугнули» в Верманском парке двух сидящих на скамеечке старушек-евреек.

– Юден! – сказал тот, кто повыше.

– Пиф-пах! Шиссен! – нацелил палец тот, кто ниже ростом, с усиками квадратиком, явно под Гитлера.

Одна старушка чуть не умерла, увидев перед собой ожившего злодея из времен ее покалеченной юности, вторая набросилась на хулигана, расцарапала щеку, сорвала наклеенные усы. То-то было смеха среди празднующейся публики. Мне тогда было не до смеха. И «эсэсовец» с расцарапанной физией сполз на цветочную клумбу, держа в зубах «гонорар» за участие в массовке.

Сегодня без массовки и без отрепетированных заранее сцен.

Бокс, как жизнь, не знает репетиций.

Гонг!

Второй раунд!

И второй раунд, и третий я гонял немца по рингу, вынимая из него душу.

Удар за ударом. Джеб, кросс.

Удар за ударом. Апперкот, хук.

И с каждой минутой все отчетливее сознавал: нельзя заканчивать бой до срока. Тренеры сборной должны видеть, что я столь же вольно чувствую себя в третьем раунде, как и в первом.

Дыхалка у меня была и впрямь отменная. А уж о волевом импульсе и говорить нечего...

Финальный гул гонга.

Все! Кончено! Теперь от меня ничего не зависит!

Судья-информатор:

– Победа по очкам присуждается Ефиму Гаммеру. Счет один – ноль в пользу Израиля.

Рефери поднял мою руку в черной перчатке, я по традиции кинул голову на грудь и впервые увидел свою бойцовскую майку. Из крахмально-белой она превратилась в красную, вишнево-яркою от крови, немецкой крови...

«Мы еще посмотрим – кто кого, когда у нас в руках одинаковое оружие!» – рефреном прозвучала в уме, и я посмотрел в притихший от волнения зал.

2

На следующий день после встречи на ринге меня пригласили в гостиницу, где остановилась немецкая команда. И недавний противник вручил мне именную, им, чемпионом Западной Германии, подписанный вымпел.

В разговоре выяснилось: его отец был в советском плену, жил в лагере под Ригой, работал на строительстве, восстанавливал разрушенные дома.

Мне тут вспомнилось, как в раннем детстве, в начале пятидесятых годов, когда я жил в Риге, на улице Аудею, мимо нашего дома гнали

колонны пленных. Они разбирали завалы камней возле кинотеатра «Айна», там, где на месте прежней, разрушенной бомбой гостиницы была в 1956 году построена новая, названная «Рига».

Выходит, отец моего немца был среди тех пленных, у которых мы, приемные дети войны, выменивали за кусок хлеба заграничные марки, монеты, металлические пуговицы с их, мышинового цвета шинелей.

Я смотрел на своего противника, не знающего ни слова по-русски, смотрел на его тренера, а по совместительству и переводчика, сносно, хотя и с сильным акцентом говорящего на моем родном языке. Оказалось, и он был в плену. К тому же не где-нибудь, а в Риге, работал на восстановлении местной гостиницы. При упоминании об этом во мне мгновенно мелькнуло: а не у этого седого мужика с перебитым носом и водянистыми глазами я некогда выменял медальон?

«У него! У него!» – мелькнуло в мозгу. И во рту сразу пересохло, будто я снова окунулся в детство. Время тогда было особое – взрывоопасное, как полагали взрослые. Называлось на научном языке: «эпоха холодной войны».

Мы, дети победного 1945 года, не слишком хорошо разбирались в этой терминологии. Холодная война, горячая, главное – война. И враг определен – «янки дудл», на русском – американцы. Правда, они нам ничего плохого не сотворили. Но и Гитлер до внезапного нападения на Советский Союз в июне сорок первого тоже вроде бы никакой свиньи нам не подкладывал. Даже, наоборот, пакт о ненападении заключил со Сталиным.

Так что порох нужно держать сухим, а палец на спусковом крючке. Для нас это присловье было далеко не пустым звуком. И порох имелся, и спусковой крючок. Но это дикий секрет. Сегодня, за давностью лет, никого не посадят, поэтому докладываю, как на заседании Генерального штаба: 1 марта 1953 года мама послала меня с Ленькой, двоюродным братом, на чердак развешивать белье. Впервые без нее, самостоятельно. Вот мы и порыскали в свое удовольствие по запретной территории, что раньше, под родительским присмотром, не удавалось. И обнаружили в укромном местечке, за брусом, маленький револьвер 1917 года выпуска: без барабана, однозарядный, если говорить по-солдатски. А рядом с ним кожаный ремешок, как от наручных часов, с патронами в круглых ячейках.

Один выстрел произвели с ходу, для проверки готовности ствола на случай боевых действий. И убедились – порох сухой, а палец правильно лег на спусковой крючок.

После выстрела немного стухнули: «враг не дремлет», а вдруг кто подслушивает? Но нет, даже соседей не всполошили. И с трофеем спустились в квартиру, на первый этаж, чтобы зажить обычной жизнью: дом – школа, двор – кино, драка – наказание.

Оружие, понятно, ждало в кармане применения, искало – скажу красиво – цели своего существования. У него ясно какая цель – «стрелять, и никаких гвоздей». А у человека, желающего стать чемпионом мира по детству? Столь же ясная! Совершить подвиг, прославиться наподобие Робин Гуда. Яснец-леденец, не за счет пальбы по воронам.

Но где отыщешь живого бандюка, да еще вооруженного до зубов? На экране? В картине 1924 года «Банда батьки Кныша»? Но там они все уже дохлые!

А шпионов, если верить фильму «Застава в горах» с мировым актером Сергеем Гурзо, всех уже выловили.

Вредителей после смерти Сталина тоже больше не обнаруживалось. Скукота какая-то! Но недаром поется: «кто ищет – тот всегда найдет».

Впрочем, искать особенно и не приходилось. Мимо нашего дома по булыжной мостовой улицы Аудею ежедневно ранним утром вели под конвоем толпу пленных немцев. Куда? На работу. Восстанавливать то, что разрушили своими бомбами и снарядами. Гостиницу «Рига». До войны она называлась «Рим», была высшего разряда и располагала шикарным винным погребком, который, по слухам, тоже вздумали восстановить.

Немцев охраняли довольно плохо, позволяли нам, мелкоте ветрогонной, подкармливать их. Разумеется, не пирожками с повидлом – черным хлебом, вареной картошкой, кислыми огурцами. Подкармливать не так чтобы за так, а в обмен на сувениры и всякое разное, пригодное для наших бездонных карманов. У этих фрицев, прошедших всю Европу с грабительским интересом к чужому добру, легко было отовариться марками, значками, пуговицами с тиснением, монетами неведомого денежного достоинства. Допустим, вычеканена на кругляке цифра 1 или 2, а что это – франк, пфенниг, доллар? – хренушки разберешь. И в магазин не двинешь с подобными деньгами, сразу отведут в милицию.

Марки раскладывали по альбомам. Значки цепляли на лацканы пиджаков, пуговицы, чтобы фраернуться, пришивали к рубашкам. Мечтали заполучить губную гармошку. Но впустую, ибо жизнь давала понять: мечтать не вредно.

Но с того дня, как задумали провести во дворе чемпионат мира по детству, ждали не только даровой гармошки, но и тревожного часа X, когда пленники, по нашим предположениям, набросятся на охранников, завладеют их оружием и... да-да!.. мы двинем на спасение родной Риги от коричневой чумы – фашистов.

Как сказано, порох мы держали сухим, а палец на спусковом крючке. Но немчура не мучила спокойную рябь повседневности каким-либо недовольством, переходящим в бунт.

Пусть пленников охраняли плохо, они все равно не порывались смотать удочки в родную Германию. Конвоиры были уверены: никуда они не убегут, некуда им бежать – кругом, куда не посмотри, на тысячи километров земля наша. Упарятся бегать! Потому и стерегли их без окриков, без устрашающих выстрелов в воздух и тем самым не вызывали в заключенных нервного брожения, переходящего, как учили в школе, в неуправляемое волнение масс. У них без неуправляемого волнения, у нас, доморощенных Робин Гудов, без героической схватки с гитлеровцами.

Как сравниться с отцами в освоении суворовской науки побеждать? Что делать?

Думать, думать, думать, как учил Петьку на уроках стратегии Василий Чапаев.

А кто много думает, тот, наконец, и додумается.

Я додумался.

– Давай выкрадем фрица из колонны, а потом его вернем, как новенького, будто поймали в бегах и в плен взяли!

– Да он, мабуть, в плен сцапанный, когда тебя, Финичка, и в проекте не было, – встревожился мой приятель Эдик по кличке Сумасшедший, не любящий впустую бегать наперегонки.

– Взрослыми сцапанный! А взрослые нам не соперники в чемпионате мира по детству!

– Нам за такое дело дадут по шапке.
– Сначала медаль «За отвагу».
– А кто кормить будет, этот лишний для нашей кухни рот? Меня мамка из дома выгонит, если я стибрю чего-то похамкать для недобитой этой посторонней личности.

– Меня не выгонит, – раздумчиво сказал я, помня, что моя просьба – «Мама! Дай мне хлеба с маслом и сахаром!» – признавалась на правах законного требования.

– Ну, если ты согласен кормить лишний рот...

Неопределенное «ну» было воспринято, как знак согласия. И меня тут же отрядили на проведении операции. В сопровождении Эдика Сумасшедшего – самого честного, по его собственным словам, свидетеля.

Мигом я оказался на этаже своей квартиры.

– Мама! Дай хлеба с маслом и сахаром!

– Один кусочек?

– Четыре!

– Проголодался?

– Ленька тоже кушать хочет. И Борька...

Умело завернул многоэтажный сэндвич в газету, чтобы масло не проступало сквозь бумагу.

– Ты куда? – спросила мама.

– На задание! – и рванул в коридор.

– Но сначала покушай и далеко не убегай, сегодня день рождения у бабушки Сойбы, будет торт с лимонадом, – неслось мне вдогонку на крыльях материнской любви, пока я распахивал дверь на лестницу.

Во дворе кликнул Эдика Сумасшедшего и вперед-вперед к недостроенной гостинице «Рига». Швейцара там еще не наблюдалось. Опасаться было некого. Солдат-часовой смотрел на нас без всякого любопытства.

«Шастают тут, шастают, – рассуждал он, будто читая мои мысли. – Подкармливают паразитов. Нет чтобы угостить советского солдата, который кровь за них проливал».

По возрасту этот солдат кровь еще ни разу не проливал – ни за нас, ни за братьев наших меньших. Папа его – может быть. Папу и угостили бы. А он...

Что с человека возьмешь, когда и ему нечего взять с нас?

Отдали честь по-мальчишески и прошли в холл, а оттуда – это мы уже досконально изучили – направо и вниз, где закладывался бар, получивший от нас в конце шестидесятых прозвище «Подводная лодка». Сбоку от него возводилась кабинка с цифрами 00. Унитаз монтировал пожилой сантехник с утолщенным носом, морщинистым лбом, добродушным лицом. Был он в кепи и потертой шинели мышиного цвета. В прошлый раз я отоварился у него редкой маркой с изображением английской королевы.

Уткнувшись лбом в сидяк, старик подвинчивал болты у основания унитаза гаечным ключом. Повернул голову на скрип двери, снял головной убор и поманил им к себе:

– Киндер? Ком-ком...

– Бутерброд, – сказал я, полагая, что сносно перевел на язык Гете словосочетание «хлеб с маслом» и показал бумажный сверток.

– Гуд-гуд!

Немец поспешно потянулся за угощением и я, не успев отпрянуть, остался с пустыми руками.

– Гуд-гуд! – бормотал сантехник, разворачивая пакет

Эдик Сумасшедший толкнул меня в бок:

– Хватит уже ему «гудеть». Воткни ствол в ухо и бери в плен!

– А как мы его выведем отсюда? Незамеченными не выйдем, – вдруг проснулась во мне здравая мысль.

– Тогда пальни! Человек не может выбрать начало своей жизни, но конец чужой может, – заметил Эдик, как будто совсем не сумасшедший.

– А что скажут люди?

– Я первый скажу, что он сам застрелился. На моих глазах. И поклянись, чем они пожелают.

– А револьвер?

– Что револьвер?

– Получится, что мой пистоль принадлежит ему, если он из него застрелился. И, значит, мы лишимся на всю жизнь оружия.

– Ну, ты даешь, Финичка! – разозлился старый приятель. – И фашиста хочешь пришить, и пушку сохранить. Так не бывает. Или то, или другое. Или третье.

– А что – на третье?

– Не видишь?

Эдик Сумасшедший – не мне чета! – разглядел с ходу то, что только сейчас я увидел. Немец, игнорируя наши распри, стянул с ноги короткий сапог с широким голенищем. И – вот так диво! – отвинтил каблук. Хитро придумано: оказалось, он полый, а внутри, в специально вырезанном углублении, припрятан медальон. Был он желтого цвета, должно быть, изготовлен из латуни, с голубым камушком на верхней дверце, которая открывалась при нажатии кнопки и показывала спрятанную на дне миниатюрную фотку. На снимке – женщина в белом подвенечном платье и красивый молодой человек с шапкой вьющихся волос. Усики у жениха – узкие, щеголеватые, как у Раджа Капура в кинофильме «Бродяга», самом любимом у рижских зрителей 1954 года (билетов не достать, а очередь в кассу – хоть стой до завтра).

«Медальон подарю бабушке Сойбе, – осенило меня. – Восемьдесят четыре года – не шутка. Это же надо, как подвезло в день ее рождения!»

И мне расхотелось брать немца в плен. Гораздо сильнее захотелось позаимствовать ювелирное изделие.

– Гиб мир – дай мне, – сказал разом на двух созвучных языках – идиш и немецком, помня, что мама, укладывая детей в кровать, пела «гиб мир а бисиле мазл» – «дай мне немножко счастья». И добавил, культурной воспитанности ради: – Данке шон! Большое спасибо!

В итоге «бартерной сделки», как написали бы сегодня, я приобрел драгоценное украшение из неизвестного металла в обмен на бутерброд с маслом и сахаром. Свое приобретение я засунул поглубже в карман брюк, чтобы на выходе из гостиницы не отобрал охранник, и поспешил восвояться.

«Отличный подарок!» – тихо радовался в уме, позабыв на некоторое время о чемпионате мира по детству.

Бабушка Сойба сидела на табуретке в углу комнаты у тумбочки с радиоприемником, подкручивала ручку настройки громкости и согласно кивала в такт торжественно произносимых диктором слов.

– Фройка, послушай, что говорит умный человек в Москве, – повернулась к мужу, нарезающему острым ножом лучину для растопки плиты, чтобы готовить праздничный ужин. – Говорит: «урожай». И обратно говорит: «рекордный». В одном таки он прав – собрали. Но куда все это увезли? Что мы видим с этого урожая своими глазами, если они

не слепые? Только очереди. В магазинах очереди за сахаром, колбасы нет, и сыр пропал с прилавков.

– Ох, казачка! – отвечал дедушка Фройка. – За диктора речи нет, но хватит думать про тех, кто говорит по радио. Им пишут – они говорят. И зарплату получают. Два раза в месяц. Сначала аванс, потом получку. А мы слушаем, развесив уши, и получаем пенсию – всего один раз в месяц.

– Мы эту пенсию видим в полный рост только в кассе, после подписи о получении. А потом, как пойдешь на базар с кошелкой, от нее остаются только слезы.

– Но я все равно, Сойба, купил тебе за эти слезы подарок. Материю купил на платье. Будешь как новенькая, как когда ходили в кафе «Фанкони», на Екатерининской...

– Чтобы потом подышать свежим воздухом с Дюком на Приморском бульваре...

– И одеколон «Шипр» не забыл, тоже купил, чтобы ты пахла, как на свадьбе.

– Гинук! (Хватит! – идиш.) Я тебе не фаршированная рыба, чтобы пахнуть, как было у нас на свадьбе.

– Бабушка – не рыба! – подтвердил я, входя со своим неразлучным другом в комнату.

– К рыбе в гости я ни за что не пришел бы! – сказал, и опять мудро, Эдик Сумасшедший. – Утонуть можно.

Бабушка порылась в фартуке, вытащила металлическую коробку леденцов в сахарной пудре «Монпансье», которая была всегда при ней, и угостила Эдика, угостила меня. Не со своих пальцев, а так, чтобы каждый из нас взял по своему разумению, но без жадности и не пихал в рот, как суслик, за обе щеки.

– Мы тоже не с пустыми руками, – сказал Эдик. – Финичка вам сварганил подарок – глаз не оторвать. Будет в самый раз по цвету к дедушкиному платью, даже если он белый.

– Не белый! Нержавеющая половинка моя отнюдь не невеста, – пошутил потомственный жестянщик и протер прослезившиеся глаза, вспоминая давний день угасающего девятнадцатого века, когда за свадебным столом многочисленные гости кричали новобрачным «горько!».

– Не переживай, дедушка, за бабушку. Подумаешь, не невеста! Невесту я вам свою принес. Вот она – на фотке! – радостно доложил я, будто вернулся с оперативного задания с ворохом добытых военных тайн. И, нажав кнопку, раскрыл перед ним медальон. – Это для бабушки. На день рождения. Самый-самый женский подарок. Восемьдесят четыре года – не шутка.

– И тринадцать общих, слава богу, детей...

– Ого! – восхищенно цокнул языком Эдик Сумасшедший и толкнул меня локтем в бок: мол, знай наших!

Дедушка близоруко сощурился, всматриваясь. И слезы на его глазах стали как-то крупнее, еще крупнее и покатались по щекам.

– Сойба, смотри! – подозвал жену-старушку, почувствовавшую что-то неладное в его голосе. – Смотри! Смотри! Это же Сонечка...

– Какая Сонечка? – бабушка резко поднялась с табуретки, уронила коробку с конфетами, и полукруглые леденцы раскатились по полу, как заледеневшие слезинки.

– Сонечка Розенфельд, из твоей фамилии, что вышла за этого кузнеца-красавца Кравцова. Твоя племянница из местечка Ялтушкино.

– Но там всех убили, – еще не понимая до конца, что я принес весточку с того света, медленно прошептала бабушка..

Дедушка посмотрел на меня сквозь слезы.

Бабушка посмотрела на меня сквозь слезы.

– Откуда это у тебя?

Я не мог вразумительно ответить, меня тоже душили слезы.

Ответил Эдик Сумасшедший.

– От пленного фрица. Финичка – ему покушать, а тот ему – это...

– Убийца моих родных?

– Я не спрашивал, – Эдик Сумасшедший виновато посмотрел себе под ноги и, пятась, вышел за дверь.

Ближе к вечеру, когда в бабушкиной комнате накрывали на стол, немцев повели под конвоем обратной дорогой: от гостиницы «Рига» на улицу Аудею и дальше, дальше – к лагерю военнопленных.

Предоставленный сам себе, я сидел у раскрытого окна с взведенным револьвером 1917 года выпуска и высматривал в шаркающей по булыге колонне знакомую физиономию с утолщенным носом и морщинистым лбом. И не находил ее, будто она растворилось в сотне похожих, таких же невыразительных, но отнюдь не опасных на вид лиц.

И в этот момент кончилось мое детство.

Внезапно стало понятно, что, как и в боксе, я перешел в другую, более взрослую возрастную категорию.

Облокотившись на подоконник, я смотрел на бодро шагающих по улице моего детства гитлеровцев. Смотрел и думал о плачущей на кухне в день 84-летия бабушке Сойбе. Она родилась в 1870 году в семье раввина Розенфельда и жила в Ялтушкино под одной крышей с братьями и сестрами почти до конца XIX века, пока не вышла замуж и не переехала в Одессу. А ее племянники и племянницы, их дети и внуки никуда не переехали. Крышей их вечного дома стала сырая земля, не сохранившая для потомков ни имен, ни фамилий. Ничего не осталось, только память сердца.

Сырая земля, ни имен, ни фамилий, только память сердца...

Через несколько лет в книге Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» я прочитаю об ужасающих подробностях уничтожения фашистами местечка Ялтушкино, гибели его жителей, а среди них и родственников бабушки Сойбы. А ее родственники... это и мои близкие...

Илья Эренбург:

«Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

“...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они сэкономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...”»

Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И. П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси».

Лауреат всероссийских премий имени А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева (2014), Н.С. Лескова (2019), Д.Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017).

Живет в Москве.

УСТРОИТЕЛЬНИЦА

– Мам, а как мы поедем? – расположившись напротив Марии Викторовны, спросила Кристина.

– Ты все вещи собрала? – ответив вопросом на вопрос, заулыбалась Мария Викторовна.

– Мама, заканчивай всё держать под особым контролем. Пора запомнить, что твоя дочь вся в тебя, и если она собирается в дальнюю дорогу, то учитывает всё и всегда способом долгого предварительного обдумывания, – парировала Кристина.

– Исходя из текущих оценок в электронном журнале, наше родство у меня вызывает сомнение, – мама продолжила шутить над дочкой. Эта семейная идиллия длилась уже много лет. Они были одни на целом свете, по крайней мере им казалось именно так, когда они оставались вдвоём.

– Так как мы поедем? – не переставала интересоваться Кристина.

– Сейчас создан новый маршрут РЖД, так называемое комплексное путешествие. Покупаем билеты на поезд из Москвы с остановками в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и последней в Сортавале, а там пересаживаемся на стыковочный «Метеор» до острова Валаам. Так называемый интермодельный маршрут, с использованием как железнодорожного вида транспорта, так и речного скоростного судна. Вот так! Да здравствует логистика! – воскликнула Мария Викторовна.

– Круто! – закинув руки вверх, подпрыгнула на месте Кристина.

Дорога до архипелага была быстрой и неутомительной. Кристина пребывала в восторге от увиденного поезда, идущего в Крым из Санкт-Петербурга.

– Чей Крым? – игриво спросила Кристина.

– Наш!!! Был, есть и будет во веки вечные! – серьёзно, но улыбаясь, произнесла Мария Викторовна.

Но ещё большее впечатление на Кристину произвёл серебряный «Метеор» с логотипом РЖД.

– Мам, ты только посмотри! У них даже скоростные речные пассажирские теплоходы на подводных крыльях есть, ничего себе контора, я про РЖД, – удивлялась Кристина.

– Откуда такие познания, Крис? – Мария Викторовна была серьёзна.

– Мам, двадцать первый век! Всё есть в интернете, ты же сама как узнала о новом проекте? Само собой, в сети! Так и я о «Метеорах» и о том, что отличные мореходные качества позволяют им выходить в каботажное плавание в прибрежные районы моря, например, Варяжского моря, как ранее называли Ладожское озеро.

– Ммм... – протянула Мария Викторовна, – А то я стала уже подумывать, что у тебя появился в ухажёрах какой-нибудь речник.

– Нет, мам, у меня только ты и теперь Валаам, – срифмовала свой ответ Кристина.

На Валааме путешественницы остановились в комфортабельном доме паломника и дня подряд они изучали остров.

– Как тебе здесь, Крис? – поинтересовалась перед сном Мария Викторовна.

– Потрясающе, мамуль! Я помню название каждого скита, все двенадцать святынь у меня остались в памяти, – похвасталась Кристина.

– Докажи! – раззадорила дочку Мария Викторовна.

– Ну, считай! Никольский, Всесвятский, Предтеченский, Сергиевский, Ильинский, Святоостровский, Смоленский, Гефсиманский, Воскресенский, Коневский, Владимирский и Авраамиевский. Всё точно? – уточнила Кристина.

– О чём ты вдруг задумалась? – спросила Мария Викторовна, внимательно посмотрев на дочку.

– О том, что в красивых местах время тянется и незаметно уходит в прошлое. О том, что сосновые леса светлые и просторные, что они пропитаны запахом смолы и хвои, а вот ельники густые и тёмные, а ещё и влажные, о том, что в подлесках растут жимолость, и можжевельник, калина и ива, а ещё о том, что мать-мачеха золотистая, а хохлатка розовая, и ещё я немного злуюсь, что ты не дала мне сорвать ни единой кувшинки и лилии, а анютины глазки и фиалки разрешила, – немного расстроено посетовала Кристина.

В последний день Мария и Кристина Вороновы прощались с островом, а в ночь перед отъездом Мария Викторовна спросила:

– Крис, ты отдохнула?

– Да, мамуль, я не просто отдохнула, я насладилась и запомню эти валаамские три дня на всю жизнь. Спасибо тебе за всё, – она обняла и поцеловала мать.

– Я рада, я очень рада, – протянула Мария Викторовна и добавила:

– Господи, я так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы ничего с тобой не случилось плохого, чтобы все беды обошли тебя стороной и ты вспоминала только счастливые моменты жизни.

– Мамуль, я и так счастлива. У меня есть ты, и ты жива, ты здорова, тебе скоро тридцать шесть лет, а я читала, что это третий круг жизни. Ты будешь счастлива, и я буду счастлива, ты у меня на двадцать восемь лет выглядишь, тебе никто больше не даёт, ты у меня ещё замуж выйдешь, а я на твоей свадьбе буду гулять, – и Кристина ещё раз поцеловала маму.

– А я на твоей, – рассмеявшись, поцеловала в ответ дочь Мария Викторовна.

– Только знаешь, мамуль, я всё помню и никогда ничего не забуду. Помню, как стояла и смотрела в Рубежном на бродячих собак, которые грызли трупы нациков, как кобели и суки вылизывали мозги из оторванных голов. Так странно, я думала, что у этих нехристей вообще нет мозгов, ни единой извилины, а вот собаки отыскивали. Даже порой злилась на наших, которые две недели с восходом солнца приезжали, прогоняли собак и аккуратно грузили до темноты погибших всушников и нацбатовцев. Они этого недостойны. Их надо было обратить в пепел, и развеять по ветру на все четыре стороны света, и никогда не вспоминать о них, – Кристина положила голову матери на колени, её взгляд был обращён в никуда, словно её здесь не было.

– Не надо, моя сладкая, не думай об этом, всё позади, – запричитала Мария Викторовна.

– Нет, мам, всё только начинается. Это не мы к ним пришли, это они к нам, да ещё с документами на наши дома и квартиры, на всё, что наше, наших предков. Может, молодость и жестока, но она ещё бывает и справедлива. Они ещё не ответили за погибших школьников, которые возродили «Молодую гвардию» и дали им бой в лесу под Лисичанском, там были и те, которых я знала, сколько им тогда было – четырнадцать, пятнадцать, самым старшим семнадцать, только они насмерть стояли. Мало кто уцелел, а эти черти что сделали, когда поняли, что с ними подростки воевали так храбро, лес оцепили и от своего стыда их тела уничтожали. Труссы! – Кристина тихо плакала.

– Успокойся... не вспоминай, побереги себя, девочка моя, я тебя очень прошу, – Мария Викторовна старалась остановить поток воспоминаний, но это уже было невозможно...

– Ты помнишь, как возила меня в Ровеньки? В музей «Молодой гвардии»? – спросила Кристина.

– Конечно... – прошептала Мария Викторовна.

– Там в камере смертников я прочитала и запомнила наизусть слова Любы Шевцовой: «Мама, я тебя сейчас вспомнила. Прощу простить, взяла навеки. Твоя Любаша». Понимаешь, мама, история повторилась. В подвалах гестапо в 1943 году мучили Любу Шевцову, надругались, выжгли у неё на теле несколько звёзд, а потом с посевшим во время пыток и допросов Олегом Кошевым расстреляли в Гремучем лесу, я только сейчас понял, что история повторилась спустя десятилетия, те же звери в людском облики, та же человеческоненавистная идеология, только другое время, но и тогда и сейчас погибали мои земляки, ты знаешь, отец Александр сказал мне, когда мы остались с ним в храме, что это не люди, и добавил, что из уст священника может показаться странным, но это бесы, которых надо уничтожать. Здесь на Валааме я поняла, что бесы верят в существование Бога, поэтому ненавидят его от собственной грязи, от неминуемой кары, и всю свою мерзость они направляют на верующих людей, на людей, сильных духом и чистых душой, их уничтожение и

уничтожение есть главная цель, понимаешь меня, мама? – Кристина смотрела неотрывно в глаза матери.

– Понимаю, моя милая, всё я понимаю, и, может быть, лучше тебя, а ещё вспоминаю экскурсовода музея Татьяну Степановну. Ты представляешь сколько лет она работает в бывших застенках гестапо? Это не работа! Это служение! Дай бог ей сил на многие годы, – не отводя глаз, ответила Мария Викторовна.

В комнате на минуту воцарилась тишина.

– Знаешь мама, я когда на Валаамскую Богородицу смотрела, то нашу Луганскую вспоминала, сияющие капельки на её образе и думала о том, что так плачет мать за своих детей, за их горькую долю, а слёзы Начальницы Тишины даром не проходят, они предвестники гнева Господнего. Мама, а как нам всем забыть, что в разрушенном Северодонцеке, где дьяволята не просто по храму лупили, а из крупнокалиберного пулемёта икону Богородицы расстреливали да корреспондентов со всего мира привозили, чтобы на русских всю вину свалить. Как забыть, что стреляли эти отморозки по интернату в Новоайдаре, когда там детей было полно, как в Лутугино у собора Трёх Святителей шли бои, а в подвале прятались и молились женщины, старики и дети, так же в Северодонцеке было, можно продолжать до бесконечности. А что весь мир? Кроме России, все остальные превратились в слепых зрителей. Классная позиция, когда каждый рассуждает о мировых проблемах, о борьбе добра и зла, исходя из зоны собственного комфорта. Это и есть высшая стадия человеческой гордыни. Мой комфорт превыше всего!

– Ты уже почти взрослая и должна понимать, что люди все разные, у каждого есть особые качественные подходы к жизни, свои мировоззренческие установки, понимаешь, о чём я? – спросила дочь Мария Викторовна.

– Конечно, понимаю! – вскрикнула Кристина и добавила:

– У нашей географички сын на Донбассе воюет, а у завхоза бегают от призыва, кому война, а кому и мать родна – так ведь говорят. Один долг исполняет, а другой на родительские бабки прячется, один жизнью рискует, а его ровесник жир нагоняет, что непонятного.

– Давай спать, воительница, – предложила Мария Викторовна расшумевшейся дочери.

– Я мама, не воительница, а будущая устроительница, – уверенно ответила Кристина.

– И что ты собираешься устраивать? – удивлённо поинтересовалась настороженная мама.

– Жизнь, мама, нашу жизнь. Я буду поступать в Дельвиговское железнодорожное училище, так ранее именовали Московский колледж транспорта, который сейчас является структурным подразделением Российского университета транспорта, вот так, мамуля, – Кристина своими планами не переставала удивлять маму.

– Прости, а с чего ты это вдруг решила? – всё ещё пребывая в удивлении, спросила Мария Викторовна.

– Ты знаешь, у них всё в порядке с логистикой! – рассмеявшись, ответила Кристина и добавила: – Я уже смотрела на сайте колледжа два отделения, которые меня интересуют, это «Операционная деятельность в логистике» и «Организация перевозок и управление на транспорте».

– На чём это всё основано, Крис? – разведя руками, крикнула Мария Викторовна.

– Мы делаем выбор сердцем, мамуля! Я отучусь в колледже, поступлю в университет, выйду замуж, – порыв Кристины был прерван Марией Викторовной:

– Ого-го-го!

– Мама! Я не просто матерью хочу стать, а многодетной! – она говорила твердо и громко, и уже ничто не могло остановить её.

– Да, да! Именно многодетной! Для чего все они завалили школьные и городские библиотеки республики детскими книгами об однополой любви, воинственными книгами, в конце которых читатель должен убить любого, кто не согласен с его избранностью? Мать или отца, брата или друга! Я знаю ответ! Они хотят, чтобы мы не рождались, недавно Путин сказал точнее – чтобы мы вырождались, но только Бог не в силе, а в правде. Поэтому в наших школах теперь рядом с портретами героев Великой Отечественной войны соседствуют портреты героев Специальной военной операции. Пройдёт немного времени, и я сделаю карьеру и буду восстанавливать железнодорожное сообщение по всей ЛНР, и понесутся по родной земле поезда имени героев Третьей мировой войны, а я буду автором этого проекта. На днях я прочитала в интернете одно стихотворение, в котором говорится, что мальчишки будут играть в Арсена Павлова, Михаила Толстых, Александра Захарченко и всех героев Донбасса, это будут мои дети, а это значит – твои внуки...

Поэзия

Николай РАЧКОВ

Родился в 1941 году в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. Окончил историко-филологический факультет Горьковского педагогического института. Работал учителем, журналистом в Арзамасе.

Творческий путь начинал в Горьковском отделении Союза писателей СССР. Поэт, автор более 30 сборников стихотворений. Лауреат всероссийских и международных литературных премий, в том числе Большой литературной премии «Алроса», всероссийской православной премии им. святого А. Невского, святого непобедимого воина Ф. Ушакова, лауреат Гран-при Всемирного славянского форума «Золотой Витязь», лауреат литературной премии «Болдинская осень».

Член Высшего творческого совета Союза писателей России, академик Петровской академии наук и искусств. Награжден медалью А.С. Пушкина (2009), удостоен благодарности Президента Российской Федерации (2019).

Живет в городе Тосно, Ленинградская область.

И ГНЕВ НА СЕРДЦЕ, И ГРУСТЬ...

* * *

Русь, куда же мчишься ты?

Н. Гоголь

В сказочных героях
мы души не чаяли.
К лучшему стремились
в думах о былом.
Мы друг друга в горе
часто выручали,
Песни задушевные
пели за столом.

Это чувство братское
от отцов, от дедов ли,
Вышедших из страшных
огненных боёв.
Как же не ценили,
как тихонько предали,
Как мы пробазарили
кровное, своё.

Ходит чужеродие
градами и весями,
Ищет в наших душах
свой себе приют.
Позабыли пляски,
позабыли песни мы,
Слушаем и смотрим,
что нам подают.

Наобум шагая
сквозь года суровые,
Пусть мы поскользнулись
на родном крыльце.
Но цветут как прежде
очи васильковые
У мальчишки русого
на его лице.

Ну а на кого ж ещё
можно и надеяться?
Мчатся кони буйные
грешный мир дивить.
Всё, что с нами случилось
в муках перемелется.
Тройку нашу русскую
не остановить...

* * *

Мы всё же беспечно жили,
Нас базами обложили,
И гнев на сердце и грусть.
Мы Киев нацистам сдали,
А это ведь наши дали –
Родная, Святая Русь.

Нас предали те, кто ближе,
Не кто-нибудь, а свои же,
В который уж раз вот так:
Всё побоку – дружба, братство,
Семейственность и солдатство
За горсть европейских благ.

Мы вместе строили, пели,
Мы долго кураж терпели,
Но, видно, всё до поры.
Шагает, мир разрывая,
Не третья ли мировая?
Иные гремят пиры...

Мы помнить должны: за нами
Великой Победы знамя

И свет космических трасс.
Душа болеть не устанет.
И что с нами дальше станет
От нас зависит, от нас.

* * *

И Польша, и Литва привстали в стремена.
Им кажется, что вновь слаба моя страна.
Им кажется, настал, настал их час заветный,
Чтоб нанести всерьёз Москве удар ответный.
Им помнятся пиры в святом Кремле великом,
Как разоряли Русь в своём тщеславье диком.
Да, оступились мы.
Не раз уже так было.
Да, предавали нас.
Да, заходили с тыла.
Но знают небеса: мы – в основанье мира.
Победной славы Русь ещё не уронила.
Ни перед кем в дугу она не гнула спину,
Об этом ли не знать Парижу и Берлину.
О Польша...
Жаждешь быть ты лаврами увитой?
Не стать тебе, не стать вновь Речью Посполитой,
Куражиться гульбой и дружбою неверной,
И попирать славян пятой высокомерной.
Достаточно Москве и мудрости, и жеста,
Чтоб указать тебе своё на карте место.
Лелей, храни в душе давнишней славы крохи
И память не теряй.
С Россией шутки плохи.

Борис Корнилов

Над ним деревья зеленели,
Цвела стоячая вода...
Но строчки саблями звенели
И прорубались сквозь года.

Сквозь наговоры, сплетни, даты,
Сквозь забытьё и тьму преград
Стихи пришли к нам
как солдаты
Из окруженья – без наград.

Они явились молодыми
С горячей кровью в венах строк.
И время – в порохе и дыме –
Шагнуло с ними на порог.

И сам поэт – широкоплечий,
Там, где ликуют соловьи,

К нам вышел с песнею навстречу
Труду, тревоге
и любви.

Взлетает песня выше тучи
И мчится птицей озорной
По-над Семёновской,
певучей,
Нижегородской стороной.

И песня та в огне рассвета
Летит размашисто, легко.
Она – признание поэта
И продолжение его...

* * *

Весна! Ещё и нет грозы,
Ещё и речка не взбурлила, –
Приникни к веточке лозы:
Какая в ней таится сила!
Весна в зелёном вихре дней
Полна такого цвета, света.
Она со всем, что зреет в ней,
Беспечно переходит в лето...

А осень ясная мудра.
Дни сочтены – ей всё известно.
Как пламя быстрого костра,
Она печальна и прелестна.
И стоя у глухих ворот,
Под тихий шелест листопада
Всё, всё до нитки раздаёт.
Ей ничего уже не надо...

Незримая лестница

Эта лестница есть.
Не пойму только сам
Почему, почему это мне
По незримым ступеням её к небесам
Довелось подниматься... во сне?

И какая такая всеильная власть
Подтолкнула загадочно ввысь?
Поднимался легко, но боялся упасть,
Но твердил сам себе я: держись!

Голова закружилась.
Но я устоял.
Ах, как манят светильники звёзд!

Вот тихонько спускаться по лестнице стал.
Вот знакомая речка. Вот мост.

Вот стою на земле я в ночной тишине...
Помню, помню отчётливо я
Те ступени незримые.
Пусть и во сне –
Это тоже ведь грань бытия.

Здравица

За нашу Победу, за нашу –
В кровавых подтёках от ран –
Поднимем заздравную чашу,
А лучше – привычный стакан.
За слёзы, за смертные муки
Всех наших,
за нашу страну,
За наши сердца и за руки
Сломившие эту войну.
За нашу и веру, и славу,
За память, за русскую речь,
За всё, что сегодня по праву
Нам выпало счастье беречь.
За нашу дороженьку в поле,
За свет из родного окна,
За горькую русскую долю –
До дна, дорогие,
до дна!

Геннадий ИВАНОВ

Родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Канда拉克шу на Кольский полуостров – там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Федора Тютчева «Русский путь», премии имени Валентина Распутина. Первый секретарь Союза писателей России.

Живёт в Москве.

ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ И РОДИНЕ, И ЧЕСТИ

Небо Новороссии прекрасно!

Небо Новороссии прекрасно
И поля прекрасны, и леса...
За своё мы бьёмся, это ясно.
Долго нам туманили глаза.

Этот край – Россия, наши люди
Здесь живут, по-русски говорят...
Поднесли врагу его на блюде.
Наши люди гибнут и горят.

За своё мы бьёмся в этой схватке.
Мы Европе говорим «Не лезь!»
И твои, Америка, порядки
Никогда не приживутся здесь!

Небо Новороссии прекрасно!
И леса прекрасны, и поля!
Это всё Россия, это ясно.
Это наша русская земля!

* * *

Вот они, разбитые мосты,
Обгорелые многоэтажки,

И по всей дороге блокпосты...
Здесь война – и по спине мурашки.
Здесь надежды рушатся и здесь
Подвиги великие вершатся.
Тут с фашистов мы сбиваем спесь.
И самим приходится держаться
Из последних сил порой... Война.
В бой идут надёжные ребята,
И на них надеется страна.
Нам в победу надо верить свято!

Молодой

Я запомню тебя, Кременная.
Я обычный боец, не кремень,
И запомню, не проклиная,
Каждый здесь проведённый день.

Бой за боем, отход и снова
Бой за боем, за боем бой...
Кременная – какое слово!
Породнюсь навсегда с тобой!

И когда-нибудь после битвы
Я сюда доберусь опять.
Здесь надежды мои, молитвы,
Здесь я что-то стал понимать.

* * *

Сверкает солнце на воде весенней,
И южный ветер гонит речку вспять.
Не знаю, будет ли душе спасенье,
Но праздник ей – и снова, и опять.

Весна, весна... Как хорошо на свете,
Что есть весна, что можно её ждать,
Что по весне мы снова словно дети –
И хочется кораблики пускать.

Застыла тучка, словно на этюде.
Вокруг неё жемчужные лучи!
Но в это время погибают люди...
И взрывы, и пожарища в ночи...

Опять сегодня по Донецку били.
И каждый день я слышу в новостях –
Опять прилёты и опять убили,
В автобусе сгорели все на днях.

Да как же так... Нет никому ответа.
Один ответ от наших должен быть –
Разбить врага, свести его со света!
И русский мир в Донбассе утвердить!

Вопрос взводного

Да, людей мы беречь пытаемся,
Не ведём безрассудных атак.
Да, мы медленно продвигаемся,
Потому что не слабый враг.

Накачали его, напичкали.
Оплели благодушьем нас –
И мы стали такими птичками...
Дайте нам суровый приказ!

А то всё как-то полумерами.
И расплывчат всегда ответ...
Не играйте нашими нервами.
Киев будем брать или нет?

Замполит

Ураганный огонь артиллерии –
он как будто кричал «Ура!» –
и летел на врага,
в пух и перья
разбивая его вчера.

Там плацдарм заняла пехота...
«Продвигаемся день за днём.
Промокаем насквозь от пота,
Но к победе идём, идём...

Понимаем, за что воюем.
Если вдруг оборвут поход,
Крах тогда будет неминуем –
И страна, и мир пропадёт».

Мобилизованный

Мы пришли сюда,
не откосили.
Жди с победой меня, семья.
Я здесь понял, что я России
очень нужен, что русский я.

Как-то там, на гражданке вольной,
было многое всё равно.
Был я заработком довольный,
остальное –
пошло оно...

Что Россия, что Эмираты,
что какой-нибудь Бангладеш...

Мне хватало на всё зарплаты,
и в кармане всегда был *кэш* .

Здесь в душе вдруг проснулось что-то,
и наполнилась вдруг она,..
Мне такой родной стала рота –
и победа нам суждена!

Много слов говорить не буду,
но хочу только я сказать:
эти месяцы не забуду,
буду их потом вспоминать!

Я здесь понял, что я России
очень нужен, что русский я.
Мы пришли сюда,
не откосили.
Жди с победой меня, семья.

У блиндажа есть тоже позывной

У блиндажа есть тоже позывной.
Весёлый позывной такой – «Бунгало».
Уже в лесу повеяло весной,
И как-то на душе печально стало.

Весна, весна... Весна не для войны.
А для любви и к женщине, и к миру.
Весной такие будоражат сны...
Летишь к жене в далёкую квартиру.

Проснёшься вдруг – в холодном блиндаже...
Из-под земли поднимешься на волю.
Ещё остаток сна в твоей душе.
Его, конечно, удаляешь с болью.

Сегодня в бой, и ты пронизан весь
Уже настроем этим – к бою, к мести...
Ты на войне. Теперь ты нужен здесь.
Ты нужен здесь и Родине, и чести.

Вспомнился случай...

С поморского острова нас забирал пароход.
На рейде он встал, и к нему мы поплыли на лодке.
Мы плыли зигзагами, медленно плыли вперёд –
Всё время штормило, и путь не давался короткий.

Но главная трудность была впереди. «Разобьёт
О борт парохода нас!» – крикнул мой спутник тревожно.
Но мы подплывали, и рядом стоял пароход,
И сверху кричали: «Смотрите волну! Осторожно!»

Волна подняла нас и бросить хотела на борт,
Ещё бы немного и лодку, наверно, разбило...
Но наш провожатый веслом заработал вперёд,
И где-то под нами густая волна проскользила.

А нас отнесло. Мы опять подходили, опять
Бросало на борт нас, и хрустнула лодка однажды,
И к трапу так долго никак не могли мы пристать.
Мы вымокли все. «Не вернуться ль?» – подумывал каждый.

Когда поднялись мы, за поручни крепко держась,
Ступили на палубу, тяжесть в ногах ощущая,
Отрадно нам было глядеть, как волна пронеслась
Внизу – не бросая на борт нас и даже совсем не качая.

Нам было спокойно – и шёл пароход так легко,
Как будто он по небу, по небу плыл, не по морю.
А лодочник наш оставался уже далеко,
И лодку качало, топило и било в солёном просторе...

Теперь я подумал, что тот пароход – это Русь,
Что тот пароход – это наша держава Россия,
А лодочки – это Украина и Беларусь.
На палубе нашей их так бы не колбасило...

Анастасия РОСТОВА

Родилась в 1986 году в деревне Пестенькино Владимирской области. Окончила Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Работала журналистом, переводчиком, копирайтером, организатором конференций, в настоящее время – специалист по маркетингу. Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Берега», в газетах «Литроссия», «Голос писателя», альманахах «Земляки», «Серебряная даль» (Ярославль) и множестве других изданий.

Автор поэтического сборника «Лезвия Розы», исторической феерии «Маки Прованса» и фантастического романа-голограммы «Лепестки». Лауреат премии литературно-художественного журнала «Нижний Новгород» в номинации «Поэзия» (2018). Финалист международного поэтического конкурса «Собака Керуака» (2018).

Живет в Нижнем Новгороде.

И НАД ОБРЫВОМ ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ...

Пустыня

Вопиют твои раны, и дух поднебесной злобы
Говорит, что пустыня безмолвна – есть ты и он,
Что тебе равных нет, ты – звезда, и твой путь – особый,
Но ты чуешь спиною таящийся легион.

Остановишь процессию с жертвой тебе кровавой,
Оттолкнёшь драгоценные чаши и скальп врага,
Не притронешься к скипетру, сбросишь с руки державу –
На песке ясно видно: податель сего рогат.

Поднимается пламень, спускается бледный иней,
Остужают и греют нетленные образа...
Океан сострадания смыкается над пустыней...
Ты выходишь из смерти сухим. На щеке – слеза.

Ноосфера

Это трагически страшно, друг мой,
Это печально и больно, брат мой,
Что для кого-то мы – масса брутто,
Что для кого-то мы – поле жатвы.

Хочется плакать и обессилеть,
Просто сорвать бы стоп-кран и выйти,

Всю трын-траву мы давно скосили,
Сиясь хоть как-то забыться в быте.

Как поступить, если мир – застенок:
Сломанный в детстве – других ломает?
Копится ненависть. Вздулись вены.
«Правда» – на обе ноги хромая.

Друг мой, не то же – в эпохах прежних?
Злых, людоедских, безумных, тёмных...
Так же внутри закалялись стержни
Об ненасытных и неуёмных...

С каждой грядущей людской волною,
Хоть ненамного, но всё же легче,
Пропасть заполнят – прижмись спиной
И уповай на Того, кто лечит.

Брат по трепещущей ноосфере,
Что составляется всеми нами,
То, что нам кажется гробом, – двери:
Поле беременно семенами.

Silentium

Мы плетём тюль стихов, чтобы было смотреть не больно...
Слово к слову верстаем, смех – к смеху, а грех – к греху.
Удивлённые пешки бредут по игре настольной –
Под конец часть из них догадается, кто есть who.

К счастью, мы с тобой, друг, изначально об этом знали:
Мы из тех, кто, родившись, запомнил и не заснул –
Нам шепнули заранее, что всех нас ждёт в финале,
Мы – часть речи людской, указатели на весну.

Не печалься, волшебник – выдерживай рёв эфира,
Не пугайся прожектора, громкость себе усиль...
Отыграй, где нужнее, мелодию белой лиры,
Где не нужно – молчи, обеспечивай полный штиль.

2x

«Тарань – не тронь» – извечный парадокс,
«Останься» и «оставь меня в покое»,
«Мне всё равно» и «ты мой личный кокс» –
Где есть одно, там будет и второе.

Я вас люблю – и всё же ухожу,
Дрожу от страха и встаю – для речи,
Себя свяжу я и освобожу –
Настал мой час принять и чёт, и нечет.

Опять развилка – камень, два пути...
Раскинуть руки, обнимая каждый.
Молчанье? Одиночество в Сети?
Но дай мне Слово, чтоб родиться дважды!

Анне Звёздиной

Бросовый камушек, не самородок – шлак,
Глина, пустая порода – зовут нас так,
Серая мышь по асфальту к помойке – шмыг,
Выжить бы только – у вечности выгрызть миг...

Что б ни сказали, часть звёздного вещества
В нас сохранилась, блестит и всегда жива,
Лабораторная крыса наш мир спасёт,
Ты – проводник, навигатор, и можешь всё!

Смейся, иди, не давай им настройки сбить,
Мы здесь затем, чтоб не вырвали мыслей нить,
Чтоб вопрошали из горького забвения:
«Кто разрешил, кто придумал, кто сделал?» Я!

Блаженство

«Посмотри, посмотри, наконец-то мы победили:
Будет каждый у моря сидеть на роскошной вилле,
Автоматы всё сделают – быстро и хорошо.

Наконец-то заглянем, как надо, в глаза любимым,
Вспомним запах весны и костра с ошалелым дымом,
И обнимем знакомого – счастье, что он пришёл!»

«По плодам лишь узнаете, что из того пустое,
Вы не ведали искуса праздности и простоя,
Что и кто остаётся, когда нет нужды желать?»

Миллионам – иллюзии, власть, как всегда, у сотни...
Но не бойся, дитя, каждый день для тебя – субботний,
Оставайся блаженным – затем, чтоб Земля жила!»

Герой

Мы ударим по клавишам звёздного корабля...
(Юра видел и чувствовал вербу Его ресниц!)
Наши нити основы не трогают ржа и тля,
Бесконечное Слово не выжечь ни с чьих страниц.

Продвигайся сквозь морок: философ есть паролод.
Собирается кластер, фаланга – и будет Свет:
На губах напечатан живительный антидот,
Просыпается тайна в непознанном естестве.

Откровения в венах – подкачанный инсулин,
Запевай свою песню – сезамы к ногам падут.
Исполни, всё исполнится – что бы ты ни сулил:
Волк беззубый застынет с ягнёнком в одном ряду.

Ничего, кроме радости, в космосе этом нет –
Если тихо в эфире, ты фильтры свои настрой...
Будет день, и Он скажет: все люди моя, ко Мне –
Кто хотя б шевельнётся, тот будет уже герой!

Перед стартом

Когда разбиты идола обид,
Улыбка всходит месяцем неспешным.
Кто сам не жаждет крови – не убит,
И если ад вокруг, то он – утешен.

Не ждать расплат, не взыскивать долгов,
Забуть про воздаянье по усильям...
Приходит помощь с дальних берегов,
И над обрывом вырастают крылья...

Простив других, прощаешь и себе
Свой крик младенца в рушащемся рае...
Тогда и начинается разбег –
Полёт возможен. Трапы убирают.

Проза

Алексей ПЕНДРАКОВСКИЙ

Родился в 1992 году в Москве в семье кинематографистов. Окончил исторический факультет Московского педагогического университета по специализации «Основы русской православной культуры». Работал экскурсоводом, руководителем краеведческого кружка.

Пишет рассказы, повести. Лауреат конкурса «Северная звезда» (2014) в номинации «Проза». Публиковался в журнале «Север». По повести «Делать нечего» снят одноименный короткометражный фильм (2023).

Живёт в Москве.

ПОЕХАВШИЙ

1

Такси пробиралось сквозь метель. Авто вокруг боролись за пространство, словно позади них наступали танки; в потоке красных огней шустрила васильковая мигалка скорой помощи. Проносились окна близлежащих зданий, рекламные щиты, указатели, фонарные столбы.

Задумавшись о жизни, Роман Отингеев чуть не угодил в аварию: ещё немного, и «поцеловался» бы с длиннющей фурой из соседнего ряда. Он осторожно, искоса взглянул на клиента, сидевшего рядом на переднем сиденье: тот с укором покачал головой и едва заметно шевельнул губами.

– Всё нормально! – буркнул Отингеев, как бы успокаивая его и себя. – Нормально всё!

– Не сомневаюсь, – с кривой ухмылкой отозвался мужчина в костюме. – Вы, главное, поосторожней... Мне сейчас в аварию попадать нельзя.

– Да у меня ни одной аварии не было! – воскликнул Роман. – Хотя козлов на дорогах... А у меня ни одной царапины... Тьфу, тьфу, тьфу! В этот момент он втопил педаль газа и лихо рванул наперерез замешкавшейся Audi.

Весь день Отингеева одолевало желание уснуть – припарковаться где-нибудь да откинуться на заднем сиденье. Чтобы бороться с этим, он вспоминал расстановку московского ЦСКА. Прикидывал, что поменял бы, окажись на посту главного тренера. В движении машин углядывал некие параллели с тем, как взаимодействуют на футбольном поле игроки.

– Сука одна на меня пожаловалась, – вдруг поделился Отингеев с пассажиром. – Ехали мы с ней по Рязанке, а там... На BMW дебил какой-то в меня чуть не врезался. Так, представляете, баба эта, которую я вёз, начала на меня гнать. Дескать, это я не умею водить. Ну я и сказал ей пару ласковых, знаете. На эмоциях, конечно... Дело понятное, пока аварию оформлять, то да сё, времени много уйдёт. А вы куда спешите? Вы сказали, вам в аварию попасть нельзя...

– Что, простите? – нахмурился пассажир.

– Да так, вы не подумайте! Просто интересно. Событие важное?

– Ну, не сказать, что прямо событие... Хотя, может, так и есть. Переговоры! – наконец прямо ответил пассажир. – Если опоздаю, то, вполне возможно, потеряю много денег.

– А кому сейчас легко? – вздохнул Отингеев.

Проехав еще немного, он резко затормозил перед пешеходным переходом, который будто нарочно медленно пересекала укутанная в лохмотья фигура.

– Ну, быстрее! Быстрее! – злился водитель.

Наконец такси снова тронулось. Отингеева потянуло на разговоры.

– А вы не беспокойтесь насчёт переговоров, – начал он, искоса взглянув на пассажира. – Опаздывая, вы заставляете людей ждать, ставите их в зависимое положение. Мне это друг мой, Павел Геннадьевич, не раз говорил. Он человек серьезный, руководитель большой, знаете... Говорит, многие политики специально опаздывают на встречи... для статуса...

– Статус... – уткнувшись глазами в экран смартфона, отстраненно промолвил мужчина. – У меня с этим всё нормально... со статусом. Мне такие приемчики не нужны. А чем, если не секрет, руководит ваш Павел Геннадьевич?

– Как один философ сказал, знаете, – будто не услышав вопроса, продолжал Отингеев, – нужно уметь превращать «так случилось» в «я этого хотел».

– Так «случилось» в «я хотел»? – усмехнувшись, повторил за ним мужчина, по-прежнему глядя в телефон.

– Да, – подтвердил Отингеев. – И знаете почему? Это делает человека неуязвимым. Не в прямом смысле слова, конечно... Не от пули, например... а от обстоятельств жизненных. Это можно и к переговорам применить, и к чему угодно... Смотрели, как наши вчера словенцев обыграли?

– Что?... – сперва не понял пассажир. – А! Не, я не видел, – пробормотал он, занятый телефоном.

Он явно находился в некотором замешательстве от столь быстрых поворотов в разговоре.

– Все так восхищаются игрой... ну, журналисты, эксперты. – Роман кинул взгляд по зеркалам, оценивая ситуацию на дороге. – А как по мне, игра серая, скучная... Словения размером, наверное, с Самару. Чем тут гордиться?.. Ну да ладно... А насчёт переговоров я вам сказал. Не переживайте, сильно не опоздаете, а если чуть-чуть – полезно даже!

Отингеев наконец убедился, что мужчина не горит желанием общаться, и замолчал. Когда стояли на светофоре, водитель искоса из любопытства взглянул на его лицо – самодовольное, с крупными скулами, тонкими губами, квадратным подбородком. Отингеев принюхался к парфюму, которым пользовался этот субъект, и признался себе, что давно такой приятный аромат не проникал к нему в такси.

Машина колесила по проспекту. Над проезжей частью нависали огромные баннеры, рекламирующие страховку, медицинские клиники, пену для бритья. Один из них предупреждал об опасности превышения скорости. На нём был изображен покореженный автомобиль, Отингеев узнал на баннере марку своей машины – Skoda Rapid. А внизу надпись: «Скорость убивает!»

Наконец такси прибыло в пункт назначения. Пассажир, расплачиваясь, с нескрываемой издёвкой спросил у водителя:

– А вы-то сами превращаете... как там?.. «так вышло» в «я так хочу»?

– Я? – растерялся на мгновение Роман, но тут же нашёлся. – Я – каждый день! – ответил без тени сомнения.

Телефон подал сигнал – пришла оплата поездки. Захлопнулась дверь авто, Отингеев тронулся и почти сразу встроился в поток машин, нагло втиснувшись между КамАЗом и «жигулями». На въезде в Москву намечались большие пробки. Метель становилась всё гуще; огни домов, фонари и фары сливались друг с другом в разноцветные мазки.

Ещё не приняв новый заказ, Отингеев мчался куда-то, огибая другие авто. Выкручивая руль, он корчил гримасы и ругался вслух:

– Козёл! Да пошёл ты! Переговорщик хренов!.. На такси ездит он!.. Да Павлу Геннадьевичу расскажи про этого клоуна – со смеху лопнет!

2

Следующим пассажиром стал худощавый юноша с зелёной шевелюрой. Отингеев терпеть не мог эту моду красить волосы, втыкать в морду пирсинг или накалывать на кожу чёрт знает что.

Уставившись на дорогу, он неожиданно спросил с раздражением:

– За футболом следишь?

– Не, – сразу откликнулся парень.

– Понятно, – словно приговорив его к чему-то, заключил Отингеев.

Когда стояли на красный, он случайно поймал своё отражение в зеркале. Впалые щеки, потрескавшиеся губы, бледная, будто у мертвеца, кожа – будто призрака увидел.

Наконец двинулись на зеленый.

– Куда лезешь, паскуда! Не пуцу! – ругался Отингеев. Затем обратился к юноше: – Вот скажи мне, чем ваше поколение интересуется?

– Да кто чем, – смущённо ответил парень, – не могу говорить за всех.

– А если не за всех? Если за себя?

– Ну, мне лично музыка нравится.

– Музыка... Какая? – явно цеплялся к парню Отингеев.

– Да вы вряд ли в курсе про таких исполнителей... – тому не хотелось вдаваться в детали.

– Что правда, то правда. Иногда из машин доносится такое дерьмо, знаешь?.. Такая деградация вокруг! – Ехали прямо; Отингеев, немного расслабившись, на секунды выпустил из рук руль. – Твердят в этих дебильных песнях одно и то же! Ни текста, ни мелодии!.. – продолжал разглагольствовать он. – Вкус дурной у народа стал. То есть я, конечно, понимаю каждый, как он хочет... Вот ты, к примеру... Просто интересно мне... Зачем волосы красишь?

– Нравится, – пробубнил парень.

Было видно, что его смущают эти расспросы, но Отингеев не унимался:

– Чтобы выделяться из толпы? Так выделяться другим надо! Умением, эрудицией, навыками. А волосы покрасить – это несложно, знаешь! Это на раз-два! Сложнее книжки читать, информации набираться! Вот Макиавелли ты читал?

– Ну так, слышал что-то, – нервно усмехнувшись, отозвался парень. Он поглядывал на водителя с опаской, как на пьяного.

– Почитай, – советовал Отингеев, – поймешь, как устроена политика, кто нами руководит на самом деле! – Произнес он это с важным видом, будто обладал ценнейшим знанием, которым, однако, не спешил делиться.

На Кутузовском проспекте движение было на удивление быстрым. В метели проглядывались горделивые сталинки, небоскрёбы Москвасити и памятники; как мираж, возникли и растворились в падающем снеге Триумфальные ворота.

– Поймешь нашу страну, если Макиавелли считаешь, – продолжил вещать Отингеев. – Любое государство – это как большая компания... корпорация, знаешь ли... Какое руководство – такие и результаты. Вот моя конторка любит штрафовать по жалобам всяких паскуд... Мотивирует это? Павел Геннадьевич, друг мой один, большой руководитель, всегда умел настроить подчинённых, не то что эти! Эти фуфелы умеют только отбить охоту к делу. Всю жизнь нас ни во что не ставили, всегда о нас ноги вытирали!.. – Последнюю фразу Отингеев сказал в запале неожиданно для себя, отчего и сам на мгновение обомлел.

На светофоре он протянул юноше свой телефон. Тот взял его неохотно, как из рук больного чумой. На заставке экрана было фото симпатичной блондинки на фоне заката и пальм.

– Это моя дочь, – сообщил Роман, – в Штаты уехала.

– Красивая, – вымолвил парень.

– А то! Во Флориде живёт, на юриста учится. Глядишь, там и останется. А может, и сюда вернётся... с западным дипломом-то, знаешь!.. Она на психолога поступать хотела, а я сразу сказал, что психологи эти – балаболы все! Толку от них нет. И на работу с таким дипломом хрен устроишься, только если мужика с деньгами охмурить какой-нибудь... Но это и без диплома ведь можно! А так – вода водой! Нормальный человек на приём к ним не пойдёт! Только полупокер какой-нибудь, чтоб поплакаться о том о сём. Хотя понятно, кому сейчас легко?.. Слава богу, и жена моя бывшая, и муж её нынешний – все они того же мнения!

Выговорившись, Отингеев включил отрывок радиопередачи, что крутили с утра: женщина ледяным голосом читала столичные новости. А сам Отингеев думал о фразе про вытирание ног. Откуда она взялась? Каким неизвестным образом зародилась в его сознании? Ему вспомнились строки Маяковского о том, как слова выбрасываются из обгорающего рта, подобно голым проституткам. Роман наткнулся на эту цитату в школьные годы, листая от нечего делать какой-то сборник, а запомнилась она ему благодаря слову «проститутка».

Отингеев поглядывал на спидометр, он показывал около восьмидесяти километров в час. Ему же казалось, будто он ехал не меньше ста – ста десяти. Это несоответствие своих ощущений и того, что показывает стрелка, занимало его разум остаток пути. Высадив пассажи-

ра, Отингеев поехал дальше. Он медленно набирал скорость, пытаясь прочувствовать, как она нарастает.

– Хренью маюсь! Спать надо больше! – заключил он вслух и посмотрел на телефон: пришёл новый заказ.

3

Вечером в машину Отингеева села шумная компания из трёх девушек. Направлялись они по адресу Петровский бульвар, дом шесть, в пути распивали бутылку вина. Метель за окном ненадолго прервалась, свет фонарей стал ярче.

– На гулянку едете? – спросил Роман.

– Да, – отозвалась самая громкая из девиц.

– А что без кавалеров? – ухмыльнулся он. – Или кавалеры на гулянке объявятся?

Пассажиры в ответ расхохотались. Отингеев, довольный собой, продолжил:

– А я вот всё жду, когда домой приеду! В чан с пивом окунусь! Не в буквальном смысле, конечно. Так... бутылочку-другую, знаете... Павел Геннадьевич, сожитель мой, тоже любит на грудь принять... Нет, вы не подумайте! Мы мужики нормальные, но живём вместе. Так нас жизнь свела... Он, правда, руководитель большой, на работе нервы сплошные, стресс, возраст... Как в рекламе, помните?.. Иногда приходит злющий... Но я тоже не подарок, знаете, иначе б от меня жена не ушла. Павел Геннадьевич меня обещал в автопарк к себе пристроить. Там и зарплаты хорошие, и отношение к персоналу подходящее. Мы с ним уже знакомы лет двадцать. Он руководил одной фабрикой в Калуге, а я у него был водителем. Славные времена! Жёны наши дружили, дети... Хорошо он в Москву переехал, объявился. Бывает же!.. А вы, девчонки, чем занимаетесь? Работаете? Учитесь?

– Учимся, – ответили девушки.

– На кого? Не на психолога, надеюсь? – уточнил Отингеев.

– Нет, на художниц.

– А... Ну, это дело интересное, творческое. Богема, короче. Хотя мне кажется, что художников заменят компьютеры. В смысле каждый сможет рисовать как Пикассо. Но художники – это всяко лучше, чем психологи!.. У меня дочка во Флориде живёт, на юриста учится. Потом, глядишь, сюда вернётся. С западным дипломом!

– Надеюсь, нас не заменят компьютеры! – приложившись к вину, сказала голосистая девица. – Кстати, я бы на вашем месте тоже не расслаблялась. Вместо людей машины буду водить роботы!

– Возможно, – кивнул Отингеев, – но юристов они заменят не скоро... Надеюсь, по крайней мере...

Погрузившись в размышления о дочери, Отингеев чуть не врезался в снегоуборочную машину.

Та, что самая голосистая, взвизгнула и сказала:

– Вы осторожней, пожалуйста!

– Нормально. Нормально всё, – пробормотал Роман, успокаивая её и себя.

4

Последний в тот день клиент Отингеева, щекастый мужчина в очках, спешил в «Шереметьево».

– Прошу вас, как можно быстрее. За час вроде успеем? – беспокоился он. – Сейчас пробки, небось, такие!.. – На лбу его от волнения проступил пот.

– Да ладно, не переживайте, – улыбнулся Роман. – Кому сейчас легко?

– Что верно, то верно, – тяжело дышал клиент, – уж постарайтесь! А то опаздываю... Ух, кто долго собирается – тот бежит!

Машины продвигались медленно. Казалось, что, если хотя бы одна из них совершит неправильное движение, поток остановится. Отингеев лавировал решительно и продуктивно, выжидая идеальный момент и улучшая позицию на укрытой снегом дороге.

– Хорошо идём вроде. – Мужчина расстегнул куртку, взглянул на часы на запястье.

Роман, бросив на него задумчивый взгляд, поинтересовался:

– Куда летим?

– В «Шереметьево».

– Да это я понял! Куда летите, спрашиваю?

– А!.. Совсем задёргался! В Киев через Минск, брат! Завтра на работу!

На полосе, ведущей в Москву, врезались Toyota Camry и «УАЗ Патриот». Кузова обоих были приплюснуты; сверху на груды металла усердно валил снег.

– И как они так впендюрились? – недоумевал Отингеев.

– Ага, – кивнул мужчина, – поток ж еле ползёт!

Из машины в соседнем ряду девочка лет шести-восьми с увлечением наблюдала за происходящим на дороге. Пока стояли, Роман смотрел на нее, а потом автомобиль, в котором она ехала, спрятался за «газелью».

– И что там, на Украине? – спросил Отингеев от нечего сказать. – Какие настроения?

– Дурят народ так же, как и здесь! – махнул рукой пассажир. – Но здесь хоть бабки есть... А у нас... у нас, брат, экономика кончилась, понимаешь?

– Да всё везде одинаково и циклично! – уверенно заявил Роман. – Макиавелли об этом уже давно сказал!

Поток машин между тем постепенно оживился; местность за окном быстро менялась.

Отингеев включил радиопередачу.

– Запись, что ли? – вслушавшись, удивился пассажир.

Роман кивнул:

– Ага, запись.

– А то думаю, нежели я совсем того... Утром же крутили... – ответил пассажир.

– Вот на этом самом моменте утром я как раз чуть не врезался. И не по своей вине... Суку одну вёз на Рязанку. Она на меня жаловаться теперь собралась. На меня! – словно потеряв контроль над собой, последние слова Роман выкрикнул и, опомнившись, почувствовал себя неловко.

Пассажир, однако, с пониманием покачал головой:

– Бывает, бывает...

Роман, сконцентрировавшись на прослушивании записи, остаток пути проехал молча. Лишь изредка он шептал: «Да куда? Да где? Да где?..»

Прибыли в «Шереметьево».

– Вот вроде терминал D, – обрадовался пассажир, выглядывая из окошка такси. – Попадись другой водитель, наверное, опоздал бы! Спасибо, брат!

Он выскочил из машины и, запинаясь о комья мокрого снега, почти побежал в аэропорт. Отингеев был несколько удивлён: давно его не благодарили за поездку.

Опять включив утренние новости, он наконец-то рванул домой.

5

Дорога расплывалась в его глазах, становилась неровной. Глаз скоро привык, и это перестало ему казаться чем-то нереальным, каким-то визуальным дефектом. Отингеев чувствовал, как машина во время движения то поднимается, то опускается подобно лодке в море.

Роман говорил сам с собой:

– Да я бы другой состав поставил! Сигурдссона на фланг, пока он не уехал! У тебя в стране беда, а у нас – ха-ха! И работал бы уже давно у Павла Геннадьевича... Если б проститутку хоть раз подвёз, попросил за услуги... Жена б от меня всё равно ушла! Хоть у меня и машина плавает, видишь!.. А на поле в Норильске родном я давно насрал! Бегаеете по говну моему, не жалуетесь!

Припарковавшись у дома, Отингеев поднялся в квартиру. В прихожей надолго завис перед зеркалом. Вновь ему казалось, что на него смотрит кто-то другой. Бледная кожа, усталый взгляд, мешки под глазами – словно на лицо нанесли грим.

На кухне среди обшарпанных стен распивал баклажку пива мужчина преклонных лет.

– Здравствуйте, Павел Геннадьевич! – плюхнулся на табуретку напротив него Роман.

– Вечер добрый! – отчеканил тот начальственным голосом. – Как день прошёл?

– Да так, ничего...

Вкратце Отингеев поведал, какую мерзкую бабу подвозил утром на Рязанский проспект. Затем надолго умолк, хлестал пиво стакан за стаканом. Только заканчивалась одна бутылка, он тут же открывал холодильник и переходил к следующей.

– Что-то ты совсем хмурый, Рома, – заметил Павел Геннадьевич.

Отингеев, покосившись на него хмельным взглядом, признался:

– Мне кажется, что я схожу с ума... Я, Павел Геннадьевич, когда ехал утром по Рязанке, слушал «Серебряный дождь»... передача шла...

На мгновение Отингеев поник головой и смолк, будто готовясь уснуть.

– И? – напомнил о себе Павел Геннадьевич.

– И... – вздохнул Роман. – И услышал голос дочери своей, Оксаночки... Она меня звала к себе во Флориду. Потом запись той передачи нашёл в интернете. Весь день её крутил, но Оксаночки там уже не было.

– Так, может, показалось тебе?

– Да нет, в том-то и дело! Это было реальнее, чем ты сейчас!

– Ну, это к психиатру... – недоуменно заметил Павел Геннадьевич.

– Ты что, издеваешься надо мной?! Да психиатры эти – балаболы все! Ничем они мне не помогут! – вскипел захмелевший Отингеев.

– Ты же людей возишь... – даже напрягся Павел Геннадьевич.

– И что?! – вскричал Роман. – Да у меня ни одной аварии не было! Ни одной царапины! И потом... кому сейчас легко?

Его слова заглушила распахнувшаяся с грохотом форточка. На улице буйствовала метель. Снег падал стеной. В кухню ворвался зимний воздух.

Роман, глубоко вдохнув, почувствовал головокружение.

– Нет, Отингеев, я тебе так скажу! – хлопнул ладонью по столу Павел Геннадьевич. – Мне больные водители не нужны! Пока голову не приведёшь в порядок, хрен тебе, а не работа! Ещё угробишь себя!..

Пока тот говорил, Отингеев не сводил с него глаз, при этом фигура Павла Геннадьевича всё увеличивалась и увеличивалась в размерах, пока не заполнила собой всю кухню.

– Завтра поедешь к психиатру! Мы это так не оставим! Понял меня? – строго сказал Павел Геннадьевич.

– Нет, извини, – вяло покачал головой Роман.

Он тяжело дышал. Теперь Отингееву казалось, что ему не хватает воздуха. На край стола через открытую форточку намело горстку снега. Он таял, превращаясь в лужицу. Роман тупо наблюдал за процессом, ему казалось, будто он впервые видит это.

Отингеев перевел взгляд на Павла Геннадьевича – тот, достигнув макушкой потолка, бесследно исчез из кухни.

– ...-копать, – пробубнил Отингеев.

Протерев глаза, он долго смотрел в одну точку напротив себя. Затем навалился грудью на стол и уснул.

...Когда утром Роман сел в машину, Павел Геннадьевич был уже там.

– Ну, Отингеев! Даю тебе шанс, так уж и быть! Посмотрим сегодня на твоё поведение! Может, ты вчера перепил просто? Понимаю, все мы иногда даём сбой.

– Спасибо, Павел Геннадьевич! – улыбнулся мятый после вчерашнего Роман. – Вы меня извините! Сам не знаю, что на меня нашло!

Поехали по двору, вывернули на широкую улицу.

В ушах Отингеева звучали голоса каких-то женщин, показания спидометра вновь не вызывали доверия...

На дороге он агрессивно боролся за место в потоке, ювелирно вклиниваясь между транспортом всевозможных видов и скоростей. Правда, на Садово-Спасской, обгоняя автобус, чуть не врезался в Kia Rio.

Павел Геннадьевич недовольным голосом одернул Романа:

– Ну-ну! Не расстраивай меня!

Добавив газу, Отингеев промолвил:

– Нормально. Нормально всё.

НОЧЬ В БИЛЬЯРДНОЙ

По благородному сукну цвета тенистого газона катались молочные шары: то бились друг о друга с громким цоканьем, то расходились вежливо, с деликатным щелчком. Одни ныряли в сетчатые мешочки луз, оставшиеся замирали на пути к ним. Вокруг стола перемещались двое мужчин: немолодой, в очках, солидно одетый в шелковой рубашке и костюмных брюках, другой, явно помладше, – смуглый, коренастый, с залысиной, в поношенной майке на выпирающем небольшом бугром животе. Играли в русский бильярд по правилам свободной пирамиды, в просторечии – «американки», то есть любой шар может стать как снарядом, так и мишенью. Тот, по которому наносят удар кием, называют битком; его также можно отправить в лузу как свояка – рикошетом от другого шара.

Немолодого представительного мужчину звали Игорь Германович Шестов. Рабочий день перед визитом в бильярдную был прожит им, откровенно говоря, нехотя. В офисе он никак не мог сосредоточиться на вычислениях, вместо формул в голове у него маячили игровые позиции. Подчинённых своих он также отчитывал вполсилы, хотя обычно устраивал им долгий разнос. После обеда директор раскритиковал работу его отдела, пригрозив понизить в должности, а у Шестова даже в тот момент на уме были одни шары да лузы.

– Ну, красавелла! – выпалил соперник, глядя, как Шестов забил дуплетом: биток толкнул шар, тот врезался в борт и от борта неспешно уплыл в противоположную лузу. – Чую, интересно мне с вами будет...

Шестову этот комплимент показался убаюкивающим приёмом: в игре мало кто радуется успехам визави. Впрочем, тот уже был пойман Шестовым на притворстве: он заметил, что поначалу тот намеренно играл хуже своих возможностей – скрывая технику, лупил на силу и везение.

– Ах, да что ж ты будешь делать-то, сука! Видели, да? Не везёт! – сокрушался соперник после очередного промаха. – Надо разыграться. Часто тут бываете? – Манера общения у него была простой, мужицкой, однако в целом он не производил впечатления игрока, который отмуззит в случае своего проигрыша.

– Ну да. Частенько, – всматриваясь в расстановку шаров, пробормотал Шестов.

– Рядом тут стрип-клуб есть, знаете? Ходили туда?

– Знаю. Не ходил.

– Понятно. Не любитель. Чем занимаетесь, если не секрет?

– Финансовой математикой, – сухо вымолвил Шестов.

– О, это дело полезное! Риски вычисляете, да?

– Ну, не ириски считаю... – мрачно пошутил Шестов.

– Хех!.. Ну, я угадал? – допытывался мужик.
 – Руковожу отделом тех, кто вычисляет, если быть точным.
 – Понятно. С академиком играю!.. – явно льстил второй. – Не хотите... хм... немного подогреть интерес к партии? По мелочи, квартиры ставить не будем...

Шестов молча кивнул. Он и пришёл сюда, ведомый прежде всего азартом, поскольку игра сама по себе давно не увлекала его, как раньше. В молодости стоило ему подойти к бильярдному столу – и мир вокруг него отступал, заменялся белым фоном, а на зеленом сукне под тусклыми светильниками открывалось наглядное торжество законов механики и геометрии. С возрастом для Шестова игра сама по себе утратила ценность и значимость, магию и уникальную прелесть, зато интерес к ней вошел в строгую зависимость от размера ставки.

Игроки поборолись за право первого удара: оставили на столе два шара и почти одновременно отправили их к противоположному борту. Достигнув преграды, шары покатались обратно, соперник Шестова оказался ближе к «дому» – переднему борту. В первой же партии на деньги, на начальные пять тысяч, мужичок заметно преобразился – дождавшись выгодной позиции, хладнокровно исполнил победоносную серию.

– Видишь, умею кой-чего, – приговаривал он. – Ну, ладно, это уж повезло мне...

«Рано ты себя обнаружил, гад», – подумал Шестов.

Во второй партии на двадцать тысяч он сумел взять реванш, хотя противостояние получилось довольно плотным и нервным. Соперник воспринял свой проигрыш с кривой ухмылкой и мгновенно предложил увеличить ставку до пятидесяти.

В третьей партии Шестов промахивался, исключением был лишь тот красивый дуплет, после которого, однако, почти все шары прилипли к борту. Напрашивался отыгрыш – удар, цель которого не забить самому, но усложнить дальнейшие действия сопернику. Шестову всё же захотелось рискнуть – толкнуть одинокий шар, который располагался в относительной близости от дальней лузы. Пришлось тянуться враскорячку, опершись о бильярдный стол и встав на одну ногу.

В этот момент у мужика зазвонил телефон. «Да! И чё? И чё?! – кричал на кого-то. – Дай мне отдохнуть, а! Потом позвоню... Извините, если отвлѣк, – вода пальцем по экрану телефона, бросил он Шестову. – Бабы, они такие!...»

После нескольких прицеливаний, подгоняемый затѣкшей спиной, Шестов грубо промахнулся, но, что хуже, биток на отскоке задел прилипшую к борту грудку шаров. Соперник в ответ благоразумно сыграл самый простенький из предоставленных ему вариантов.

– Хочешь реванш? – тут же ослабил он.

– Да, – кивнул Шестов, отстѣгивая ему купюры.

– Сколько ставим? Давайте поднимем до семидесяти, а?

– Хорошо.

Они сыграли ещё две партии, по очереди добившись в них успеха.

– Может сотку, а?.. – вновь предложил повысить ставку мужик.

Повисла небольшая пауза. Шестов прикинул, сколько денег у него осталось на банковской карте. Нет, не хватало. Но всё же он согласился и тут же добавил:

– Только в туалет отойду.

Мужик усмехнулся:

– От волнения, что ли?

Изобразив на лице улыбку, Шестов не ответил и пошёл через длинный зал, вскользь посматривая на других посетителей. В основном взору его представляли их спины. Нависнув над столом грузными телами, раскатисто гоготали два красношеих мужика. За соседним разминался наедине с собою один завсегда – шуплый старичок интеллигентного вида в жёлтом вельветовом пиджаке. Мелькала здесь и грудастая блондинка невысокого роста – Шестов уже встречал её раньше, она вроде только училась бильярду и каждый раз находила себе нового партнёра-наставника. Кто-то орал на весь зал низким мужским голосом: «Да было!.. Было касание!» Вскоре крик сократился до пронзительного «было!!!».

Поравнявшись с барной стойкой, Шестов повернул к туалету. А там, поглядывая то на своё отражение в зеркале, то в телефон, он торопливо соображал, у кого попросить денег. В голове чередовались имена друзей, знакомых, дальних родственников... Жена отпадала сразу: как-то раз, узнав о проигрыше в двести тысяч, она устроила Шестову долгий разнос, тогда он поклялся ей, что будет знать меру. Взглянув на часы – оказалось, час уже поздний, – Шестов сократил воображаемый список до одного верного подчинённого, который, как-то раз, извиняясь за опоздание, признался, что плохо спит по ночам. Набрал его номер.

– Привет. Извини за поздний звонок. Не разбудил? – Шестов сгорал от стыда.

– Нет, Игорь Германович. Не сплю пока. Ага, слушаю вас.

– У тебя не будет в долг сорок тысяч?

– Да-да, будет, конечно, – услужливо зачастил подчинённый. – У вас что-то случилось?

– Всё нормально. Просто мои деньги на карте жены, а она спит, – признался Шестов, но дальше на всякий случай соврал: – У меня тут встреча кое с кем... Не хочу быть стеснённым в средствах.

– Понимаю. Сейчас переведу, – пообещал подчинённый.

В этот момент Шестов почувствовал себя очень могущественным человеком и... одновременно жалким.

Вернувшись в зал к своему столу, он продолжил игру. Деньги уже были на его карте, это поднимало дух.

На сей раз Шестову удалось заполучить в розыгрыше право первого удара. После он уверенно открыл счёт в партии, забив рикошетом от пирамиды, и тут же ощутил невероятную лёгкость, словно прежде какая-то неведанная сила забирала у него мастерство. Ещё один шар – изящный свояк – в боковую лузу, за ним «чужой» – мощным выстрелом в дальнюю. Краем глаза Шестов следил за выражением лица соперника, но вместо желаемой тревоги видел на нём безмятежность и даже какую-то снисходительность. «Неужели ты настолько уверен в своей победе? – думал Шестов. – Может, ещё не показал свой максимум?.. Да нет, – успокаивал себя, – всё-то ты, братец, уже показал и, чую, проиграешь сегодня!»

Ведя 3-0, Шестов допустил ошибку, чересчур поверив в свои силы и пытаясь заколотить резаным ударом в дальнюю лузу. Соперник начал потихоньку догонять его: 3-1; 3-2; 4-2; 4-3; 4-4. Потом они по очереди вырывались вперёд. При счёте 5-5 Шестову досадно не повезло: шар после его удара увяз в створках лузы и, будто испугавшись падения, застыл на краю стола.

– Да как?! – не сдержался Шестов.

– Извините, – бросил мужичок. Ему оставалось «собрать урожай»: лёгкими прямыми ударами соперник организовал конвейер по переправке шаров в ту самую злосчастную лузу.

– Скажите мне номер телефона, – достав мобильный, пробормотал Шестов.

– Отправите переводом? Записывайте: 925... Григорий Михайлович – это я, ага. Чё, не будете больше? – усмехнулся мужичок.

– Нет. – Шестов был мрачен.

– Хех, бывает. Но я не последние у вас отнимаю? – спросил с деланным участием. – На проезд хоть осталось?

– На проезд хватит, – буркнул Шестов.

Он сгорал от злости и желания взять реванш, словно, наполучав тумачков, был вытасчен кем-то из драки. Соперник, точно почувствовав его настрой, обратился с неожиданным предложением:

– Хотите отыграться? Можем сыграть на ваш мобильный.

– На мобильный? – удивился Шестов.

– Моё дело предложить... – замылся мужик.

А Шестов ухватился за это предложение:

– Я ставлю мобильный, а вы?..

– Пятьдесят тысяч. Он же б/у, сами понимаете... – Соперник кивнул на телефон в руках Шестова.

– Нет... В смысле... да, я согласен, – запинался Шестов. – Давайте сыграем.

Эта партия и вовсе была односторонним избиением. Шестов проклинал уже не игру, а себя: сколько раз он клялся никогда больше не подходить к столу и даже не смотреть матчи в интернете, а однажды и вовсе сломал кий о стену на выходе из клуба. И вот опять весь день на работе он только и мечтал оказаться в бильярдной!.. Представлял свои будущие точнейшие удары. Что ж, мечта сбылась – он здесь, да только мажет, как пьяный инвалид. Хоть беги отсюда! Злости Шестову добавляло и то, что проигрывает он человеку явно ниже себя по всем параметрам... по всем, кроме техники игры в бильярд.

– Дайте мне пару минут, чтобы я почистил телефон. Удаляю личное, – мрачно вымолвил Шестов.

Соперник, к его удивлению, бросил на него внимательный и даже как будто участливый взгляд:

– Погодите. Сыграем последнюю партию. Я ставлю ваш мобильный и пятьдесят тысяч.

– А я? – не понял Шестов.

– А вы – ничего. – В голосе соперника слышалась снисходительность.

– Но это как-то... нечестно...

– Опять-таки моё дело предложить... – пожал плечами мужик.

– Давайте просто я попробую отыграть мобильный... – пытался договориться Шестов, он чувствовал, что самолюбие его еще больше уязвлено.

– Нет, так неинтересно будет, – осклабился соперник.

«Всё-таки глумишься надо мной, козлина, – думал Шестов. – Уже ничего не стесняешься».

Тем не менее Шестов решил не упускать этот шанс и, более того, в случае выигрыша сыграть ещё раз. Вот только злость не придавала ему сил, скорее, наоборот, кий в его руках стал каким-то непослушным, чужим, ошибки в игре становились всё грубее. Соперник же

разошёлся на полную, забив резаным дуплетом. Это сложный удар. Шар срикошетил и был послан в борт под углом. Шестов оценил и еще больше занервничал.

– Всё! Всё! Хватит! – прикрикнул он. – Я вижу, вы притворялись чайником в начале игры, а сейчас откровенно издеваетесь надо мной!

– Во-первых, я играл честно и по правилам, – спокойным голосом с какой-то новой деловитой ноткой ответил мужчина. – А во-вторых, я предоставил вам шанс. Согласитесь, это тоже риск с моей стороны.

– Да ничем ты не рискуешь! – рявкнул Шестов и тут, взяв себя в руки, добавил: – Ладно, сейчас подчистищу в телефоне...

Он стал удалять номера близких, фотографии, при этом чувствуя, будто прилюдно отрекается от всей своей жизни. Вот он на Чистых прудах у памятника Кунанбаеву, вот сынок его скорчил уморительную рожу, Крымский мост, Нескучный сад, смешное видео с собакой, фото жены... Всё – в небытие.

– Спасибо за игру, – положив на зеленое сукно мобильный, ради приличия выдал из себя Шестов.

– Спасибо, – кивнул мужичок. – Позвольте, я скажу вам еще кое-что?

– Что? – нахмурил брови Шестов.

– Мне кажется, вы такой азартный именно потому, что здесь невозможно просчитать все риски. – Эта фраза из уст соперника прозвучала неожиданно сочувственно.

– Может, и поэтому, – мрачно кивнул Шестов.

Перед тем как выйти на улицу, он решил опрокинуть в себя стопку-другую. Сев у барной стойки, на последние деньги Шестов заказал себе два раза по сто грамм, апельсиновый сок и сразу расплатился оставшейся наличкой.

Сзади к нему неслышно подошёл старичок в вельветовом пиджаке:

– О, Игорёк! Что у тебя случилось? Выглядишь неважно...

Шестов молчал. Старик сел рядом за барную стойку.

– Проиграл, значит. Бывает... Но ты держись. Бильярдная – такое место, знаешь, где карета превращается в тыкву и наоборот. И так раз по пять за ночь!

– Ненавижу эту игру, – процедил Шестов и опрокинул в рот стопку. – Может, это проклятие на мне? Хотите верьте, хотите нет, но больше вы меня здесь не увидите!

По сумеречному залу Шестов прошёл к выходу. Открыв дверь, он был ослеплён лучами утреннего солнца. Всё вокруг него переливалось этим неутомимым светом, даже угрюмые обшарпанные многоэтажки сверкали белизной. Шестов вытащил кий из чехла, приставил его к стене и со всей дури врезал по нему ногой, после чего пошёл своей дорогой.

В метро столь ранним утром народу было мало. Лица сонные, недобрые, смотрели будто с осуждением. Теперь, глядя через окошко в темноту тоннеля, Шестов почувствовал себя невероятно свободным; лишившись телефона и денег, он волен идти куда хочет. Но стоило ему отвлечься от этой мысли, разрешив воображению нарисовать произвольный образ, перед глазами снова покатались молочные шары. Шестов попытался усилием воли отогнать их, но те лишь выстраивались в узоры бесчисленных позиций...

Андрей БАРАНОВ

Родился в 1962 году на Советской Украине в городе Виннице. С 1966 по 2002-й жил в Ульяновске, который стал прототипом Средневожска из его романов, повестей и рассказов. Окончил Ульяновский педагогический институт, работал в школах Ульяновска, а после защиты кандидатской диссертации – в вузах и институте повышения квалификации учителей, в издательстве учебной литературы «Вентана-Граф», сейчас работает в центральном офисе книготорговой сети «Читай-город – Буквоед».

Публиковался в журналах «Дальний Восток», «День и ночь», «Зинзивер», «Дети Ра», «Симбирскъ», «Нева», «Бельские просторы» и интернет-журнале «Литература».

Живет в Москве.

ВЕЗУНЧИК

Не знаю, как вам, а мне всегда казалось, что впереди меня ждёт много ярких и интересных событий, а всё, что уже случилось со мной прежде – лишь прелюдия, подготовка к настоящей жизни, которая вся впереди. Нужно лишь немного потерпеть, подождать – и всё случится.

Самое удивительное, что такие мысли посещали меня именно в те моменты, когда я бывал по-настоящему счастлив, но, укутанный счастьем, словно младенец материнским теплом, не мог по-настоящему почувствовать этого.

Старик написал эти слова в текстовом редакторе «Живого журнала» и глубоко задумался. Утро вливалось в комнату золотистым светом, вычерчивая на стене графические очертания берёзовых веток. Декабрист на подоконнике топорщил свои чешуйчатые листья на древовидных корявых стеблях, пробуждая в воображении виды древних лесов Пангеи. Чёрный кот в белых носках и галстукe, удобно устроившись рядом с цветочным горшком, с видом умудрённого жизнью философа разглядывал двор, по которому вперевалочку расхаживали важные вороны. Старик окинул всё это невидящим взором и продолжил повествование...

Когда-то, когда Денис Юрьевич (так звали старика) был совсем молодым человеком, не достигшим ещё тридцатилетнего возраста, и звался просто Дэном, он жил в неослабевающем предчувствии каких-то важных перемен, которые вот-вот должны произойти. Жизнь в её

привычном обыденном течении совершенно перестала его волновать – как будто это была не настоящая жизнь, во всяком случае, не *его* настоящая. Шёл ли залитой солнцем улицей, трясся ли в дребезжащем и постукивающем на рельсовых стыках трамвае, глядя через оконное стекло на дома, вывески и неторопливых жителей родного провинциального города, сидел ли над чертежами в своём конструкторском бюро – повсюду его не оставляло это назойливое чувство.

Был у него лучший друг. Они дружили ещё со школы и понимали друг друга с полуслова. Он мог прийти к Лёшке в любое время дня и ночи и был абсолютно уверен, что тот не прогонит его, выслушает и поможет. Для чего же ещё нужны друзья, как не для того, чтобы выслушивать и помогать?

– Ты знаешь, мне кажется, я живу не своей жизнью! – сказал он как-то другу, когда они сидели у того на кухне и выпивали, глядя на светящиеся окна дома напротив. Многие окна были задрапированы только лёгким прозрачным тюлем, а на некоторых занавески вообще были распахнуты, и там, в этих разноцветных квадратах, разворачивались картины чужой неведомой жизни. Дом стоял достаточно далеко, чтобы разглядеть лица людей или детали интерьера, но в то же время сравнительно близко, чтобы различать контуры фигур – мужских, женских, детских, – светящиеся шарики люстр, торшеров и бра, туманные абрисы предметов домашнего обихода.

– Разве так бывает? – удивлялся Алексей. – Мне кажется, каждый из нас проживает только свою жизнь, единственную и неповторимую. Посмотри на эти окна – за каждым живут люди, и у всех своя судьба. Ты не можешь попасть туда, чтобы прожить за них их жизни, так же как они не могут прожить твою.

– Почему же меня не оставляет чувство, что моя-то протекает где-то в стороне от меня? Может быть, за этими самыми окнами?

– Я думаю, ты просто зажрался, – отвечал ему друг, – признайся честно сам себе – ведь ты же настоящий везунчик: родители – дай бог каждому, школа – лучшая в городе, институт – без проблем, вместо армии – двухмесячные сборы, на работе в неполные тридцать – начальник отдела, от тёток – отбоя нет! Жениться тебе надо, вот что, – тогда вся дурь из башки вылетит.

Как бы в подтверждение этих слов на пороге кухни появилась пухленькая фигурка молодой женщины, запахнутая в короткий шёлковый халатик с золотыми драконами на огненно-красном фоне. Это была Нора – жена Алексея. Её заспанное лицо явно не выражало радости по поводу позднего визита незваного гостя и отсутствия мужа в супружеской постели.

– Мужики, вы потише немного – Катька всё-таки спит, да и тебе, Лёха, завтра на работу. Закруглялись бы уже!

Раздражённая супруга погремела тарелками, включила и выключила воду, долго искала что-то в холодильнике и, наконец, удалась, оставив после себя на кухне невидимый, но ясно осязаемый немой укор загулявшим приятелям. Пару минут они ошалело молчали, потеряв нить прерванного разговора.

– Ты, кажется, что-то говорил о женитьбе, – напомнил Дэн.

– Правда? Пришла хорошая мысль, но, не застав никого дома, удалась. Давай лучше выпьем!

Дэна нельзя было назвать женоненавистником. Скорее наоборот. Я бы сказал, он буквально запутался в сложных и противоречивых отношениях со своими дамами. Нет, он не был ветреником или вертопрахом, проблема состояла в другом – он не мог разрывать старых отношений и тащил их за собой, как погорелец таскает повсюду остатки своего небогатого скарба, уцелевшего при пожаре. Это барахло на самом деле не нужно ему, доставляет массу неудобств, делает неповоротливым и уязвимым, но он никак не может с ним расстаться.

Первая любовь пришла ещё в школе, в восьмом классе. Была в совете дружины семиклассница Юля, бойкая синеглазая пигалица, которая читала стихи на всех школьных утренниках, ходила в знамённой группе, солировала в пионерском хоре. Дэн восхищался её белокурыми прядями, непослушно выбивающимися из-под остроугольной пилотки, звонким голосом, напоминающим перезвон хрустальных колокольчиков, белой накрахмаленной сорочкой с ярко пламенеющим на груди отутюженным галстуком, острыми девчоночьими коленками, задорно выглядывающими из-под синей пионерской юбки. Она была вся какая-то светлая и просто лучилась радостью и открытостью миру. Хотелось, чтобы она всегда оставалась такой же счастливой и весёлой, а для этого надо было, как решил для себя Дэн, оградить её от невзгод и опасностей школьной жизни. Юля легко, с присущем ей юмором приняла заботливую опеку старшеклассника, к тому времени уже гордо носившего на лацкане пиджака комсомольский значок, а потом незаметно привыкла и полюбила его всей своей девчоночьей душой. Два с половиной года, до самого выпуска, он провожал её в школу и домой, носил портфель, держал за руку, не давал никому в обиду. Все в школе так привыкли видеть их вместе, что они стали своеобразной местной достопримечательностью, живой легендой, которая передавалась из уст уста по другим учебным заведениям города.

Школьный роман продолжался и когда Дэн стал студентом. Но случилось так, что на картошке он близко сошёлся со своей однокурсницей Валентиной. Валентина была девушкой совершенно иного плана: тихая, мягкая, спокойная, с пышной русой косой и задумчивым взглядом магнетических карих глаз. Как-то вечером на импровизированной дискотеке под кассетный магнитофон, когда парни и девушки выпендривались друг перед другом, изображая ломаные ритмические движения, по странному недоразумению считавшиеся танцем, он заметил, что Валентина не танцует, а отошла к низкому плетню, окружавшему их барак, и стоит неподвижно, глядя на догорающий сентябрьский закат над убранным колхозным полем. Он подошёл и встал рядом. Разговорились. После нескольких дежурных фраз речь почему-то зашла о романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тогда эта книга была ещё полузапрещённой и её практически невозможно было нигде достать. Дэн был поражён. До этого момента ему казалось, что, кроме него, Юли и Алексея этот роман вообще никто не читал – и тут такое радостное открытие! От Булгакова ниточка потянулась к Лорке и Превьеру, Феллини и Тарковскому, Пикассо и Шагалу. Молодые люди с восторгом обнаружили удивительное родство художественных вкусов – а в юности это самое главное для начала дружбы. Чем больше они разговаривали на разрытых трактором бороздах, выбирая оттуда картошку и таская полные вёдра к бортовому грузовику, тем крепче привязывались друг к другу. Вернувшись в город, они стали садиться рядом на лекциях и семинарах, вместе ходили обедать, совершали походы в кино и на дискотеки. Они и не заметили,

как дружба переросла в любовь. При этом Дэн продолжал встречаться с Юлей – как же он мог бросить свою любимую пигалицу?

После школы Юля поступила на тот же факультет, где учились Дэн и Валя. Они стали дружить втроём, к компании примкнули Алексей со своей будущей женой и ещё несколько юношей и девушек. Друзья весело проводили время: ходили в походы, ездили в Москву и Питер к тамошним друзьям, летом работали в стройотрядах, а потом проматывали заработанные деньги в Крыму или на Черноморском побережье Кавказа.

Юля и Валя постоянно были рядом с Дэном, и в этом треугольнике сложились странные, невозможные для всех остальных членов компании отношения. Дэн явно не отдавал предпочтение ни одной из девушек, и чаще всего их видели втроём. Иногда то одна, то другая ссорились с ним, но после ссоры непременно наступало примирение, уж непонятно на каких условиях и под какие обещания, – и покой в неустойчивом треугольнике восстанавливался до следующей ссоры. Отношения между самими девушками тоже были какими-то необычными: вроде бы они дружили, а вроде бы и нет – никто не мог ясно понять характер их отношений. Во всяком случае, открытых ссор и скандалов между ними не замечали.

После института Дэн получил распределение в конструкторское бюро одного из местных оборонных предприятий, а через пару лет переехал из родительской квартиры в квартиру своей покойной бабушки. Студенческая компания стала часто собираться у него дома и вскоре разбавилась новыми лицами – коллегами Дэна по заводу. Была среди новых людей и Нина – черноволосая и остроглазая казачка, работавшая в бухгалтерии. Нина обладала удивительно глубоким сильным голосом, которым она выводила грустные и задушевные песни на стихи Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, аккомпанируя себе на гитаре. Дэн тоже любил, а главное, умел петь и играть на гитаре – так у них образовался дуэт, и, как ни старались Юля с Валей огородить своего возлюбленного от новой привязанности, вокальный дуэт вскоре перерос в любовный. А поскольку и Юля с Валей, устроив неверному любовнику сцену ревности и порвав с ним всяческие отношения, через несколько месяцев вернулись под его гостеприимный кров (к вящему неудовольствию Нины) – дуэт разросся до квартета.

Бухгалтер Нина имела то преимущество перед Юлией и Валентиной, что успела побывать замужем, развелась и у неё рос сын, часто передаваемый на попечение активных бабушек. Юля с Валей за много лет затянувшегося романа с Дэном тоже пытались устроить свои судьбы, но почему-то ни у той, ни у другой не клеились отношения с другими мужчинами, и к своему тридцатилетию они подходили незамужними и бездетными.

Дэн так запутался в отношениях со своими женщинами, что был уже не рад этому беспорядку. Ему хотелось простоты и ясности, хотелось, чтобы у него тоже была нормальная семья, как у его друга Алексея. О том же самом мечтали каждая из его пассий и говорили ему об этом открыто, но как он мог расстаться хотя бы с одной из них? Как предпочесть одной другую? Как предать остальных? Тогда-то в его душе и родилось это навязчивое желание перемен, полного и решительного обновления всей жизни.

Внутренний настрой на изменения совпал с катастрофой в стране. Привычный уклад рушился на глазах. Заказы Министерства обороны

в одночасье иссякли – и конструкторское бюро, в котором работал Дэн, распустило своих работников в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Друг Алексей, как и тысячи других их сверстников, занялся тем, что тогда считалось «бизнесом», – то есть покупал где-то что-то подешевле, а затем продавал подороже. Были среди их общих знакомых и более удачливые «бизнесмены», которым неслыханно повезло – и они умудрились усесться, как это тогда называлось, на финансовый поток. «Сесть на финансовый поток» было голубой мечтой любого метившего в «новые русские», поскольку в этом случае можно было вообще ничего не делать, а только перекачивать деньги из каких-нибудь фондов или государственных структур каким-нибудь бюджетным или общественным организациям, не обижая при этом себя любимого. Дэну претили новые порядки. Ему всё казалось, что происходящее – лишь временное помутнение умов, что пройдёт год-два, и всё вернётся на круги своя, – он хотел работать только по своей инженерной специальности, но инженеры стали никому не нужны – заводские проходные были наглухо заколочены.

Тогда-то и родилась у него идея уехать на Север. Оттуда, из бескрайней тундры возле самого полярного круга, писал ему одноклассник Вова, работавший инженером на молодую, бурно развивающуюся нефтяную компанию. Названия населённых пунктов из его писем звучали как волшебная музыка: Мегион, Лангепас, Нягань, Урай. Дэна безотчётно потянуло на край света, к полыхающему в полнеба северному сиянию и огненным цветкам попутного газа над буровыми.

В один из вечеров накануне отъезда они лежали с Ниной на его неширокой кровати и разговаривали.

– Поедешь со мной в Лангепас? – спросил Дэн, погрузив руку в пышную гриву девушки и перебирая прядь за прядью джунгли её волос. Её голова уютно устроилась в выемке возле ключицы. Только что у них был взрывной потрясающий секс, после которого в теле осталась сладкая истома, не хотелось ни думать, ни волноваться, а только вот так лежать и лежать, чувствуя голову любимой у себя на плече и перебирая её чудные шелковистые волосы с едва уловимым ароматом тонких цветочных духов.

– Лан-ге-пас, – по слогам протянула необычное слово девушка, – звучит как печальный гобой или охотничий рожок, – промурлыкала она и ещё раз повторила: – Лан-ге-пас...

– Ну так поедешь или нет?

– Милый, с тобой – хоть на край света, хотя, собственно, это и есть край... Но, видишь ли, в этом году Никита идёт в школу. Свекровь договорилась с крутящей гимназией. Никитоса берут, хотя там сто человек на место. И потом, тут у нас обе бабушки, а там – ни родных, ни близких. Чужой, непонятный город, снег, холод. Ночь на полгода. Никита, скорее всего, начнёт болеть, да и с папой ребёнку надо видиться, хоть раз в неделю. Может быть, лучше ты никуда не поедешь? Что там делать, в этом твоём Лангепасе? За семь вёрст киселя хлебать?

Она ещё что-то очень долго ворковала, перебирая тонкими нежным пальчиками волосы на его груди, но он больше не слушал – всё было и так понятно: Нина не едет!

«Может быть, это даже лучше, – думал он, – так не может продолжаться бесконечно. Вот и посмотрим, кто их трёх по-настоящему меня любит».

Проводив Нину до остановки, Дэн неспешно двинулся в сторону дома. Солнце село давно, но небо только-только начинало темнеть, загорались первые звёзды. В воздухе головокружительно пахло липовым цветом. Зажглись фонари и сразу притянули к себе густую тень лип и тополей. Путь домой лежал через небольшой парк, и, войдя в него, Дэн сразу заметил на парковой скамейке под фонарём одинокую фигурку девушки. Уже издали он узнал её – конечно же, это была Юля, и сидела она здесь совсем не просто так – он давно уже приметил, что после свиданий с Ниной непременно встречал Юлю, как бы случайно, то на остановке, то на улице, то вот как теперь – в парке. Зафиксировав в голове эту закономерность, Дэн стал избегать подобных встреч: завидев Юлю издали, сворачивал с привычного маршрута или даже разворачивался и шёл в прямо противоположную сторону, куда ему совсем не надо было идти. Но не в этот раз. Сейчас он даже обрадовался этой неожиданной ожидаемой встрече и сразу направился к девушке.

– Привет, что ты делаешь здесь в такой час? – спросил он.

– Так, вышла прогуляться, – неловко соврала Юля, и румянец, заливший при этом её щёки, был виден даже в бледном свете фонаря.

Дэн присел рядом. Девушка вся как-то напряглась, как будто ожидая удара, и удар не заставил себя долго ждать.

– Ты знаешь, я уезжаю, – буднично произнёс Дэн.

Последовало тяжёлое молчание, а затем прозвучал вопрос, какого Дэн никак не мог предположить:

– С ней?

Вопрос был настолько неожиданный и нелепый, что Дэн сначала даже не понял, о чём идёт речь, а поняв, рассмеялся:

– А тебя не волнует вопрос «куда»?

Смех любимого немного успокоил девушку, и ей стало даже немного стыдно за свои подозрения.

– Ну и куда же? – спросила она.

– На Север, за полярный круг, там сейчас бурно развивается нефтянка и очень нужны инженеры, а здесь я совсем никому не нужен.

– Неправда! Ты нужен мне.

– Я не об этом.

– А я об этом. Дэн, мы знакомы с тобой почти пятнадцать лет. За это время наши друзья успели жениться и нарожать детей, а некоторые даже развестись и снова жениться, а мы всё ходим с тобой за ручку, как в седьмом классе, только ты портфель за мной не таскаешь...

Воспоминания больно укололи Дэна. Он вдруг осознал, что действительно прошло уже целых пятнадцать лет! Боже, как пролетело время! Где та весёлая, никогда не унывающая пигалица, смешно задиравшая коленки, прыгая с подружками через верёвочку? Где чистое сияние её глаз? Где тонкий хрустальный смех? Где первые робкие ласки? Неумелые поцелуи, восторг открытия друг друга, ночные бдения на крыше дома, букет сирени, брошенный в распахнутое окно её спальни – где это всё? Кто эта усталая женщина под тридцать с осунувшимся лицом, поредевшими волосами и ссутулившейся спиной? Неужели это и есть Юля? Его милая ненаглядная Юля? «Да, конечно, это она, вернее то, что я с ней сделал», – с горечью и почти ненавистью к себе подумал Дэн и в порыве нежности обнял девушку за плечи. Юля расслабилась и оттаяла, положила голову ему на плечо и взяла его руку в свои ладони.

– Ты правда уезжаешь? – спросила она, как бы надеясь, что только что услышанная и неприятно поразившая её новость исчезнет от уточняющего вопроса.

– Да, я уже решил окончательно.

– Окончательно? А как же я?

– Поехали со мной.

Юля глубоко задумалась. Ей бы очень хотелось уехать с любимым! Кроме всего прочего, это был уникальный шанс разорвать, наконец, порочный круг их запутанных отношений на четверых, но у неё сильно болела мама, болела так, что не могла себя обслуживать, и, кроме неё, ухаживать за больной было некому: отец два года назад умер от сердечного приступа, были ещё два брата, но у обоих на плечах висели собственные семьи, а их жёны к тому же совсем не ладили со свекровью. Дэн знал о Юлиной ситуации, но надеялся, что её как-то можно разрулить.

– Может быть, наймём маме сиделку? – предложил он. – На Севере у меня будет очень большая зарплата, да и ты сможешь устроиться по специальности.

– Нет, сиделка – это не вариант.

– А братья на что?

– На братьев плохая надежда.

– Ну, как знаешь – не пожалей потом.

– Я уже жалею...

Через весь город Дэн пошёл провожать Юлю домой. Сначала ехали на трамвае. Потом шли пешком. Юля жила у старого вокзала в небольшом деревянном домике. В окне горел свет – мама явно не спала, ожидая дочь с прогулки. Денис долго вспоминал потом это расставание у калитки: июльские звёзды в чёрном бархате неба, лай собаки в соседнем дворе, тёплый огонёк за оконной занавеской – и над всем этим вязкий и густой запах липы.

«Интересно получается, – думал Дэн, возвращаясь на остановку, – здесь я нужен всем, а на северах – никому!» От этого было грустно и немного даже обидно. Оставалась ещё Валентина, но все знали, что недавно у неё появился новый молодой человек, с которым, как говорила сама Валя, у неё «всё серьёзно». Добравшись домой, Дэн всё-таки решил позвонить старой подруге.

К телефону долго никто не подходил, и, когда Дэн решил, что никого нет дома, гудки вдруг оборвались и в трубке послышался громкий шёпот Валентины:

– Ало, кто это?

– Это я.

– Дэн, ты совсем охренел? Ты смотрел, который час? Родителей перебудешь!

Он бросил взгляд на часы – первый час ночи. Да, судя по всему, во времени он потерялся!

– Извини, – забормотал, – мне очень хотелось поделиться с тобой важной новостью.

– Что за новость?

– Я уезжаю на Север.

В трубке повисло долгое молчание.

– Ты меня слышишь? – нервы не выдержали затянувшейся паузы.

– Слышу...

– И всё?

– А чего бы ты хотел?

– Не знаю... Может быть, поедешь со мной?

– Год назад, возможно, и поехала бы, а теперь нет. Извини.

– Я понимаю.

Опять наступило молчание. И тут к Дэну пришло неожиданное решение, которое оправдывало и поздний звонок и нелепое предложение:

– Я, собственно, звоню, чтобы пригласить тебя на отвальную.

– Какую ещё отвальную?

– Я собираю всех друзей на нашем месте в пятницу ровно в шесть.

Приходи – гульнём напоследок.

Снова небольшая пауза, а затем сухо:

– Хорошо. Мы придём.

Это «мы» больно резануло слух, но что поделать – нельзя же до бесконечности хранить верность неизвестно чему.

«Наше место» – это уютная, поросшая травой поляна, окружённая плотными зарослями акации недалеко от речного порта. Место, которое Дэн с друзьями облюбовали для себя ещё в школьные годы, – дикое и в то же время вполне цивилизованное, скрытое от посторонних глаз, но абсолютно доступное для посвящённых. С набережной эта поляна совершенно не видна за густой стеной из переплетённых стволов, веток, листьев и цветов акаций, но нырнув в неприметный проход между двумя кустами и пройдя на десяток метров вглубь зарослей по едва различимой тропке, ты оказывался вдруг на небольшой, но достаточно вместительной поляне, над которой широко распростёрлись кроны клёнов и конских каштанов. Посередине этой поляны друзья ещё в десятом классе положили два больших бревна, а между ними – громоздкую тополиную колоду, оборудовав тем самым импровизированную гостиную, в которой было так приятно посидеть, выпить пива, покурить и попеть песни под гитару. В сотне шагов Волга – купайся, если хочешь, в полукилометре – речной порт, можно сбежать за пивом и сигаретами, а девчонкам и мороженое прихватить. Удивительно, что за десять лет это место никто, кроме них, так и не обнаружил, лишь пару раз в год сюда добирались городские службы, которые косили непомерно разросшуюся траву, друзья же весь мусор непременно уносили с собой, поэтому на поляне всегда царили идеальная чистота и порядок.

На проводы собрались самые близкие друзья Дэна – всего человек двадцать пять. Кроме привычных брёвен в ход пошли надувные матрасы и скатерти, принесённые из дома, кто-то притащил с собой раскладной стол со стульями – короче, места хватило всем, а кому не хватило, располагался прямо на траве.

Дэн сидел в самом центре поляны за тополиным столом, справа и слева от него расположились Юля и Нина, а напротив – Алексей с Нурой и Валентина со своим женихом Николаем. Длинный летний день никак не заканчивался, и, хотя солнце скрылось уже за крутым волжским косогором, небо всё ещё голубело всюду, летали гигантские голубые стрекозы и легкокрылые бабочки, высоко в небе стригли воздух стрижи, в кассетном магнитофоне звучали модные шлягеры, гости поднимали тосты за отъезжающего, говорили шутливые и серьёзные

напутственные слова, кто-то танцевал, кто-то травил анекдоты – было весело и непринуждённо, как обычно бывает в тесной дружеской компании, где все давным-давно знают и любят друг друга.

Дэну было хорошо и грустно. Хорошо оттого, что сегодня с ним все лучшие друзья, он даже удивился чуть-чуть, увидев их в одно время в одном месте, и порадовался – как же их много! А взгрустнулось оттого, что, может быть, это последняя такая встреча, что он уезжает к чёрту на кулички, что билет у него по сути – в один конец, поскольку он не знает, вернётся ли вообще когда-нибудь.

«Его девушки» были в тот вечер с ним на редкость ласковы и предупредительны, оказывали мелкие знаки внимания: то вина подольют, то бутерброд приготовят, то коснутся ненароком руки или локтя, даже Валентина не отставала от своих подруг, вызывая косые хмурые взгляды и многозначительные шуточки со стороны Николая. Но Дэну казалось, что вся эта забота похожа на суету родных над гробом покойника: все стремятся отдать ему последние почести, хотя в душе уже вычеркнули несчастного из списка живых.

Вдруг из колонок полилась мелодия нового хита, звучавшего этим летом из всех чайников и утюгов:

Снова от меня ветер злых перемен
Тебя уносит,
Не оставив мне даже тени взамен...

Тем летом её пела не модная и раскрученная примадонна попсовой эстрады, позднее прихватизировавшая этот шлягер, а молодая и пока ещё мало известная певица с тихим, немного осипшим голосом, который звучал удивительно проникновенно и так искренно, что невольно верилось ему и хотелось полететь вслед за любимым человеком *жёлтой осенней листвой, птицей за синей мечтой*.

На первых аккордах песни Юля заглянула Дэну в глаза и попросила: – Пойдём потанцуем.

Они вышли на середину поляны, обнялись и стали медленно двигаться под непринхотливую, но проникающую в самую душу мелодию.

Сколько я искала тебя сквозь года,
В толпе прохожих.
Думала, ты будешь со мной навсегда,
Но ты уходишь.
Ты теперь в толпе не узнаешь меня,
Только, как прежде любя,
Я отпускаю тебя.

Они всё теснее прижимались друг к другу, как вдруг почувствовали, что в их пару вклинивается кто-то третий – это была Нина. Они на секунду разомкнули объятия и приняли Нину в свой круг. Дальше танец продолжался на троих.

Каждый раз, как только спускается ночь
На спящий город,
Я бегу из дома бессонного прочь,
В тоску и холод,
И ищу среди снов безликих тебя,
Но в двери нового дня
Я вновь иду без тебя.

И тут под плоские шуточки своего Николая в их трио встройлась Валентина, окончательно сформировав квартет.

Это был странный танец: нежный и горький. Дэн и три его девушки сплелись в неразрывный живой клубок, в котором невозможно было определить, где кончается одна рука и начинается другая, где каждому казалось, что у него не две, а несколько ног, не одно, а четыре сердца, и глаза смотрели на мир глазами трёх других, и простенькая печальная музыка жила в голове каждого, как в одном общем сознании. А неброский, но чем-то цепляющий душу голос всё пел и пел:

Позови меня с собой,
Я пройду сквозь злые ночи,
Я отправлюсь за тобой,
Что бы путь мне ни пророчил.
Я приду туда, где ты
Нарисуешь в небе солнце,
Где разбитые мечты
Обретают снова силу высоты.

И всем казалось, что и правда они придут друг к другу сквозь злые ночи несмотря ни на что и там, на другом конце пути, их будет ждать солнце, нарисованное на небе руками любимого.

Музыка неожиданно оборвалась, и кто-то отчаянно заколотил чем-то металлическим о стекло бутылки. Танцующие невольно остановились и, не расцепляя рук, посмотрели в сторону звука – и в этот момент им по глазам ударила молния фотографической вспышки.

– Фантастика! Вот это будет снимок! – радостно закричал Алексей, делая про запас второй и третий кадр. Девчонки бросились в шутку отнимать его «Зенит», чтобы, как они кричали, засветить плёнку, а он носился от них по поляне и кричал, что он свободный человек свободной страны и никто не вправе нарушать его право на свободу слова.

А потом была целая жизнь. Дэн улетел в Нефтеюганск и устроился рядовым инженером на базу производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования, однако опыт руководства отделом не пропал зря – и год за годом он потихоньку перемещался по длинной служебной лестнице гигантского и сложно устроенного бюрократического механизма. Здесь его никто не называл больше Дэном, а только Денисом и на «вы», правда, на американский манер – без отчества. К своим пятидесяти пяти годам Денис дослужился до заместителя директора по производству одной из дочерних компаний гигантского нефтегазового холдинга. По иронии судьбы эта «дочка» базировалась не на северах, а в его родном городе, и жизнь, таким образом, совершила затейливый кульбит и через четверть века вернула его в начальную точку пути.

За минувшие двадцать пять лет Денис растерял все ниточки, когда-то крепко накрепко связывавшие его с городом: родители умерли, друзья понемногу прекратили общение, даже Алексей куда-то исчез. Первое время Денис активно переписывался и созванивался со своими любимыми женщинами, но Валентина вскоре вышла замуж, сменила адрес и телефон, и связь с ней оборвалась. После смерти матери сменила своё место жительства Юлия, а через год и Нина перестала отвечать на его письма, а домашнего телефона у неё никогда не было. Вскоре

началась эра мобильных телефонов и электронной почты, но Денису негде было взять их электронные адреса и номера мобильных.

Видясь со своими любимыми каждый день, Денис был не в силах расстаться ни с одной из них, но, оказавшись на большом расстоянии, он не то чтобы забыл их, но вдруг перестал чувствовать за них ответственность. Он вспоминал о них с любовью и нежностью, писал им задушевные письма, часто созванивался с Юлей и Валентиной, пока они были на связи, но что-то останавливало его от того, чтобы всё бросить и прилететь повидаться с ними лично. Первые три года он вообще не уходил в отпуск, осваивая сложную специфику нового для него дела и завоёвывая достойное место в компании, и, собственно, в эти три года прежде прочная связь истончилась и незаметно прервалась.

Сначала он этого даже не заметил. Ему казалось, что вот-вот придёт ответ на его очередное письмо, что завтра или послезавтра кто-то из его девушек позвонит ему на работу и сообщит новый номер телефона, но дни проходили за днями, а ничего подобного не происходило. То и дело он давал себе слово, что через недельку возьмёт отпуск в счёт неотгулянных отпусков и улетит к себе на Волгу, найдёт всех своих девчонок, расскажет о своих успехах и перспективах. Валентина, конечно, замужем, но Юлю больше не привязывает к городу больная мать, да и Нина, может быть, изменила свою позицию относительно учёбы сына, возможно, одна из них согласится поехать с ним в Нефтеюганск. Но, как назло, вечно возникали какие-то производственные проблемы, которые нужно было срочно решать, а кроме него, как он считал, с этим никто не мог справиться.

У него стали появляться женщины. Они скрашивали его одиночество, давали выход накопившейся мужской энергии, но никого из них он по-настоящему не любил. Выбирал специально женщин замужних, чтобы не возникало никаких надежд и обязательств, а если надежды всё-таки зарождались, а обязательства женщина пыталась на него взвалить, он быстро ретировался.

За всё время работы в Нефтеюганске он прилетал в родной город дважды – на похороны отца и на прощание с матерью, – но специфика этих траурных поводов не позволяла ему думать о встречах с друзьями и бывшими возлюбленными.

И вот теперь он возвращался в родной город насовсем.

Алексея он встретил случайно. В первый день после приезда Денис решил пройтись по знакомым с детства местам, оживить в памяти лица и события с ними связанные. В глубокой задумчивости шёл он по центральному бульвару, удивляясь тому, что в городе, где он прожил тридцать лет, где в те давние годы ему повсюду встречались друзья и приятели, теперь он не видел ни одного знакомого лица. Это сюрреалистическое ощущение усиливалось тем, что дома вокруг совсем не изменились: вот кондитерская, в которой он покупал пирожное «Наполеон» на сэкономленные от школьных обедов гривенники, вот кукольный театр, в который ходил в детстве и очень испугался Большого Ивана – обычного актёра, который появился на сцене во время представления и по сравнению с куклами показался маленькому Денису настоящим великаном, вот «Детский мир», куда они забегали с мальчишками после школы, чтобы поглазеть на игрушечные автомобили и солдатиков, вот кафешка, где продавали чудесные коктейли и мороженое и где они так любили посидеть с друзьями в студенческие

годы, – дома всё те же, но люди вокруг совсем другие, чужие, незнакомые, а ведь город – это прежде всего люди, и, оказавшись здесь после двадцатипятилетнего перерыва, Денис осознал вдруг, что он вернулся в чужой город, а город его детства и юности навсегда ушёл в область воспоминаний.

Ошарашенный этим открытием Денис присел на скамейку рядом с седеньким, сморщенным, как сухофрукт, старичком. И вдруг с той стороны скамейки, где сидел старичок, послышался знакомый до боли голос:

– Дэн, ты, что ли?

Он повернул голову, и тут сквозь морщины, плешь и седину старика проступили черты его лучшего друга.

– Алексей? Ты? – не веря собственным глазам, воскликнул Денис. Они одновременно вскочили на ноги, бросились друг другу навстречу и крепко обнялись.

Друзья выпили по поводу встречи, и Алексей пригласил Дениса к себе. Теперь он жил здесь неподалёку в маленькой комнатке коммунальной квартиры, доставшейся ему после развода с женой. Пока выпивали в тесной рюмочной, больше похожей на шкаф, и шли к Лёшиному дому, Алексей успел поведать другу свою горькую историю: в девяносто восьмом его бизнес разорился, жена ушла, он стал сильно пить, перебивался случайными заработками, навалились болезни, перенёс несколько операций, в последнее время совсем не пьёт, но раз друг приехал – это святое!

Денис вспомнил, что именно в девяносто восьмом вдруг оборвалась связь с Алексеем. Почему он не приехал тогда? Почему не поддержал друга? Может быть, тогда жизнь Алексея сложилась бы совершенно иначе, а возможно, и его собственная тоже!

Когда пришли в комнату Алексея, уже начинался вечер – в августе темнеет рано. Пока кипятили чайник и Алексей нарезал бутерброды, в доме напротив засветились окна.

– Помнишь, Дэн, как перед твоим отъездом мы вот так же сидели с тобой в моей старой квартире и смотрели на окна? – вдруг вспомнил давно минувшие годы Алексей.

– Помню, конечно.

– Ты тогда ещё толкал какую-то странную теорию, будто живёшь не своей жизнью. Собственно, потому ты и укатил тогда на севера. Ну и как – нашёл ты там свою жизнь?

– Нет, не нашёл.

– Ну, и стоило тогда уезжать?

– Думаю, что не стоило.

– Слушай, – вдруг весь как-то встрепенулся и прояснил лицом Алексей, – а помнишь свою отвальную? Я тут недавно перебирал старые фотографии и нашёл одно фото!

Алексей бросился к серванту, выдвинул ящик, достал из него коробку и стал рыться в её содержимом. Через пару минут он извлёк на свет божий то, что искал, – старую пожелтевшую от времени чёрно-белую фотографию с загнутыми краями.

На фотографии Денис увидел себя таким, каким был четверть века назад, – молодым, красивым, с копной густых тёмных волос, с неугасимым блеском в глазах, справа к нему прижималась белокурая пигалица Юля, слева – мягкая и округлая Валентина с пышной русой косой, а на переднем плане, повернув голову через плечо, прямо в объектив

смотрели чёрные смеющиеся глаза Нины. Все четверо крепко обнимали друг друга и, казалось, только-только прервали свой захватывающий танец.

Голубой монитор по-прежнему мерцал перед глазами. Старик встряхнул головой и снова увидел себя в своём одиноком загородном доме, где поселился после выхода на пенсию и где доживал свои никому не нужные стариковские годы. Очнувшись от наваждения, он понял, что сидит перед монитором много часов, а пост, начатый им ещё утром, разросся до целого рассказа. Но какими словами закончить этот рассказ? И кто станет его читать? Кому интересны поздние прозрения человека, чья жизнь почти вся уже позади?

Наверное, рассказ с интересом прочитал бы Алексей, но он умер в том же году, когда Денис Юрьевич вернулся с северов, вскоре после их последней встречи. Ещё главные героини рассказа, его любимые девушки, тоже с большим удовольствием прочитали бы этот текст – но он так и не смог найти их после возвращения. От общих знакомых он слышал, что все они живут теперь в других городах и даже странах, у них есть дети и внуки, видимо, после расставания с Дэном они всё-таки успели вскочить в последний вагон своего уходящего женского поезда. Он пытался найти их через социальные сети, но так и не нашёл: то ли у них не было аккаунтов, то ли просто не повезло.

Остались только «френды» в социальных сетях с их дежурными лайками и полным равнодушием к его судьбе, но социальные сети – всего лишь пародия на настоящее человеческое общение, бледное подражание подлинным чувствам из плоти и крови, великий цифровой самообман.

Старик посидел ещё немного, перечитал текст только что написанного рассказа, а потом выделил весь текстовый блок и нажал кнопку Delete.

Елена АНТИПОВА

Родилась в 1991 году в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского госуниверситета им Н.И. Лобачевского, Международного института экономики и права (юридический факультет). Работала журналистом, помощником главного редактора в региональных СМИ. Сейчас занимается интернет-маркетингом.

Публиковалась в журнале «Звезда» (повесть «С колокольни город маленький»), на порталах «Год литературы» и «Литературная Россия». Участник X Всероссийского литературного фестиваля имени Михаила Анищенко, XXII форума молодых писателей России «Липки».

Живет в Нижнем Новгороде.

АНКИНА РОДНЯ

Я и раньше замечал, что картошка с поля пропадает. То тут кустик, то там. И, главное, всё вразброс, одна закономерность: лишь бы от дороги подальше. Мне-то и не особо жалко, всё одно потом пыльные мешки грузить в багажник и везти Маринкиной родне: «Мы же сами всё равно не съедим». Но она так этого картофельного вора возненавидела, что вторую неделю не отступается: «Сходи, покарауль!» Боится, наверное, что мать её зимой оголодает без нашего урожая. Пошёл в отказ, а Маринка прищурилась и ласково так спрашивает: «Ты, Серёженька, мужик или ссыкло?»

Посидел-посидел и думаю: а что б и не проследить? Не дело всё-таки, плохо это, воровать. Представил себя в камуфляжном костюме, фуражке и непременно с ружьём за плечами. Ружья во всём доме предсказуемо не нашлось, но на антресоли обнаружился бинокль, дедов ещё, на кожаном ремешке. Таким и прибить можно, если добросишь. Дождался вечера, надел «горку», дождевик на всякий случай, бинокль на шею повесил. Обернулся на треснутое зеркало в дверце шкафа, сам себе понравился и побрёл на дальний усад.

От деревни дотуда километра два по бывшему колхозному полю. До конца деревни шёл всё заборами, заборами. Мы с Маринкой чем хуже? Как решили тут поселиться, тоже заказали себе, глухой, из профнастила. До того у деда забор стоял чуть пониже, дощатый, увешанный по верху горшками и тряпьем. За таким всей жизни не скроешь, но в баню по огороду без порток ходить можно вполне. А с новым забором что хочешь твори, не видно, не слышно.

Вечер тёплый, сухой, с леса тянет пожарищем. Шёл, оглядывался на шорохи, но никого по пути не встретил. Луна светит, что твой фонарь, звёзды колючие, предосенние. Не как днём, конечно, но вполне себе светло. На месте огляделся и понял, что засаду тут устраивать как бы и негде:

поле на то и поле, далеко тебя видать. Можно было бы окопаться, но лопаты я с собой не взял, да и как потом объяснять Маринке внезапную яму между грядками с капустой? Пятился вдоль протянутой по границе проволоки и угодил ногой в щель между створок, закрывавших соседскую компостную яму. Компост – вещество органическое, будущая земля, – ни разу не противно. Так я решил и, откинув сколоченную из досок дверцу, аккуратно спустился на прелое месиво из сорняков и ботвы, заправленное настоянной на колорадском жуке водой. Не очень приятное место, но укромное. Затаился, в щель между створками веду наблюдение.

Она пришла за десять минут до полуночи, и я узнал её сразу. Под лунной и платок разглядел и извечное пальто, потерявшее уже всякий цвет.

Анка Першина, хоть и считалась блаженной, первой была на деревне красавицей. Я, когда малой был, сто раз слышал об этом и старался представить её девушкой, но никак не выходило в мерзкой бабке с лицом прошлогодней воблы разглядеть хоть что-то живое и свежее. Да и видел я её нечасто. Ни в храм, ни в клуб она не ходила, а в магазине появлялась в первый после открытия час, когда летом все были заняты на огородах, а зимой только ещё завтракали. Когда все сплетни заканчивались, продавщица любила прибавить очередную историю про то, что Анка – «Анка-то!» – снова целую сумку «рыбок» набила или скупила всю манную крупу: – «Пенсия-то – копейки. Куда запасы? Сто лет жить собралась?» Все, конечно, дивились гастрономическим предпочтениям одинокой старушки, но не сильно её осуждали. Мало ли, ну любит баба кашу, но ведь и худого ничего не делает. А вот и зря, получается.

Первого мужа Анки, как говорят, убили на войне. На какой, никто не уточнял. Да и знали о нем в деревне в основном по рассказам соседей. Потом вроде как в доме её на выселках завелся бывший уголовник. Откинулся, пошёл себе искать счастья в окружавших колонию деревнях и нашёл Анку. Но счастье было недолгим. Залез по пьяной лавочке в клуб, вынес старый «Рубин» и вернулся в обстановку более для себя привычную. Анка снова осталась одна, нанималась на сезонные работы, но брали её неохотно, хозяйство тянула с трудом. Вот тогда, как рассказывал мне одноногий Прошка, и стали к ней ходить мужики, помогать. В основном не наши, а с соседних сёл. Я его ещё спросил, откуда ему, калеке, про такое знать, а он только подмигнул и губу нижнюю закусил.

Я в компостную кучу будто бы уже и врать начал. Медленно ноги погружаются в скользкую прель. Интересно, оно как вообще, отстирывается? Анка уж и лопатой махать перестала, молодую, едва со сливу размером, картошечку мою от земли отряхивает. Я навёл бинокль, пересчитал клубни: семь. Моменту лучше не будет, понятно же. Вцепился пальцами в рамку, к которой петли крепятся, вдохнул, поднатужился, как на турнике, и башкой распахнул створки. Не придумал только, дурак, заранее, что кричать буду воровке, только и выдал что радостное: «Опа!»

Анка как стояла, свалилась на межу, сидит, за ботву к сердцу картофельный куст прижимает. Не померла бы бабка, думаю, а то ведь сам виноватым стану. Говорю ей: «Всё нормально, мать, я стрелять не буду. Картошку на родину, но чтоб больше ни-ни». А она всё никак не успокоится. Платок назад, космы серые из-под него, лицо сухое и худое, аж жуть. Подошёл. «Давай, – говорю, – помогу». Она смотрит на меня снизу, обе руки вперёд, кукла-Маша-детский-мир. Нагнулся к ней, за подмышки стал поднимать, а она и весит-то, как ведро картошки, будто нет под пальто никакого тела. С испугу пошутил: «И куда это у тебя, мать, всё уходит? Ты ж, как послушать, по десять раз в день себе кашу варишь».

Она толкнула меня в грудь, отряхивает с полы землю. А сама взглядом по низу шарит, куда обронила картофелину. Я первый увидел, возле башмака её, на живую нитку подшитого, поднял. «Так уж и быть, – говорю, – раз выкопала, забирай себе. Обратное всё одно не засунешь». Я надеялся хоть «спасибо» услышать, а вместо этого она мне: «Мало это. Надо ишо». Ну, думаю, старуха совсем обезумела. Твёрдо ей так: «Нет, мать!» А она стоит, и по всему видно, что никуда не собирается. Так мы друг на дружку и пялились. Я первый не выдержал: комары одолели, спать пора, и штаны компостом воняют, скорей бы стащить их с себя. Говорю ей: «Ну? Домой пойдём или как?»

В ответ Анка подняла с земли лопату и с невиданной прытью подковырнула кустик картошки. От наглости такой я все слова растерял. И что с ней делать? Не драться же мне с немощной старухой? «Эй, мать! А ну брось лопату!» – кричу, машу руками, а она клала с горой на мою волю и частную собственность, ещё два соседних куста выкорчевала. Прямо с ботвой скинула добычу в мятый пакет из «Пятёрочки», лопату под мышку прихватила: «Пойдём».

«Куда, – говорю – пойдём? Я этого так не оставлю». Анка уже по себе шлёпает, как не слышит. Кричу: «Завтра полицию вызову, пусть они сами...»

– Завтра – будет завтра. А сегодня пойдём. Покажу чо.

Захолодало, тишина такая, даже медведки не поют. Только Анкин пакет вперёд-назад мотается, задевает по пути полынь и репей. До дому её нужно всю деревню пройти, это если по главной улице. Но она другой путь выбрала. Как заправский вор, повела меня околицей по едва заметной в осоке тропе. Из-за заборов на нас заводились редкие собаки, но всё чаще мы просто шли в тишине, будто вдоль противощумового ограждения на скоростной автотрассе. Когда заборы закончились, я понял, что мы на месте.

Конечно, не раз, особенно в детстве, я пролетал на велике мимо Анкиного дома, но и в мыслях не было, у нас, мальчишек, останавливаться здесь хоть на пару минут. Взрослые только поддерживали наш трепет, подкрепляя его страшилками про живущих обыкновенно на выселках ведьм и колдунов. Я хоть и вырос теперь, но, честно признаться, едва в штаны не наложил от этого ночного приглашения в гости. Хотя тут ещё поспорить можно, что страшнее: быть заживо сваренным в котле ведьмой или снова услышать от Маринки сомнения в моей половой принадлежности.

Мы подошли к дому, отделённому от остальной деревни хлипким штакетником едва мне по пояс. И вот тут уже я всерьёз стал выглядеть за кривыми яблонями сортир: в окнах горел свет, и я поклясться могу, что видел, как там внутри что-то движется, мечется, скачет. Анка открыла дверь в сени и зачем-то втиснула мне в руки пакет с картошкой:

– На, поди, поди. Отдашь им. Они ох рады будут!

А сама лыбится ещё! Я тоже попробовал улыбнуться, но ничего, кроме идиотского кособокого оскала, не вышло. Из сеней поднялись по скрипучей лестнице в дом. И как только Анка распахнула дверь в горницу, пакет выпал у меня из рук, картошка раскатилась по полу: за длинным самодельным столом, по обе стороны которого были составлены в ряды лавки, стулья и кривые табуреты, сидели и лежали обёрнутые в пёстрое тряпье здоровенные то ли личинки, то ли черви с человеческими лицами.

Об игошах мне ещё бабушка рассказывала, но я был уверен, что они исчезли после революции и прихода большевиков, не терпевших

нечисти и прочих идеалистских выдумок. Лишь раз в детстве я видел у пруда анчутку, угостил его конфетой, но играть с ним не стал, побоялся, что бабушка заругает.

– Встречайте, папка пришёл! – Анка толкнула меня вглубь комнаты, к столу. Безрукие-безногие закопошились, извиваясь, начали соскакивать со своих мест, поползли мне навстречу, как гусеницы. Они причмокивали, пищали и посвистывали, глядя на меня снизу своими блестящими чёрными глазками. О запахе компоста от одежды своей я тогда уж не вспоминал, потому что в избе вонища стояла неопишуемая, будто рота солдат после марш-броска обделалась. Я пятился к двери, но Анка обошла меня и задвинула железный засов:

– Да ты не бойся. Думаш, они своих настоящих папок в лицо не знают? Садись. И вы тоже. Щас жрать дам.

Она указала мне на кресло, в котором, по видимости, обычно сидела сама. Я отодвинул неоконченное вязание и слегка прикоснулся ягодичами к засаленной обивке. Анка собрала картошку в эмалированный таз, поставила его на стол, залила водой. Игоши расползлись по местам и внимательно следили за каждым её движением, изредка отвлекаясь на меня.

– Знаш, кто такие?

Я кивнул.

– Ну вот. И как их прокормить, такую орду?

Попробовал пересчитать безруких-безногих, Анка продолжила:

– Ты парень хорошей. Сколько лет не спрашал за урожай.

Я подумал, что впервые заслужил похвалу за собственную лень и нерачительность.

– Всё им. Мне много ли чо надо.

Самый крупный из игош, обёрнутый в свитерный рукав и подпоясанный атласной лентой от торта, подполз было к тазу, но Анка щёлкнула его по носу:

– Мишка, а ну брысь! – она взяла губку и стала отмывать картошку от налипшей земли.

– Это старшой, Игошка Мишка. Как уж я его ждала! Загодя имя придумала. Всё говорят, шо нельзя. Не доходила три месяца, нежилец был. Пётр – царство ему небесное – прикопал его за домом, вот он и повадился у меня столоваться.

Она замолчала, перекладывая картошку в пожелтевший салатник. Нужно было поддержать беседу, я и спросил, невежливо ткнув пальцем в игошу поменьше, запелёнатого в постельное бельё с розочками:

– А этот кто?

Анка подняла голову:

– Игошка-второй, разбойничий сын. На бане угорела, выкинула. Там и лежит, за баней. А этот Игошка Зимний, – она кивнула на свёрток с малиновым личиком, – чой-то его обсыпало опять, смородин, чо ль, нажрался, а?

Игошка не ответил, но сжался пружиной и уменьшился вдвое.

– Ну и сам смотри, дальше чо? Игошка Юбилейный – двадцать лет Победы было в тот год. Это уж дальше я сама наладилась, когда горчицей, когда дустом. – Она заглянула мне в лицо и продолжила, оправдываясь: – Горько, конечно, горько. Но куда дитё без мужика, без родни, без помочи. С работой отказали, чо на птицефабрике, чо в колхозе, в частну не взяли. Говорят, на башку убогая. Так и пошло. Вон сидит, вишь? Игошка Иностранец. Папка его торгаш был, из заграницы.

Называя имена, Анка раскладывала мытые сырые клубни по тарелкам безруких-безногих. Они всасывали их беззубыми ртами и проглатывали целиком.

– А эти: Игошка Строитель, Игошка Тракторист, Игошка Шофёр и Игошка Коммерсант, перестроенный.

Я смотрел, как пустеет салатник с моей картошкой.

– Я-то всё думала, чо если не у дома, так они не найдут меня. А вон как. Не сразу, но все приبلудились. Ишь, зайцы! – Анка ущипнула Игошку Строителя за щеку.

– И что, – спрашиваю, – их каждый день вот так кормить надо?

Анка засмеялась сквозь сухой кашель:

– А тебя самого не каждый, чо ли?

Она подняла на руки Игошку Мишку, сожравшего уже свою порцию, и протянула мне:

– На, ты чо? Дитё ни разу не видал?

Я принял извивающееся тельце, уложил, как, бывало, племянника, на локоть левой руки. Безрукий Безногий рыгнул и улыбнулся мне.

– А как же вы... – не давал мне покоя вопрос, – как же вы их от всей деревни скрываете?

Анка села на освободившееся на скамейке место:

– Чо скрывать? Будто кому дело есть. Поставили себе заборов. Шоб вас никто не видал, ага. Да сами как ослепли.

Мы сидели, Игошка Мишка сосал кожаный ремешок бинокля, рука затекала, когда Анка, спохватившись, вскочила:

– Тьфу, глупая баба, чаю-то гостю и не дала!

– Ой, что вы, – говорю, – не стоит. Мне уж и домой пора.

Протянул ей младенца, тут же захныкавшего.

– Твоя правда. Спасибо.

– Не за что, – говорю, – вы приходите. Вот так же на огород приходите.

Подумал немного и добавил:

– Вам, может, ещё чего нужно?

Она пожала плечами и отодвинула засов. На пороге уже спохватилась:

– У бабы свой спроси тряпки какие стары. На пелёны им.

Я кивнул.

– Лучше трикотажны. А то хлопок-бязь жёстко им, натират.

Светало уже, и пел соловей. Пока шёл, ботинки от росы стали блестящие.

У своего дома остановился, открыл калитку, но заходить не стал. Приподнялся на цыпочки, положил пальцы на острую верхнюю кромку забора, потянул на себя. Упёрся коленом в ребро профинтила, надавил, продолжая тянуть за макушку, а потом и вовсе повис на слегка подавшемся краешке. Со скрежетом несколько секций заборного полотна начали под моим весом выворачиваться из земли. Подставил ладони, принял их бережно, уложил плашмя на траву. Не такой уж он и тяжёлый, за сегодня управлюсь.

Маринка не проснулась. Чмокнул её в лоб, погладил блондинистые космы.

– Чем это воняет? – прогнусила, шмыгнула носом.

– Ничем, – говорю, – ты спи, спи.

– Выследил вора?

– Да, – говорю, – это зайцы.

Александр КРАМЕР

Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. По профессии инженер, участвовал в ликвидации последствий аварий в Чернобыле.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Союз писателей», «Веси», «Дарьял» и других.

Живет в Любеке, Германия.

ДРУГИЕ

Кики

Его зовут Кики. Это не настоящее имя. Так попугайчика звали, который жил в его комнате, еще когда он был маленький, еще когда родители были живы. Попугайчик умел говорить и по сто раз на дню произносил свое имя, вот он его и запомнил. Никаких других слов, к сожалению, больше так и не выучил.

Когда не стало родителей и он вынужден был переселиться в дом для инвалидов, то по всякому поводу произносил, да и произносит, любимое слово – так оно к нему вместо имени и прилепилось.

Кики маленький, кругленький и почти как две капли воды похож на своих сородичей из племени даунов. Впрочем, мы японцев с китайцами тоже друг от друга не очень-то отличаем, но это я так...

Кики добрый. Улыбается целыми днями и готов всегда выполнить все, что бы ни попросили.

Кики трудолюбивый. Он работает в маленьком цехе, где собирает коробочки из картонных заготовок. Сто коробочек, двести коробочек в смену, а то и все триста. Неделями, месяцами, годами... Просто уму непостижимо, сколько это коробочек наберется за все эти годы, но его привели однажды сюда, посадили, показали, что надо делать, – и он собирает.

Кики прилежный и аккуратный. Все, что нужно ему для работы, стоит у него на столе в строго определенном порядке; стоит хоть чуточку этот порядок нарушить, он тут же это заметит, тщательно все поправит и лишь после этого продолжит работать.

Кики собирает коробочки и ни на что почти не отвлекается. Разве что на пару минут, когда, например, бабочка в цех залетит, или зайдет незнакомец кто, или... Впрочем, все достаточно однообразно, поводов для отвлечения не слишком-то много, а так иногда бывает приятно на что-нибудь переключиться, когда ты день за днем собираешь и собираешь одни и те же коробочки.

Периодически, раз, а то и два раза за день, коробочки эти Кики осточертевают, достают до печенок прямо. Тогда он внезапно срывает

с себя очки, швыряет их на пол (благо пол с мягким покрытием и стекла из пластика не разбиваются), затем что есть силы швыряет в пространство очередную коробочку и начинает вопить на одной-единственной ноте: «Ай-яй-яй-яй-яяй...» Замолкнет на секунду – и снова: «Ай-яй-яй-яй-яяй...» И снова... И кулаками размахивает. И слезы текут по щекам.

Так кричит, бедолага, пока не устанет ужасно или пока, с ухищрениями всякими, на него снова не наденут очки. Тогда Кики стихает, сникает, голова опускается, и он задремывает на считанные минуты. Очнется и вновь, как ни в чем не бывало, начинает очередную коробочку складывать.

Мне однажды захотелось понять, что же это такое с ним происходит. Я нашел себе стол, принес ящики с заготовками и стал, как и Кики, из заготовок коробочки складывать. Какое-то время было мне даже и интересно: я старался работать как можно быстрее, точнее, даже соревнование сам с собою устроил. Но развлечением это оставалось недолго. Стало надоедать. И чем дальше, тем больше. И когда через неделю Кики завершал в конце смены свое «ай-яй-яй», мне вдруг непреодолимо захотелось швырнуть все к чертовой матери и заорать вместе с ним – что есть силы. Больше я после этого на себе эксперименты не ставил.

До чего же хорошая штука – свобода выбора. Жаль, что Кики об этом никогда не узнает.

Лиза

Под каким только соусом не подают человека: и разумный он (*homo sapiens*), и производящий (*homo faber*), и играющий (*homo ludens*), и общающийся (*homo communicans*)... Я тоже этим изобретательством зарылся и хочу внести посильную лепту в настоящую классификацию. Предлагаю вам ввести в употребление разновидность: человек собирающий или коллекционирующий – *homo congestus* или *homo collectionis*, выбирайте, как больше нравится.

Добро бы еще всякими там бонистами, нумизматами, фалеристами и филуменистами все ограничивалось. Так нет же, ведь разную, честное слово, дрянь человеки безумные собирают! Какие-то баночки-скляночки, паровозы и автомобили, корабельные рынды и бачки унитаза, вазы ночные и телефонные карточки... Ведь вплоть до ксерофилии зараза эта распространяется.

Редко при этом кто из собирателей в средствах не ограничен. Оттого и идут они на всяческие ухищрения и даже бессовестности, чтобы коллекцию вождеделенную малой – дармовой то есть – кровью пополнить. И никакие методы при этом заторными не считаются. Страсть, одним словом!

Лиза тоже из той же породы коллекционеров. И, как у всякого уважающего себя собирателя, были у нее свои тайные способы, свои маленькие секреты, без каких настоящую коллекцию собрать никому никогда не удастся.

Да, я забыл вам сказать, что Лиза говорит очень плохо, а читать и писать совсем не умеет. Зато умеет расписываться. Закорючку такую ставит – куда там министру! А живет Лизавета на полном государственном обеспечении и из-за этого в средствах ограничена много жестче любого из своих сотоварищей по собирательству. Но страсть – это страсть, и ни с какими преградами и ограничениями она считается не хочет, да и не должна.

Лиза очки собирает. Не оправы, заметьте, а очки – это важно, потому что основное удовольствие состоит в том, чтобы примерить очередную

добычу и увидеть, как мир в очках этих выглядит. Похоже, что она не очки даже, а всевозможные изображения мира коллекционирует, ну и свои изображения в зеркале, разумеется, потому что ужасно хохочет, до коллик просто, когда в зеркало смотрит, попеременно снимая и надевая очередную обнову.

Вот теперь рассказать пришло время, как коллекция Лизина пополнялась. Этого долго никто не понимал. Просто Лиза являлась с очередной прогулки вся сияющая, раскрасневшаяся, возбужденная... И все тогда знали – в коллекции пополнение. Но однажды за Лизой вслед явилась шикарная дама вся в растрепанных чувствах, в истерике просто, и орала как ненормальная, что у нее только что, наглость какая, отобрали очки, которые стоят...

В общем, так это происходило. Увидев очки, возжелав их, Лиза с милой улыбкой подходила к несчастной жертве, выказывая последней свое величайшее расположение и восхищение, пыталась даже обнять и поцеловать... Таким образом усыплялось внимание, появлялась возможность подобраться к очкам вплотную. Затем очки неожиданно с жертвы сдергивались, и – эффект неожиданности увеличивал преимущество – хитрая Лизавета сломя голову убегала.

С тех пор как тайное стало явным, Лиза гуляет только под неусыпным надзором, но из уважения к ее страсти чьи-нибудь старые очки ей иногда отдают, а иногда – это немисливо просто – она все равно исхитряется пополнить свою коллекцию старым испытанным способом.

Юрик

Юрик пришел к нам в пятом классе. Папа у Юрика был очень известный ученый-химик, профессор, автор бесчисленных книг и изобретений. А вот мамы не было. Она вскоре после рождения сына мужа с ребенком бросила и сбежала неизвестно куда, потому что Юрик инвалидом родился, умственно неполноценным, и не смогла она, и не захотела с таким ребенком жить и возиться.

Юрик пришел к нам в пятом классе потому, что папа-ученый долго не мог смириться с неполноценностью своего ребенка, в специнтернат его отдавать не хотел ни за что, воспитывал дома с помощью своей старшей сестры-педагога. По той же причине и в нормальную школу отдал (как уж он все препоны, связанные с инвалидностью мальчика, обошел – остается только догадываться). Думал, наверное, что так будет лучше, что так, среди нормальных детей, разовьется он больше. Да мало ли что он думал. Я ведь все это только предполагаю.

Я помню, как все это началось. Мало того, теперь понимаю, что это неизбежно должно было произойти, ведь в любом классе обязательно есть завистливое, мерзкое шакальё, которому слезы чужие в радость, кому чужая боль – сладкий праздник.

Однажды, я запомнил уже, по какому поводу, нас – всех мальчишек – пригласили в профессорский дом. Ах, какие игрушки там были! Я до сих пор помню всеобщий щенячий восторг от невиданной никогда огромной железной дороги, радиоуправляемых и электрических автомобилей, работающих экскаваторов и подъемных кранов, огромных оловянных солдатиков в какой-то необычайной амуниции, а пушки стреляли, а танки и автомобили двигались... Ещё там роскошный был, удивительный просто аквариум, и колли, и кот персидский...

На другой день нас вывели в сквер напротив школы, и Юрик каким-то образом или же с чьей-то помощью отбился от класса. Его стали искать и нашли сидящим на другом конце сквера в кустах, с землей за шиворотом, измазанного какой-то дрянью. Так и пошло. Юрика все время старались как-то унижить. Но основным развлечением было, тихонько подкравшись, сдернуть с него штаны и толкнуть в спину; тогда неловкий и толстый Юрик барахтался с голым задом посреди коридора на потеху многочисленной публике. Еще надрессировали, что когда подносят кулак к лицу и спрашивают, чем пахнет, то отвечать нужно, что салом, а чтоб побыстрее дрессировался – били. Еще множество и других имелось придумок, но первые две были основными и пользовались неизменным успехом, а потому и применялись чаще других.

Когда я перешел в седьмой класс, родители получили квартиру, мы переехали, меня перевели в новую школу, и Юрик на время из моей памяти выпал. Я перешел на последний курс политехнического, когда какое-то дело привело меня в мой старый район. Я остановился возле молочного магазина, чтоб прикурить, и вдруг из него вышел Юрик – растолстевший ужасно, огромный; он крутил над головой пустую авоську и мурлыкал под нос непонятно что.

– Юрик, привет, – окликнул я.

Он остановился, продолжая крутить авоську, и замолчал, свесив голову набок.

– Юрик, ты меня помнишь? Как дела, как папа, как тетя?

Юрик похлопал себя ладонью по голове, ухмыльнулся и стал по порядку, монотонно, отвечать на мои вопросы.

– Не помню. Дела хорошо. Папа работает. Тетя умерла. Послали за молоком. Молока нет. Сказали, прийти в три. Сколько времени?

Я хотел посмотреть на часы и непроизвольно сжал левую руку в кулак. Увидев мой жест, Юрик переменялся в лице, отступил поспешно назад и с этого, как ему казалось, безопасного расстояния выпалил:

– Пахнет салом! Салом пахнет! Сам знаешь!

Потом ткнул в меня указательным пальцем и прошептал:

– А штаны, пожалуйста, не надо снимать.

Страус

Вначале было больно и страшно. Будто наказали – неизвестно за что – и забыли простить. И не захотели простить. А потом он стал страусом. И все страхи, и боль ушли понемногу. И, казалось, совсем, навсегда.

1

ЗПР иногда называют – задержка психического развития. Это когда твои сверстники болтают уже давно смешные всякие глупости, а ты все молчишь и молчишь, все малыши рисуют уже и лепят, а ты все никак... Это когда ты почти совсем такой же, как все, но только почти.

А ужасное самое, что эту задержку и ты сам, по тому, как относятся, тоже чувствуешь, понять только не можешь, за что, отчего же так!

2

Отставание было совсем-совсем крошечное, так что и читать, и писать, и считать – всему выучился, вот только с логикой выходило всегда

плоховато, но школу, пусть специальную, по облегченной программе, окончил все ж таки.

После, когда стал жить в маленькой общежитской комнатке, – сам даже не сразу привык, что больше никто задевать, потешаться, бить и мучить не станет. Но внутри еще долго какое-то гадкое ожидание оставалось, что сейчас войдет кто-то и что-нибудь очередное пакостное и выкинет. А когда стучали, аж вздрагивал. Но понемногу проходить опасения эти стали, и внутри заживало все, успокаивалось.

3

Долго не мог ни к какому делу прибиться, никакой работы не находилось, никак. Очень хотелось, во-первых, чтобы получалось все сразу, сразу и замечательно, но так не выходило, а его, как казалось, донимали за это, подначивали, и смириться не мог, понять, что это нормально, что у всех поначалу так... Слишком уж в интернате досталось, чтобы снова терпеть. А во-вторых, где попало работать не мог и не собирался. Обдирающий руки ржавый и жирный металл, вонючие жидкости, гудящие конвейеры, грохот кузни – все это было ужасно, отвратительно, казалось бездушным и потому безобразным.

Так много месяцев продолжалось, пока не занесло однажды в парк аттракционов. Здесь и остался работать, страусом, потому что никто не шпынял, не дергал да и учиться ничему особенному не пришлось: он ходил по аллеям, раздавал воздушные шарики и играл с малышами – все просто и замечательно.

4

Он отчего-то выделил ее сразу; ужасно понравилась, просто не передать; все замирало внутри, когда видел; иногда переходил потихоньку за ней с аттракциона на аттракцион – любовался – и даже дома светился потом, будто праздник.

Она чуть не каждый день приходила, после обеда и уже, почти что всегда, до закрытия оставалась. Вот только он все никак подойти познакомиться не осмеливался – стеснялся.

Наконец, отважился, и вечером, в свой выходной, дождался у выхода, подошел, протянул темно-красную розу и застыл – безмолвный, смущенный, весь внутренне сжавшись от робости, переживания... Но она ничего, только хмыкнула с надменной улыбочкой, глазки широко-широко открыла, плечиком повела, губками пошевелила, будто сказать что хотела, да передумала и удалилась, как вроде его и не было; а он следом пошел, поодаль чуть; проводил до самого дома, счастливый и этим – донельзя.

И на завтра пришел. Тоже с розой. И когда цветок протянул, вдруг смутился необыкновенно, еще больше, чем в первый раз, пунцовый такой сделался... даже сам нестерпимый жар этот чувствовал. А она снова хмыкнула, распахнула, повела, гримаску капризную скорчила... Протянула небреженько:

– Ладно, поклонник, пойдем, где-нибудь посидим. – И пошла себе, не оглядываясь, с вялой полуулыбочкой.

5

Пять раз уже виделись. Только она никогда веселой такой не бывала, как на качелях и горках. А так хотелось развеселить, увидеть

замечательную улыбку, услышать, как хохочет от удовольствия... Тем более что не сказал, где работает.

Он подошел неожиданно к ней на аллее в своем страусином нарядном костюме, преподнес галантно всегдашнюю красную розу и внезапно... вместе с шеей снял страусиную голову.

Она сначала совершенно оторопела, как вкопанная замерла, а потом на губах вдруг гримаса прорезалась – чудовищная, уничтожающая, хохотать начала – презрительно, и смотрела, как на пакость какую-то, и стучала себя по лбу, и у виска крутила, и такую гадость сказала!.. Так к выходу и направилась: оборачиваясь, гримасничая и крутя у виска; а он без сил на лавочку опустился и застыл – подавленный, уничтоженный – полуживой...

6

– Ты что, сломался, сломался? – строго спрашивала огненно-рыжая девчушка в замечательном розовом платье, настойчиво теребя его за рукав. – Сломался, да? Почему ты молчишь как рыба! Отвечай!

– Нет, не сломался. – Он, наконец, вынырнул из ниоткуда и мотал головой, не в силах сосредоточиться, осмыслить, кто же это и чего от него хотят. Наконец, удалось все же взять себя в руки, собраться:

– Ты глупая, человек сломаться не может. Он не машина, – и внезапно улыбнулся непроизвольно, такая она была серьезная и смешная. – Я просто устал, понимаешь?

– Понимаю, конечно. Только почему ты сидишь здесь без головы? Разве без головы отдыхают? Ладно, я вижу, ты уже хорошо отдохнул. Надевай свою голову снова, и идем искать мою маму. Я, кажется, потерялась. Ну вот, с головою намного лучше. Теперь бери меня за руку и идем, наконец, искать, а то мама, конечно же, вся избегалась. А тебя каждый день здесь можно найти?

– Почти каждый, я же работаю.

– А выходные?

– Выходные у меня в понедельник и вторник, а в другие дни я обязательно (под ноги смотри) обязательно в парке.

– Я смотрю. Мы тебя здесь тогда в невыходные найдем и будем вместе гулять – я, ты и мама. Договорились?

Ревнивый

У него была маленькая круглая голова на длинной жилистой шее, широкий зад, узкие покатые плечи и большой отвислый живот. Теперь, когда он сидел, живот растекся у него на коленях бесформенным студенистым холмом, и он изредка нежно и сосредоточенно оглаживал его двумя руками.

Когда он вошел и сел на свободное место в последнем ряду, лицом к задней стенке троллейбуса, надменного вида дама, рядом с которой он сел, немедленно встала и отошла, сделав брезгливую мину. Поэтому он сидел теперь совершенно один, разместившись свободно посередине сидения, и что-то беззвучно сам себе объяснял, слегка размахивая руками и вяло гримасничая. Иногда, когда обычных доводов не хватало, он вдруг начинал неистово жестикулировать, и гримасы его становились ужаснее и выразительнее. Временами он поднимал руки вверх и бурно

раскачивал ими так, будто это – трава под ветром в степи. Было видно, что он получал от этого какое-то особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие, потому как на лице его тотчас появлялось выражение благодати и блаженства.

Так коротал он время за чудесной беседой, пока взгляд вдруг не упал на двух изящных вертушек – рыженькую и блондинку, – стоявших справа у окна, на площадке. Вертушки громко смеялись, щебетали и были и вправду по-весеннему чудно милы. И от этой неожиданной красоты он даже как-то затормозился, невероятным змеиным движением, ап, поправил ставшую вдруг помехой шею и, срочно закатав до колена брючину вельветовых синих штанов, стал подтягивать канаречный носок и шнуровать красный ботинок – прихорашиваться. Покончив с этой, важной во всех отношениях, процедурой, снова, ап, поправил змеиным движением шею и медленно стал переводить взгляд с одного чудесного видения на другое, с одного – на другое... Видимо, рыженькая понравилась ему больше, потому что он уставился на нее и застыл, свесив руки и приоткрыв в обожании рот. Наконец, рыженькое создание окончательно утвердилось в его душе в качестве фаворитки, и внезапное чувство пустило волшебные корни. Grimасы блаженства стали набегать на лицо его волнами, руки стали крутиться быстро-быстро, как крылья ветряных мельниц... Он был влюблен! Он был счастлив необыкновенно!

Откуда он только взялся, этот патлатый верзила! Гнусность какая! Поцеловал ее даже! И вторую! Это было ужасно, это было с ее стороны такое предательство, такая измена... Он немедленно «сделал шеей», нахмурился, гневно выпятил губы, вытянул ногу и топнул. Он ревновал! Он мучался! Он бил кулаками воздух и грозно скрипел зубами!.. Он... Но все было напрасно. Измена была очевидна! Постепенно стало приходить понимание тщетности, пока, наконец, окончательно в нем не утвердилось. И такая тоска появилась на лице, безысходность такая... А потом он как будто смирился. Не то чтоб покой, но успокоенность пришла в его душу. Он взял свою левую руку правой и погладил себя ею по голове, одновременно мурлыкая что-то под нос. Постепенно светлая грусть овладела им, глубокая светлая грусть. Откинувшись на сиденье, он погладил живот, повелительно стукнул себя кулаком по колену и принял решение.

– Встать! – скомандовал он себе – и резко поднялся.

– Штаны подтянуть! – скомандовал он себе – и штаны были срочно подтянуты.

– Шеей ап! – скомандовал он себе – и она подчинилась.

Теперь все было кончено. Трудности преодолены. Пора было двигаться дальше. Гордо закинув голову, он вышел на остановке, подошел к каштану, цветущему у обочины, обнял его... и горько-прегорько заплакал.

Музыкант

Когда одним и тем же автобусом едешь изо дня в день, к одному и тому же времени, то большинство пассажиров узнавать начинаешь и даже здороваешься. Вот мы с ним таким образом около года и сталкивались.

Он где-то раньше садился. Когда я входил, он уже сидел на своем излюбленном месте в центре салона и, отрешенно уставившись перед собой, слушал какую-то музыку.

Был он ужасно худой, нескладный, щеки запавшие, узкие губы совершенно бескровные, жидкие волосы висели длинными прядями и редко бывали расчесаны, а в руки вьелось какое-то бурое вещество, с которым он, видимо, постоянно работал; и всегда у него на шее висел яркий плеер, а в ушах торчали наушники.

Спокойно он не сидел ни минуты, что-то все время беззвучно напевал, осторожно, боясь зацепить соседа, водил перед собою руками – дирижировал, даже подпрыгивал несколько от возбуждения; при этом некрасивое, длинное лицо его постоянно менялось: он улыбался – восторженно, осторожно, саркастически и вдохновенно... он гневался и печалился, отчаивался и вновь надеялся... Лицо его отражало бесконечную гамму чувств и их всевозможных оттенков. Я за это про себя называл его «музыкантом».

Дважды мне удалось музыканта увидеть вне автобуса. Первый раз он шел с какой-то седой женщиной – такой же, как он, худой и к тому же невероятно высокой. Плеера в этот раз на нем не было, и, может быть, потому музыкант выглядел жалким, чем-то невероятно напуганным: голова его была низко опущена, бедняга шарахался от прохожих, вздрагивал, если вдруг к нему кто-то нечаянно прикасался, двумя руками цеплялся за руку худой великанши, зябко жался к ней... Так карманная собачонка, спущенная на землю, без всякого повода в страхе жметя к ноге хозяйки.

А второй раз музыкант был один, и родной его плеер был с ним. Двигался музыкант довольно плохо: ноги при ходьбе заплетались, тело раскачивалось, голова на худой длинной шее моталась как маятник... Но при этом он даже не шел, а летел, глаза были полузакрыты, руки двигались широко и свободно, точно он управлял невероятно огромным оркестром; еще, казалось, он пел – восторженно, упоенно, и лицо его при этом освещалось ликующей, победной улыбкой.

День был субботний, центр кипел праздным, хаотично шатающимся народом, но ему было все равно: в своем самозабвении он люд этот просто не замечал; он врзался в него, как форштевень врзается в воду, и толпа, как вода, расступалась, не в силах устоять перед этим напором, перед этой энергией всепоглощающего вдохновения.

И я поймал себя вдруг на том, что завидую музыканту, завидую остро тем удивительным чувствам, которые он, должно быть, теперь испытывает. Правда, должен признаться, что зависть моя продолжалась всего одно только микроскопическое мгновение.

Нинель и Ираклий

Когда-то она была очень красива! Удлиненное лицо обрамляли волнистые волосы цвета гречишного меда, глаза были светло-зеленые, колдовские, а веснушки придавали лицу чудесную прелесть и просто сводили с ума. А потом она заболела. Так же, как и брат, которого теперь уже нет. Болезнь неумолимо заковывала ее тело в панцирь, почти сразу отняла возможность ходить, а теперь уже даже руки двигались

еле-еле. Недуг прогрессировал, но происходило все мучительно медленно, и каждый новый день нес новую, невыносимую боль; никто во всем мире ничем не мог ей помочь.

Чтобы не оставаться все время одной и хоть как-то отвлечься от боли, она попросилась на работу в маленький цех предприятия для инвалидов, где укладывала какие-то инструкции на дно картонных коробок – это она могла пока еще делать. Здесь они и познакомились.

В равнодушной своей жестокости природа дала ему силу и красоту, а разум отняла почти весь: он не разговаривал, не читал, не писал, но понимал и мог делать довольно много. И работа в прачечной была у него, по меркам этого заведения, сложная и ответственная.

А тут он ее увидел, и с ним что-то случилось – непонятное, необъяснимое, что оказалось сильнее ущербного разума, выше издевательской воли природы. Будто душа его непонятным образом разглядела в этом бесплотном, неподвижном почти существе с реденькими тусклыми волосиками, ввалившимися щеками и узким беззубым ртом – изящную, удивительную красавицу, какой была она множество лет назад, и прикипела к ней, и больше жить без нее не могла.

Он носил в кошельке ее фотографию, ту, где она сидит в кресле, протягивает к нему руки и улыбается, и всем подряд – знакомым и незнакомым – фотографию эту показывал. Подойдет, достанет бережно из портмоне, подержит недолго у вас перед глазами, будто жалуясь, разведет руками недоуменно и пойдет, сокрушенно качая кудлатой большой головой.

Стоило выпасть свободной минуте, как он немедленно шел в упаковочный цех, к ее столику. Подойдет, снимет с нее пепельный паричок (не любил отчего-то), натянутый, точно шапка, до самых бровей, и гладит, гладит по голове, потом поцелует осторожно бескровные губы и пойдет по своим делам.

На этой работе, как и на всякой другой, людям положен отпуск. Ну и ему дали отпуск, две недели сказали на работу не приходить. Но он, к удивлению многих, все равно приходил, каждый день, точно к началу рабочего дня, и стоял неподвижно у двери, и подолгу, неотрывно смотрел на нее.

С тех пор, что он появился, жизнь изменилась так сильно! Стоило ей его только увидеть, только почувствовать его приближение, как на серых щеках проступала бледная краска, на бескровных губах появлялось подобие слабой улыбки, боль отступала, и она вся подавалась ему навстречу.

Какое же это необыкновенное счастье, когда есть замечательный друг, которого можно попросить о чем только угодно. Он часами катал ее по дорожкам парка, осторожно кормил мороженым из ложечки, водил в кино, гулял с ней по городу, завозил в магазины и безропотно ждал, пока она насладится чудесным видом нарядной одежды, обуви, украшений... Боже мой, сколько же удовольствий и радостей пришло вместе с ним! Изредка они даже отправлялись в маленькое путешествие: он закатывал ее в электричку, и они ехали, ехали... Он даже домой к ней заходил иногда, но только вел себя очень странно: сядет в низкое кресло, упрется локтями в колени, обхватит лицо ладонями и сидит неподвижно часами, смотрит не отрываясь, не дыша, а потом встанет вдруг и уйдет; даже не поцеловал ее дома никогда, ни единого раза.

Работа – это работа, от нее устаешь, особенно когда неподвижно сидишь в инвалидном кресле и даже позу переменить нет ни малейшей возможности. Когда эта усталость становилась невыносимой, она

протягивала к нему худенькие, бессильные руки, и он немедленно, сломя голову спешил к ней на помощь. Поднимет из коляски, прижмет к себе, как драгоценность, нежно и крепко, и ходит, и ходит кругами по цеху, будто танцует, а она положит голову к нему на плечо, обнимет за шею и улыбается тихо, и глаза сияют, будто два тихих, чудесных огня, будто два тихих, чудесных, уже нездешних огня.

Мартин

1

И всегда одни и те же унылые стены. И всегда одни и те же опостылевшие, невзрачные, постные лица. И вечно одно и то же, одно и то же! Совершенно ничего, никогда в тоскливой, безнадежной этой и безотрадной жизни не происходило. И так годы, и годы, и годы...

И вдруг в этом заурядном, безотрадном, мышинном существовании возникает – парк аттракционов! Карусели, качели, паровозик и горки; океан сумасшедшего, необузданного веселья, заразительного, неудержимого хохота; нескончаемый парад клоунов, карнавальные шествия, уморительные кортежи; и петарды, и гроздь разноцветных шаров, и толпы беспечального люда... и музыка, музыка, живая развеселая музыка, до самых бездонных, голубых с зеленым небес...

А перед самым уходом – в громадном кафе под разноцветными зонтиками – их напоили превкусными, ароматными соками и накормили мороженым в огромных вафельных фунтиках, которые, хохоча и заигрывая, разносили по столикам расфуфыренные огненно-рыжие клоунессы и игривые ведьмочки; и было так весело, так необычайно весело...

И на память об этом ошеломительном, волшебном событии остались у Мартина оранжевый резиновый шарик с какого-то аттракциона и чайная ложечка, которой он ел мороженое.

Ложечка была из блестящей красной пластмассы и такая необыкновенно красивая, что он моментально прикипел к ней всем своим существом и больше ни на минуту расстаться ни с ней, ни с шариком оказался не в состоянии. Потому что и шарик, и ложечка были дивным, неизгладимым воспоминанием, отголоском чудесного, давным-давно растворившегося во времени, но ни капельки не позабытого, не потускневшего в памяти праздника.

С этих пор шарик всегда лежал у него под подушкой, и Мартин перед сном обязательно с ним прощался. А ложечку он повсюду носил с собою и ел все только ею. То, что нельзя было есть драгоценной ложечкой, – не ел вовсе. Только на ночь выпускал её из своих рук, клал под подушку рядом с оранжевым шариком, последний раз до неё дотрагивался и только тогда засыпал.

2

Дом, в котором он прожил почти всю свою жизнь, уже и до того, как он в нем поселился, был очень старым, но за последнее время он обветшал совершенно, и однажды им объявили, что в нем надо сделать основательный, капитальный ремонт, и поэтому все они – все до единого – переселяются. За годы, что он здесь провел, у него, как и положено, накопилось множество разнообразных, ненужных и нужных, вещей.

Всё подряд забрать на новое место почему-то не разрешили, и он, не в силах решить, с чем можно расстаться, весь свой драгоценный скарб бесконечно перебирал, сортировал, перекладывал... Времени отвели совсем мало, суета в доме стояла из-за этого страшная, нервотрепка ужасная... и когда они все, наконец, переехали, оказалось, что оранжевый шарик на месте, а ложечка, его драгоценная красная ложечка – потерялась. Нигде, нигде не было!!!

Он бродил, бродил и бродил по всем новым комнатам как потерянный. Слезы то и дело наворачивались сами собой на глаза. Дыхание спирало. Одна щека от безостановочной нервотрепки стала подергиваться. Ему казалось, что здесь всегда холодно, все внутри и снаружи от этого холода мелко дрожало. Есть он больше не мог, потому что есть стало нечем. Никакие другие ложки и вилки он не признавал, видеть не мог, дотронуться был не в состоянии... Через несколько дней голод, видимо, стал таким невыносимым, что он попытался есть суп из кастрюли горстями – оказалось так мерзко, что он тут же бросил и больше ни к какой еде вообще не притрагивался.

Его всякими способами старались уговорить, предлагали хотя бы попытаться есть что-то руками – например, курицу или мясо. Он устроил скандал, закатил невиданную истерику и даже попробовать хоть кусочек чего-нибудь наотрез отказался.

На шестой только день у медицинской сестры, наконец, появилась здравая, но совсем не простая идея – ехать в парк аттракционов. Так давным-давно та экскурсия состоялась! Все с тех пор как угодно могло измениться. Но попытка не пытка. Все лучше, чем ждать и надеяться неизвестно на что. Кто назвался, тот, как говорят, и попался: по этому принципу медсестру же в поездку и отрядили.

Она возвратилась из командировки лишь поздним вечером, уже после ужина, и – о чудо – привезла две точно таких же красных пластмассовых ложечки! Одну из них сразу (на всякий пожарный случай) спрятали в надежное место, а другую – выманив Мартина из его комнаты – положили ему под подушку, рядом с резиновым шариком, где ночью всегда и лежала – будто сама отыскалась, будто, как в сказке...

И он, наконец, успокоился и мог снова есть и дышать. И, хотя бы на время, стал счастлив.

Матрён и Матрёна

Это множество лет продолжалось, в любой день и любую погоду, стало частью местного колорита. Злоязычные аборигены перекресток улиц Речной и Ткацкой, где это происходило, «углом дураков» окрестили. Так название и закрепилось в топонимии местной – навечно.

1

Матрёна всегда первая появлялась. Придет утречком, часам к десяти, сядет на лавочку под навесом возле центральной почты, платочек цветной или шарфик на шею поправит, руки чинно на толстых коленках сложит и сидит неподвижно – ожидает. Потом Матрён прибывает. Неспешно движется, невозмутимо, и подсолнух пластмассовый – чуть не в настоящую величину – перед собой несет гордо, с сознанием собственной значимости. Едва Матрён к скамейке приблизится, Матрёна

встает, глазки скромно потупит, с ноги на ногу переминается, ладошку, ковшиком сложенную, Матрёну протягивает. А Матрён здороваться не торопится, в небо глядит, о чем-то важном раздумывает, вроде как Матрёну и не замечает: он тощенький, ниже Матрены на полголовы, но мужское свое достоинство блюдет неукоснительно. Наконец, заметит-таки, любезность её и скромность кивком головы одобрит, руку подаст, цветок любимый, к которому никому дотронуться даже не позволяет, Матрёне протянет, по плечу благосклонно похлопает, и усядутся они после всех этих церемоний на лавочку рядышком: улыбаться станут, в пространство глядеть и радоваться друг дружке.

Сидят не очень и долго. Ровно столько, наверное, чтобы приятное общество ни капельки не надоело, чтобы радость общения нисколько не притупилась. Потом почти одновременно встают, и Матрёна первым делом, глазки потупив, владельцу подсолнух замечательный возвращает; Матрён подсолнух возьмет, осмотрит придирчиво, листочки погладит, удостоверится, что цветку ни малейшего вреда не причинили, и лишь после этого милостиво Матрену по плечу крутому погладит; затем поручкаются друзья на прощание и до завтра в разные стороны разойдутся. И все это без единого слова, без единого лишнего жеста – ритуал, церемониал, театральное действие.

2

Матрёна умерла ночью, внезапно. Заключение врачей был кратким: апноэ – остановка дыхания. Матрёну никто, разумеется, о смерти Матрены не сообщил – кому б это было нужно, зачем? – и он, как всегда, пришел к лавочке возле почты, стал как вкопанный перед пустым местом, где его бесчисленное число лет неизменно встречала Матрёна, и стал ждать, не в силах представить, что она не придет.

День шел своим чередом. С каштана у почты падали на Матрёна желтые листья, мимо сновали равнодушные люди, катились машины, трамваи... Иногда набегала туча и недолго шел дождь. Прекращался. Набегал коротко снова... Матрён стоял неподвижно в мелкой лужице среди опавшей листвы, держал крепко, двумя руками подсолнух и ждал. Ждал, ждал и ждал.

Уже стало смеркаться, когда мама-старушка нашла Матрёна там, где и не ожидала найти – ведь он только утром сюда и приходил, никогда больше к почте не возвращался. Она попыталась было заставить его вернуться домой, но он ни за что не хотел уходить, стал кричать, упираться... Старушка плакала, уговаривала, пока не поняла, что сегодня самой ей с сыном не сладить, – и вызвала скорую.

Матрён еще несколько раз приходил к заветному месту, но только теперь, по просьбе матери, почтовики вызывали врачей немедленно; а потом, когда медикам стало понятно, что просто так навязчивость эту не устранить, бесконечно долго держали Матрёна в больнице, кололи, давали таблетки и после еще много месяцев без сопровождения вообще никуда не пускали.

С тех пор Матрён с утра до ночи бродит с подсолнухом как неприкажанный по всему городу, по центральным улицам и глухим переулкам... Иногда появляется он и возле центральной почты, но никогда возле лавочки не останавливается, даже к ней не приближается.

Не знаю, может, он понял что-то и Матрёну свою где-то в других местах ждет и ищет, а может, это только домысел мой. Не знаю...

Тина

Видели ли вы когда-нибудь, как Тина здороваются? Ах, не видели! Тогда вам непременно нужно это увидеть, непременно.

Комната, где складывают инструкции для берушей, довольно большая. В ней сидит человек двадцать, каждый за своим столиком. У Тины тоже есть такой столик, он стоит у окна, прямо возле входа, но она никогда не сядет за него сразу, а сначала остановится в дверях и надменным, всевидящим взором оглядит помещение – все ли на месте. Затем не спеша, с достоинством высокородной дамы подойдет к каждому, небрежно, снисходительно даже, протянет крошечную полную ручку и голосом еле слышным, расслабленным, с интонацией высокомерной, даже презрительной несколько... нет, не произносит, выдавливает: «Тина. Здравствуйте».

Да и как еще можно с вами здороваться и к вам относиться, если вы даже не помните, что ели на завтрак первого мая прошлого года. И вообще, что вы помните?! Пять дней рождений, десять праздников? А дни рождения всех, кто с вами знакомился когда-либо? А все поездки за город в мелочах и подробностях? А где вы находились... Да что с вами, слабопамятными, без толку разговаривать.

В столовой у Тины свое персональное место. Другие могут сидеть, где хотят, но она – Тина – должна сидеть только здесь и ни за что не потерпит, чтобы ее права ущемлялись; и если кто ненароком займет ее место, мгновенно превращается в фурию. Ее полное, надменно-робкое личико багровеет, она вопит что-то нечленораздельное, щеки прыгают, губы дергаются, руки грозно молотят воздух, даже может ударить.

Здесь к такому поведению не привыкли, поэтому Тина всегда одна-одинешенька, с ней даже не разговаривают, а вот напугать могут запросто, чтобы хоть как-то отомстить за противный характер. Напугать ее очень просто. Достаточно крикнуть: «собака», как Тина приходит в ужас, забивается в дальний угол, дрожит там и плачет. А уж вида живой собаки совсем не выносит, и на прогулке ее нужно крепко-прекрепко держать за руку, потому что если любую, даже карликовую, собачку случайно увидит – убежит – не догоните.

Зато работает Тина превосходно. Ни у кого нет такого рабочего места! Все разложено наилучшим, наирациональнейшим образом, в строгом порядке – неукоснительно соблюдаемом. Потому получается все замечательно, с максимальной скоростью, чисто и аккуратно. Мало того, она еще успевает в окно поглядывать и все, что там происходит, запоминать до мельчайших, невероятных подробностей: кто, когда приезжал, что делал, с кем разговаривал, во что был одет... Проверять бесполезно: все будто вгравировано в память.

Если вы как-нибудь попадете в комнату, где складывают инструкции для берушей, Тина обязательно поднимется с места, подойдет, в своей единственной и неповторимой манере протянет вам руку, назовется и непременно спросит, как зовут вас и когда у вас день рождения. Если вы ей это расскажете, можете быть абсолютно уверены – теперь в этом эгоистичном и беспмятном мире есть кто-то, кто будет вас помнить всегда.

Максим СИМБИРЕВ

Родился в 2000 году в Саратове. Окончил юридический колледж. Студент Института филологии и журналистики Саратовского госуниверситета им. Чернышевского.

Публиковался в «Литературной газете», в журналах «Знамя», «Нева», «Филигрань». Участник «Мастерских АСПИ», «Мастерской Захара Прилепина», семинаров-совещаний «Мы выросли в России», «Химки». Призер международного конкурса «Верлибр».

Живет в Саратове.

ТРОФЕИ

Я был еще ребенком, когда дед проговорился о трофейном Walther P38. Мой прадед обезоружил немецкого офицера под Сталинградом, а пистолет после войны закопал на даче, где-то у сарая. Я ни разу не подал виду, что мне интересен «вальтер».

Дед умер, когда мне было двадцать два. Родственники быстро забросили дачу, и тогда я отправился на поиски. Дождался, пока земля немного просохнет после майских дождей.

Я будто рыл окопы вокруг ветхого сарая! Мне казалось, что он рухнет, настолько я раскопал все вокруг. Раз за разом в мокрой земле попадались лишь дождевые черви. Пока копал, думал, что совершаю какой-то обряд – воскрешаю мертвеца. Вокруг было тихо, и только моя лопата почти в такт пронзала землю, словно долгое вступление в седьмой симфонии Шостаковича. Я почти уже смирился с тем, что дед выдумал красивую легенду о своем отце. Уже до крови стер руки, когда нашел большую металлическую коробку из-под чая. На крышке была картина Репина «Дуэль Онегина и Ленского».

«Вальтер», почти в идеальном состоянии, лишь немного потертый, был завернут в газету «Красная звезда» и чем-то смазан, возможно, солидом. Мой взгляд упал на заголовок: «Герои Сталинграда». Я резко взял пистолет, моя рука была в крови, земле и смазке. Посмотрел на затвор «вальтера» – Р. 38 ас 41. Я словно открыл в детстве киндер! Пистолет изготовлен именно на заводе Walther, а не где-нибудь еще! Я представил, как прадед врывается в окопы немцев, они бросают оружие и поднимают руки. Нет, не так. Солдаты Красной армии берут в кольцо армию Паулюса, Паулюс сдается, и мой прадед лично забирает у него «вальтер».

Еще в коробке лежали рассыпанные патроны 9 мм и отдельно магазин. Я положил их вместе с пистолетом в пакет, завернул в черную майку, которую специально взял из дома. Убрал в рюкзак. Я выпрямился и стал выше на десять сантиметров. Взгляд стал тяжелым, челюсть квадратнее. Походка стала уверенной, словно в голове на повторе играли песни группы «Кровосток».

Я даже рассказал Сане о находке. Друг заверил, что у него есть оружейное масло, протирка и ветошь, поэтому пистолет можно смазать у него. Заядлый авантюрист и коммунист, Саня хранил у себя незаконный ТТ и запоем читал Ленина. Он единственный из моих знакомых осилил собрание сочинений вождя. И уверенно заявлял, что все понял.

Саня открыл дверь.

– О! – я удивился его сиренево-зеленой олимпийке. – Ты больше не коммунист?

– Не важно, во что ты одет, важно то, что ты думаешь. Ленин так писал.

На патефоне играла грампластинка «Смуглянка». Саня рассказывал, что пластинку выпустили осенью сорок четвертого в Ленинграде, спустя всего девять месяцев после того, как освободили город от блокады.

Когда Саня взял «вальтер», его брови потянулись к переносице. Свежевыбритая голова закачалась влево-вправо. Почти килограммовый пистолет прыгал из одной руки в другую. На стене висел устрашающий портрет Че Гевары. А рядом смотрели куда-то вбок, в светлое будущее, Маркс, Энгельс и Ленин.

– Наших убивал, – сказал Саня.

Друг в шутку направил на меня пистолет. Я представил, как офицер вермахта, похожий на ястреба в форме, хладнокровно стрелял из «вальтера».

– Вполне мог. Можно будет по бутылкам пострелять, ты из «токарева», а я из «вальтера», круто же.

– Ты еще скажи на охоту пойдем, русских зверей убивать. Я тогда прямо здесь тебя застрелю.

– Да ладно, по бутылкам можно. Я даже немецкого «козла» куплю.

– Все у тебя немецкое. Лучше выкинь, это плохая вещь.

Я хотел добавить, что только у него, у сумасшедшего, оживают вещи, но передумал, чтобы не обидеть друга. Да он и Ленина мечтает воскресить с помощью московских высоток...

Попросил Саню помочь смазать пистолет, потому что сам не умел. Он с отвращением начал разбирать «вальтер». Я смотрел, как затвор со стволом уходят вперед, словно по рельсам. Саня обмакнул ветошь в масле и начал небрежно протирать разобранные части. Я боялся, что он что-нибудь сломает.

Пока друг копался с «вальтером», я с его разрешения взял в шкафу «токарев». Рядом с ним лежали другие советские артефакты, в силу которых верил Саня, – альбомы с марками, значки, пластинки.

На щечке полимерной рукоятки «токарева» была советская звезда. Это мой любимый пистолет, характеристики я помнил наизусть. Начальная скорость пули четыреста двадцать метров секунду, мой «вальтер» проигрывает на целых шестьдесят пять метров! А прицельная дальность пятьдесят – тут уже ничья.

Собирая «вальтер» обратно, Саня сказал:

– Стрелять, думаю, будет. Но лучше выкинь.

Я обрадовался и еще раз предложил завтра выпить в окрестных степях, заодно и пострелять по бутылкам. Друг согласился.

На следующий день мы вышли из города, когда было около шести вечера. Пролезли под трубами и оказались в поле. Под ногами врассыпную прыгали сверчки. Впереди была только степь. Мы отошли подальше и кинули рюкзаки на одинокий камень, который напоминал чью-то могилу. Достали по бутылке «козла» и «жигуля». С лицом Сани было что-то не то: он сжимал челюсть, зачем-то наклонял шею, и жилы были похожи на шалаш из веток.

– За Маркса?

– Не хочу за немца пить, – обрубил Саня. – Из-за них все через жопу в мире.

– А за Энгельса?

– Да что ты про немцев все? И он туда же. Надоели, я и портреты выкину.

– А за Ленина?

– За Ленина давай.

Саня говорил обрывисто, после резко открывал рот, будто бы гавкал без звука. Его глаза были безынтересными. Видимо, я один мечтал пострелять по бутылкам.

Мы выпили по три пива, и я сказал, что пора все-таки пострелять. Саня часто моргал, смотрел то в небо, то в поле, то на город позади. Достал «токарева» и предложил устроить дуэль. Прикалывается, подумал я. Саня вставил магазин с патронами в рукоятку и вытянул правую руку вперед.

Спрашивал друга, из-за чего, зачем и с какой стати нам стреляться, но он молчал. Зачем ему меня убивать? Я достал из рюкзака «вальтер» и магазин, снаряженный патронами. Щечка рукоятки обожгла мозоли. Пока копался, услышал скрежет металла за спиной. У «токарева», в отличие от «вальтера», не было рычажного предохранителя, и Саня уже мог выстрелить, то есть убить меня.

– Иди на восемь метров, – твердо произнес Саня. Нацелил «токарев» на меня и держал его так, будто всю жизнь служил в спецназе. Я же никогда не стрелял и был только плохим теоретиком.

– Да ты прикалываешься, Онегин недоделанный, для чего?

– Становись, говорю. Нацист, мля, литератор. У тебя был шанс. Я говорил – выкинь. А ты? Выкинул? Пострелять хотел, нацист? Сейчас постреляешь! И для справки, неуч, Онегин никого на дуэль не вызывал.

Похоже, здесь и вправду неуместно вспоминать дуэли Онегина и Ленского, Гринева и Швабрина, Печорина и Грушницкого, Кирсанова и Базарова, Безухова и Долохова, кто там еще... Ставрогина и Гаганова, Лаевского и фон Корена, Николаева и Ромашова. Все это написано, тем более половина без смертей. Фарс вокруг больше напоминал поединок Одоевцева и Митишатьева. А в жизни кто стрелялся? Лермонтов? Пушкин? Из декабристов кто-то, они же погибли, значит, и я умру.

– Да какой я нацист? У меня прадед в Сталинграде воевал.

– Знаю. Бежал с Манштейном или залег на дно. – Саня сделал паузу, затем добавил. – Сволочь ты!

– Ты реально из ума выжил? Или это «токарев» тебе говорит? Давай, убей друга, стреляй, раз тебе пистолет так говорит.

– «Токарева» не трогай. Это ты, придурок, стоишь с нацистской хренью! И я еще из ума выжил?

– Сань, я все понимаю. Но прадед обезоружил немца. Я же рассказывал...

– Отходи, сказочник.

Что чувствует человек, когда в него попадает пуля? Тем более пуля «токарева» 7,62 мм, которая пробивает бронежилеты второго класса, пробивает десять сантиметров красного кирпича, открывает замки, простреливает каски, ломает кости...

Разошлись метров на десять, я специально отходил подальше. Комары надо мною рассекали степной воздух, кусали, но я не отмахивался, чтобы не провоцировать Саню. Стоял ровно. Пистолет опустил. Мне казалось, что комары – его истребители и они уничтожают меня потихоньку, по частичкам. Друг выстрелил первым. Громкое ТАХ, словно петарда взорвалась. Без секунданта, без предупреждения, без планки. Я даже и понять ничего не успел. Он промахнулся. А ведь стрельнул же. Он нажал на спусковой крючок. Курок ударил по ударнику, ударник по капсюлю патрона. Пуля пролетела со скоростью четыреста двадцать метров, чтобы вышибить мои мозги. Саня хотел меня убить.

Представить, как умираешь от пули, не так трудно, раскаленная железка летит сквозь живот, да? Почему живот? Почему не грудь, шею, голову, руку, ногу? В руку-ногу выживешь. Лучше уж в голову тогда, чтобы не мучиться.

– Стреляй, нацист! – крикнул Саня.

– Я не нацист. И прадед мой не нацист, он герой войны! Ты реально отбитый. Выдумал неудобного и захотел убить? Так, что ли?

Саня промолчал. Я резко дослал патрон в патронник, у меня затряслись потные скользкие руки, и пальцы сами потянулись нажать на спусковой крючок. Будто бы я и не владею пистолетом, а пистолет владеет мной. Сжал «вальтер» двумя руками. Может, заблокировать ударник или вынуть магазин или поднять руки пока не поздно? Я выстрелил в воздух. Слева рядом со мной отлетела гильза.

– Что, не фурыжит побрякушка? Моя очередь, – утвердил Саня.

Я зажмурился.

– Давай, сектант, жги!

Опять промахнулся. Моя рука спазматически дергалась, указательный палец тянуло нажать на спусковой крючок. Прямо сейчас. Убить Саню. Передо мной стоял друг. И вот уже он начал дико раздражать, как раздражали комары. В целике размывался то Саня, то мушка пистолета. И я выстрелил. Друг упал практически молча, издал какой-то звук, не открывая рта. Пуля попала в ногу, видимо. Я бросил «вальтер» и побежал к Сане.

– Гнида ты эсэсовская. Стой! Стой на месте. Мы еще не все!

Пока я бежал к нему навстречу, ТАХ, Саня выстрелил еще раз, без предупреждения. Я все равно бежал к нему.

– Сань... в больницу надо. Ну, ладно. Хочешь – убей меня. Вот я стою. Стреляй. Но я не нацист и никогда им не был, отвечаю.

Я видел, как друг не хотел стрелять, как дрожали его руки, как Саня ставил и убирал указательный палец на спусковой крючок, снова ставил и убирал. Друг выкинул «токарев», и при падении, ТАХ, пистолет самовольно выстрелил. Одна из бутылок «козла» развалилась на осколки. Саня лег на спину. Из его ноги сочилась кровь.

– Сань, я не нацист.

– Да понял я.

Друг снял олимпийку и сам перетянул рану. А может, Саня чему-то сопротивлялся и только поэтому промахивался?

– В скорую звоню.

– Чтоб нас загребли? У меня знакомая мед закончила, наберу ей.

Саня постоянно трогал ногу, запрокидывал голову и слегка жмурил глаза. Приехала подруга – смуглая девочка, с виду лет шестнадцать. Приехала с водой, антисептиком, марлей и пинцетом, словно мы и правда были на войне.

– Придурки! – сказала она. Больше ничего не говорила.

Держал друга как мог. Думал, что он будет кричать и сопротивляться больше, но Саня был сдержан, только нервно дышал, будто бы не хотел позориться перед смуглянкой. Повезло, что пуля застряла в мякоти и не задела кость.

Комары безжалостно съедали нас. Мы взяли раненого под руки и доволокли до труб, откуда вызвали такси. В машине не перекинулись ни словом. Довезли Саню до дома.

Он был одиночкой: сбежал от родителей, ушел из универа, успел развестись, устроился сторожем, поэтому перед кем-то оправдываться, почему нога перебинтована и в крови, ему не нужно.

Я убедил, что пистолеты необходимо выкинуть с моста в Волгу. Друг согласился, затем уснул. Смуглянка легла рядом.

На освещенном фонарями мосту ветер дул то с одной стороны, то с другой, бывает ли такое? Пистолеты полетели вниз и при касании с водой образовали нечто похожее на взрывы. В наушниках играла «Смуглянка». А потом Rammstein Reise, Reise.

Татьяна ЯРЫШКИНА

Родилась в городе Котласе Архангельской области. Окончила филологический факультет и аспирантуру Сыктывкарского госуниверситета по специальности «русская литература».

Печаталась в журналах «Москва», «Нижний Новгород», «Мир Севера», «Ротонда», «Начало века», «Волга – XXI век», «Традиции & Авангард», «Байкал», «Подъём», «Берега», «Дальний Восток», «Сибирь» и в других периодических изданиях. Автор трёх стихотворных сборников: «Дуэль» (2017), «Верблюжья мотивы» (2019) и «Залог выживания» (2022). Стихи вошли в шорт-лист VI Международного литературного тютчевского конкурса «Мыслящий тростник» (2018). Живет в Сыктывкаре.

ДО ТЕБЯ

Ради правды

Чем страшнее – тем ближе к правде.
Не оставь меня, Божий страх!
И сомнения, не оставьте:
Есть ли правда в моих словах –

Или только исканье сути,
Но вслепую да наугад?
Вы, сомнения, не забудьте,
Что слова мои говорят.

Столь отчаянные порою.
Слишком часто.
Почти всегда.
И пускай – только рот закрою –
Растекаются, как вода,

Сомневающиеся мысли:
Всё ли правда?
Верна ли суть?
Не понять до скончанья жизни –
Страх, ведущий на Страшный Суд.

Домой

Стало слишком тесно мне с собой.
А куда пойду, к кому другому?..

Почему-то хочется домой –
Именно тогда, когда я дома.

Надо выбираться из себя...
Сразу станет легче и светлее.
Кажется, что я уйду – любя,
Хоть любить-то, правда, не умею.

Может быть, уйду – к себе как раз,
Где-то спрятанному, но родному.
Оттого ли дома мне подчас
Хочется домой, что я – не дома?..

Что превыше

Не легче, но терпимее беда.
Не меньше, но терпимее потери.
Душа моя, решишь терпеть всегда.
И раз надежды нет – учиться вере.

И чтобы стала постижима суть
Того, в чём вера всё-таки превыше
Любых надежд, сначала позабудь
Свой ропот, если даже он услышан.

На отклик не надейся... Не о том
Раздумывай, когда же лучше станет.
Стань лучше – ты!
Об этом об одном
Молись своими грешными устами,

На снисхожденье не надейся. Верь,
Что перетерпишь, если будет хуже –
А будет! – от беды и от потерь.
И Бог услышит, что тебе Он нужен.

Достучусь

Стучусь неустанно в закрытые двери,
А мне не откроют никак...
Но – Господи, слышишь? – я всё-таки верю,
Пройдя сквозь сомнения мрак:

Однажды откроется мне. Если долго
Я буду стучаться.
И пусть –
Пока безо всякого смысла и толка.
А выдержу – и достучусь.

Я помню – о Господи, разве забуду,
Раз память кричит и во сне? –
Как Сам Ты хотел совершить это чудо:
Войти, достучавшись, ко мне.

Вошёл.
А теперь на Своём же примере
Даёшь осознать как урок:
Любовь достучится во всякие двери,
И надо лишь выдержать срок.

До Тебя

Ты – берег, никак до которого не доплыву:
Относит течением дней.
Ты – сон мой, никак не сбывающийся наяву,
В бессоннице дум и страстей.

Ты – Слово, никак не постигну которого суть
Среди громогласия слов.
Ты – нота, не взять мне которую, не дотянуть:
Ни слух мой, ни дух не готов.

А надо, как скрипку, настраивать струны души –
И взять эту ноту суметь.
А надо отринуть слова – и в сердечной тиши
Принять это Слово и спеть.

А надо будить свою жизнь, её лишь одну –
Не думы о ней – возлюбя.
И может, осилю течение, не утону,
Дерзая доплыть до Тебя.

* * *

Как угодно, а всё-таки новая песня нужна.
Я хочу изменить бытия своего времена.
И продолжить – насколько получится – Время своё.
Вот оно-то и пусть эту песню подольше поёт.

И продолжит – насколько получится – песня меня,
Всю мою и любовь, и надежду, и веру храня.
Только новыми, свежими нотами преобразив.
Это будет ещё не освоенный мною мотив.

И другие, пока не проникшие в душу слова.
Чтобы песня была обновлённою жизнью жива.
Чтобы в песне мой дух возродился в неведомый срок,
Выражая себя – выпевая себя между строк.

Обновляя собою тоску по весне, по стране –
По всему, что воспето не мною, но дорого мне.
Всю неслышную радость мою, непонятную грусть...
В этой песне-то я и воскресну, и всё же вернусь.

Александр КОВАЛЕВ

Родился в 1949 году в Донецке. Окончил Московский энергетический институт. Инженер-энергетик по образованию, доктор технических наук, профессор, академик ПАНИ. Одновременно более 40 лет профессионально работает в литературе. Поэт, публицист, автор двух десятков книг поэзии и прозы.

Лауреат премий Ленинского комсомола, имени св. блг. князя Александра Невского, имени маршала Говорова Законодательного собрания и правительства Санкт-Петербурга и других.

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

ПИСЬМА С СЕВЕРА

(из армейской тетради)

*Мом братьям, военным летчикам России,
работающим сегодня в небе Донбасса,
посвящается.*

*Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло...*

К. Симонов

1. И все же душа привыкает...

И все же душа привыкает –
пусть медленно, издалека –
к пронзительной ругани чаек,
к тяжелым, сырым облакам,
к белесым простудным рассветам,
к дежурной команде «НА ВЗЛЕТ»,
к восточным просоленным ветрам,
летающим от Карских ворот.

И все же душа привыкает.
Настойчиво с каждым из дней
вживается в сосны и в камень,
в сигналы маячных огней.
В умение прятать усталость –
шутить у друзей на виду,
небрежно и не по уставу
снимать гермошлем на ходу.

И все же душа привыкает
однажды и наверняка
к почтовому катеру «Кайра»
с далекого материка,
к бессоннице после отбоя,
к жилью на семи сквозняках...
И только к разлуке с тобою
привыкнуть не хочет никак.

2. Не тревожься, родная...

Не волнуйся, родная, что адрес мой
так неточен – «лишь цифры без слов».
В гарнизонах от Крыма до Амдермы
не бывает других адресов.

Не тревожься тревогой досадливой,
что конверт твой меня не найдет.
В гарнизонах от Крыма до Амдермы
почтальоны – толковый народ.

Не грусти, что порою нежданной
заштормила погода у нас.
В нашей жизни от Крыма до Амдермы
катер связи – надежная связь.

Напиши поскорей, не откладывай,
доверяя конвертам простым.
В нашей жизни от Крыма до Амдермы
знают цену таким голубым.

3. Разведчик погоды

14-й-бис
дюраля тонкий лист,
спецслужба, тихоход
запрашивает взлет.

14-й-бис-
туман лилово-сиз,
радар ослеп, как крот, –
ПРИКАЗЫВАЮ:
Взлет
по штатной полосе.
Курс — 87.
Задача — отыскать
«окно» в квадрате 5.

– 14-й-бис,
как слышите, радист?
Дай сводку, капитан...

Туман, туман, туман,
ни зги, ни зги окрест.
Горючего в обрез.
И с высоты стрелой
на ощупь, как слепой.
В зрачках тупая боль
при видимости – 0.
Заправка пять минут.
Туман, как творог, крут,
а эскадрилья ждет.

– 14-й, взлет!..

14-й-бис,
пожалуйста, прорвись.
Курс – 6, квадрат 2-й.
Ищи, ищи, родной.
Отставить слово «нет»,
ты должен взять просвет.

– 14-й-бис,
как слышите, радист?
Я первый, жду ответ...

– Курс 20...
Есть просвет...
Под нами океан...

– Вас понял, капитан.
14-й-бис,
ПРИКАЗЫВАЮ: Вниз.

4. Я об одном тебя прошу

Когда в наушники сквозь шум
эфир потрескивает грозно,
я об одном тебя прошу:
не доверяй дурным прогнозам.

Пусть бьет тревога в провода,
пророчит шторм метеосводка.
Моя заветная звезда
горит надежно и высоко.

Мою заветную звезду
не перепутаешь с другою.
Она сквозь всякую беду
взойдет над взлетной полосой.

Но если даже в белой мгле
я на сверхзвуке выйду мимо,

поднимут звезды на крыле
полки от Амдермы до Крыма.

И ты услышишь, как в ночи
над пеленой дождя и снега
горячий воздух зазвучит
и звезды высыпят в полнеба.

И ты увидишь в этот миг
и, может быть, узнаешь даже
в созвездии друзей моих
мою звезду на фюзеляже.

5. Я вернусь на заре

Я вернусь на заре, вот увидишь.
В сапогах простучу на крыльцо.
Ты ко мне удивленная выйдешь,
запрокинешь навстречу лицо.

Прядь со лба золотую отбросишь
молча ткнешься щекою в плечо.
Ни о чем меня больше не спросишь, —
я тебя не спрошу ни о чем.
Просто губы вплотную приблизишь,
просто руки сомкнутся в кольцо...

Я вернусь на заре, вот увидишь,
только ты выходи на крыльцо.

Маргарита ШУВАЛОВА

Родилась в 1969 году в городе Кстове Горьковской области. Окончила Горьковский госуниверситет имени Н. И. Лобачевского, Российский новый университет. Работала машинисткой, станочницей на деревообрабатывающем предприятии, оператором ЭВМ, швеей-мотористкой, советником городской муниципальной службы, специалистом департамента соцзащиты населения, журналистом.

Автор поэтических сборников «Бабочка», «Точка сближения», многочисленных публикаций в периодике.

Член Союза писателей России. Живет в Кстове.

К БЕРЕГАМ ЭТИМ ДОЛГИМ БЫЛ ПУТЬ...

* * *

Сверчков полночная свирель в травинках лета
Из дальних слышится полей и рядом где-то.
Стрекошет звонко мир ночной в зелёных чашах,
И сон снимает, как рукой, волной бодрящей,

Что льётся песнею без слов созвучьем строчек.
В единстве маленьких хоров её источник.
Он пробивается в ночи, теплом согретой,
И поительно звучит дыханьем лета.

И тяжесть сброшена с ресниц, и с сердца тоже.
К рождению утренних зарниц твой путь проложен.
Ты не идёшь – летишь за ней вплоть до рассвета.
И этой песни нет милей, чем песня лета.

Путница

Шла она лица не закрывая,
Встречу шла озлобленным ветрам,
Шла одна, слепая,
в Божий храм,
Сердцем лишь дорогу выбирая.

Ноги сами светлую вели,
Благодать ей сердце возвещало,

Слепоты душа не замечала,
Видя и без глаз красу земли.

Слухом осязая шум ручьёв,
Птичий всполох, голоса ребячьи,
И колоколов разлив звенящий,
И Творца вселенскую любовь.

Лишь на миг, дыханье облегчить,
Замедляла шаг, и вздох глубокий
Вырывался птицею из легких,
Чтобы Божью милость восхвалить.

За любовь, что отроду дана,
И за силу странствий налегке,
И за прочность посошка в руке
И за жизнь, что музыкой полна...

Встреча

Моим: бабушке и деду

Солнце плавает над головой,
В зыбь студёную жар толкает.
Ты мне ноженьки, Пьяна, омой
Ведь поди ж тебе не чужая.

Заявилась с других берегов
И привязана к ним глубоко,
Но во мне моих предков кровь,
Что зажглась от твоих истоков.

Не от холода сердце дрожит –
От нахлынувшей вдруг печали...
Их дороги длинною в жизнь,
как и ты, по земле петляли.

А теперь и следа не найти.
На погосте трава по пояс...
Ты прости меня, Пьяна, прости,
Что живу не о том беспокоясь.

Обросли словно сорной травой
Дни мои в суете оголтелой,
Враз не смыть и святою водой,
Что налипло на душу и тело.

К берегам этим долгим был путь
Сквозь потери и дым сумасбродства.
Мне б сейчас с головой занырнуть,
Сбросив камень тяжёлый сиротства.

Но стою над водой в забытьи
И цепляюсь за дно ногами,
Словно силюсь в песок прорасти
Воскрешёнными влагой корнями.

«Караван»

Размякло всё живое от жарыни.
В июльский полдень,
В несусветный зной
С нелёгкою поклажей, чуть живые,
Старушки из садов бредут домой.

Не знающие праздного покоя.
Весь век за хлеб и жизнь
У них борьба.
Такое это семя трудовое.
Такая неизбывная судьба.

И в дождь, и в зной торопятся, как к детям
К клочкам земли
С корзинами забот,
И каждый день я вижу на рассвете,
Как караван садовничий плывёт.

Находят неслучайно ж где-то силы,
С землёй не расставаясь, старики.
Наверно, без неё бы всех скосило:
Не с голода б зачали – от тоски.

И каждый раз, с улыбкою встречая,
Гвардейцев героической страды,
Хочу, чтоб их поток был нескончаем,
Не сиротели б старые сады.

Липовый цвет

Воздух солнцем июньским прогреет.
В скверах липы густой аромат.
Загляделась на липовый цвет,
Словно в детство вернулась назад.

Будто мама стоит за спиной.
В милом облике прежняя стать,
Тот же голос спокойный, родной:
– Дочка, липу пора собирать...

Дух медовый, с июньской ленцой,
Словно в прошлое тянет к ветвям,
За соцветьями с жёлтой пыльцой.
Вот нарву их и маме отдам.

Льнут так ласково сами к рукам.
Запасёмся! И хворь нестрашна!
– Расскажи, как тебе, мама, там
В небесах?

А в ответ – тишина,

Ни словечка... Зови, не зови...
Сквозь листву пробивается зной,
И стою в этой сладкой пыли,
Словно к липе прилипла душой.

* * *

В груди накалившийся провод
С утра затрудняет твой вздох,
Но хмурое утро не повод,
Предсказывать: «День будет плох...»

Пусть небо над черной тропею
Безумствами молний грозит,
И ливень меж мной и тобою
Как струны стальные висит.

Ты эту природную прихоть
Прими без намека на грусть,
А я за спиной твоей тихо,
Как в Храме Святом помолюсь.

Аркадий ГОНТОВСКИЙ

Родился в 1959 году в городе Прокопьевске Кемеровской области. Учился в Сибирском металлургическом институте. Работал в шахте.

Публиковался в журналах «Невский альманах», «Бег» (Санкт-Петербург), «День и ночь» (Красноярск), «Союз писателей», «Страна озарения» (Новокузнецк), «Каштановый дом», «Звезда Рождества» (Украина). Автор сборника стихов «Неутолённые огни».

Живет в Прокопьевске.

ТОНКИЙ СОН

Ноктюрн

Так что же было изначально:
Печаль, летящая во мгле,
Нашедшая приют случайный
В зажжённой лампе на столе?
Глухих дождей осенний морок
В тоскливом свете октября,
Когда тебе уже за сорок,
И сонный шёпот фонаря
Над спящей улицей дороже
Пробелов стынущего дня?
Я помню ночи. Ночи в дрожи,
Их свет откуда-то со дна
Мерцаньем схватывал в потоке
Тебя,
Идущая во мгле.
Но индевело на востоке,
И лампа гасла на столе.
Дни жили как-то между прочим.
Печаль и свет, соединясь,
Под лампою – творили ночи
Воображаемую вязь:
Где звёзд накал, где ночь слезами,
Где ритмы сердца – в силуэт
Вдыхали жизнь. Росло сказанье
О женщине, которой нет.
Ненайденной слагались строки
С пометкой наверху Н.М.,
Но индевело на востоке.
День оставался глух и нем.

Случайно или неслучайно.
Приснилось. И оборвалось.
Но светит, светит сумрак сквозь
Зажжённой лампы свет печальный.

Бирюзово поле

Где тот далёкий берег,
Тот бирюзовый дол?
Сердце сочтёт потери,
Неба попросит в долг,

Неба и сонных капель
Призрачного дождя.
Время отложит скальпель,
В сторону отходя.

И я шагну на волю.
Пусть на исток зари
Сон в бирюзово поле
Вынесут сизари,

Там от небес покоем
Воды струит родник,
Он исцелит, омоет
И с тишиной сроднит;

С той тишиною древней,
Коей помина нет,
Где в колыбели дремлет
Новорождённый свет.

...Небо ладонь положит,
В синь перешепчет сон.
Тихо, как тихо, Боже,
В светлом поле Твоём.

* * *

Переболеть в себе земное
И больше не глядеть назад.
Пусть в небе звёзды тишиною
Со мною вновь заговорят

О чём-то накрепко забытом
В непроходимой суете,
Где дни, заезженные бытом,
Как ни раскрашивай – не те.

И я не тот, когда хватало
Глаза прикрыть и, налегке,

Из шумной пустоты квартала
Шагнуть к сияющей реке,

Где нежное дыханье сада
Соприкасается с волной.
Смотреть и слушать, и не надо,
Не надо вечности иной.

* * *

Сквозь нескончаемый январь,
Сквозь ночи, напролёт,
По-над моим окном фонарь
Продрогший свет поёт.

Он что-то помнит и тогда
Раскрашивает снег,
Так осыпается звезда,
Заканчивая век,

И падает с небес янтарь
Не нужный никому,
Лишь очарованный фонарь
Поёт, пронзая тьму.

* * *

На взгорке берёза, за нею луна.
И видится мне, что сама тишина
Стоит в золотом ореоле,
Качая младенца в подоле.
Он спит. Он ещё ничего не сказал,
Молчанье его наполняет слеза,
Но надо попробовать снова;
И каждой вселенной, и бездной миров
Рождаться и длить недосказанность снов,
Пока пробуждается слово.

* * *

Очарованье сказки зимней,
Напевное по серебру.
Но мне милее шумных ливней
Полёт и плач по сентябрю.

И снятся мне весна и осень
Среди безмолвия зимы,
Когда скрипят земные оси
И замерзают птичьи сны.

Бреду, бреду, а из-под снега
Горит рябиновая кисть,

И столько в ней тепла и неба.
И тишина, как чистый лист.

Напевно серебрится иней,
Вздохну, и краткий миг спустя
Душа обнимет город зимний
И улыбнётся, как дитя.

ТОНКИЙ СОН

Чуть слышным шёпотом разбуженный,
Бесплотный дух на грани сна,
Я жду. Струится тонких кружев
Исполненная тишина:

Ни звука, только вздох случайный,
Скольженье света, сны и грусть
Непреходящая, как тайна,
Я к этой тайне прикоснусь;

И сон и явь в безумном танце
Сойдутся и обрушат ночь,
И в исчезающем пространстве
Возникнет вздох и канет вновь.

И нет ни жизни, нет и смерти,
Лишь сон, как продолженье сна,
Где свет уставший знаки чертит,
И пишет, пишет письмена.

Из будущих книг

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЛАЗАРЕТ

Фрагменты книги

Фреска вторая. Южная стена

Алексей

Леса, тайга. Человек это медведь. Он родом из тайги. Его чудом не подстрелили. Он ушёл, сминая лапами бурелом, страшно ревел, зализывал раны, зализывал прошлое. Вот ещё один затерянный в тайге пряничный городок призрачно восстал из слоёных снегов. Меня здесь не в тюрьму определили – Бог дал роздых от решёток и прочных замков: меня поселили в чернобрёвенный тёплый, щедро натопленный дом, там в каждой комнате, и в гостиной, и в столовой, и в кухне, и в каждой спальне печка уютилась. В кухне – громадная русская печь, в таких печах раньше крестьяне мылись; в других комнатах – голландки и подтопки. И все хозяин исправно топил. Рано утром, ещё затемно, растапливал. Я блаженствовал в тепле. Чувствовал себя царём в тереме. Предложил хозяину: давайте я у вас Литургию буду служить? В гостиной! А впрочем, где хотите. Где скажете.

Хозяин, крепкий старик, плечи шире слуги, погладил смоляную курдючную бороду: да ведь я старовер, мил человек. Раскольник я. По-старому крещусь, по-старому молюсь. Два перста священные, наибольший чуть согнут, смирение это пред Господом, а три, наименьшие, и одинокий, наисильнейший, вот они-то слагаются во истинную и неделимую Троицу. Вашими троеперстиями сами себя презренно, торопливо солите,

аки осетра на зиму. А вашему Никону завсегда проклятья посылаем! Нет у Бога ни староверов, ни нововеров, ни иноверов, тихо сказал я. Креститесь как хотите. А только Литургия Иоанна Златоуста она и есть Литургия Иоанна Златоуста. И делу конец. Никто её не переписывал с четвёртого века, никто на кострах не сжигал. Хотя, может, кто-то и хотел. Да не смог. Молитесь со мной, рядом вставайте! Христос и Тот на Голгофе грешника простил. Если мы возлюбим друг друга, а не возненавидим, точно в Раю будем!

Так получил я разрешение служить. И совершал Литургию Иоанна Златоуста и Василия Великого и Всенощное бдение. Вместо диакона у нас была диаконисса, престарелая супруга хозяина, старше его на много лет; я думал сначала, это мать его.

Из снега, вьюги и тумана на пороге, в клубах пара, как конь, явился ко мне старик монах; он попросил рукоположить его во иеромонаха. Глядел на меня, глаза расширив.

– Что ты так смотришь, отче?

Монах прикрыл глаза морщинистыми тяжёлыми веками.

– Я вас во сне видел. Такого, как вы есть.

– Во сне? Да разве это диво? Нам всем снятся сны.

– Но я видел вас, вас.

Я вынужден был согласиться.

Литургию служил, за Литургией старика во иеромонахи рукоположил. Передаётся огонь веков. Мы никто не знаем, как и кому мы будем огонь передавать; но кому назначено его нести, тот несёт, из рук не выпускает. Сейчас тюрьма казалась мне сном. И, как во сне, творил я, следом за Литургией, тяжелейшую операцию врождённой катаракты трём мальчикам, слепой тройне, и они прозрели, и мать их бросалась передо мной на колени, ползла за мной на животе и целовала край моей рясы. Я клал руку ей на голову и плакал вместе с ней. Мальчики, после того, как я снял повязки, сидели на кровати и жмурились. Им больно было посмотреть на свет. Когда зрительный нерв привык к освещению, они открыли глаза. И все трое враз, хором, закричали.

Кричали безостановочно! От радости.

Потом умолкли.

Колени мои подогнулись, и я сел на койку в палате, поблизости от прозревших, и сидел молча, без сил. А мать мальчиков сидела передо мной на полу, как Мария, скрестив ноги, во время оно смирно сидела перед Христом, пока Марфа на кухне хлопотала, и всё подносила подол рясы моей к губам, и всё целовала, и рясой моей слёзы себе вытирала.

Ряса моя больше не пребывала измызанной: в том староверском чернобрёвённом, приземистом и мощном, как спящий в берлоге медведь, доме я впервые, за всё время долгого путешествия, её выстирал, старовер мне дал лохань и лазурное мыло, и я стирал рясу тщательно, старательнее любой бабы, так долго, что она под ладонями моими начала разлезаться в дыры, и тогда я остановился, выжал её и развесил во дворе, на морозе, и она замёрзла и встала колом, и сделалась твёрдой, как огромный вяленый таймень.

В том доме, того бородатого могучего старовера, мне пришлось видение. Я уж привык к тому, что вижу то, чего видеть нельзя. Лег спать. Старовер стелил мне, по моей просьбе, не в комнате, а в сенцах. Там стоял ночной холод, и я укрывался кроме одеяла ещё и овечьим тулупом. Изобильная овечья шерсть хорошо согревала меня. Иногда я боялся ночи, иногда нет. Именно ночью приходили видения. Сначала я

боролся с ними. Не хотел видеть; не хотел знать. Потом перестал вставать. Принял всё происходящее. Смирился.

Смирение и терпение. Вот что главное.

Так работает Дух, дитя мое. Дух в тебе, но он превыше тебя. Это ты приходишь к Нему, Параклету Утешителю, прочными стежками, а не он к тебе. Помни это.

Закрыв я глаза, натянул овечью шкуру себе на голову. Стал дышать внутрь тулупа. Согревался. Потом башку выпростал. Дышал холодом. Наслаждение, когда сам весь в тепле, а дышишь лёгким морозцем. Иней затянул стёкла. Крохотные оконца синё, лазуритово переливались, по ним медленно бродили ледяные хвощи, зимние васильки и колокольчики. Я уже прочитал вечернее правило, но захотел ещё помолиться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного... Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, молитв ради Пречистой Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас...

И только хотел сказать: аминь, – увидал.

Широкий, льдиной плывущий по невидимой реке, стол. Стол-ладья. Стол-корабль. Деревянная палуба чуть накренилась. За столом люди сидят. Много людей. Невозможно сосчитать. Ползут вдаль и вбок, расширяются края стола. Люди появляются из ничего, из плотной тьмы. Садятся за стол, стоят за спинами сидящих. Тех, кому повезло. Люди едят. Наливают из бутылей в разномастные сосуды и пьют. Кто сидит на полу, у ног пирующих, и играет на неведомых музыкальных инструментах; я вижу, как пальцы перебирают струны, я слышу непонятную, никогда мною не слыханную музыку. Стол завален едой и питьем, фрукты горят драгоценно, жареное мясо вспыхивает золотой корочкой, сок течёт на серебряное блюдо из разрезанных лимонов, апельсинов. А вот ломти ветчины. А вон огромная миска с ягодами, земляника, черника! Яйца навалены белой горой! Пирог плывет сдобными крупными рыбами. Осетр возлежит, бревном в полстола, острые костяные наросты, морда узкая, острая, и зелень из неё пучком торчит. Рубины икры, и витая царская ложка воткнута! Слитки масла, только с мороза, застылого! Себе, внутри видения, шепчу: может, это я просто жрать хочу, голоден я, вот и привидится всякое. Красное вино мерцает в бокалах. Вино зря сравнивают с кровью. Кровь непрозрачна. Прозрачна только слеза. Кровавая слеза. Человек сидит по центру стола, по правую руку его сидит красавица. Глаз не отвести. Русые толстые косы; одна за спину закинута, другая перекинута на грудь и распущена. Глазами косит вниз и вбок. Нежная улыбка. Молчит. У главного человека за праздничным столом тоже струятся по плечам длинные волосы. Он не глядит на женщину праворуку, глядит вперёд. Нет. Он глядит в себя. Внутрь.

И я понимаю: этот человек – не человек. Он – Время.

Он глядит внутрь себя, а потом веки его вздрагивают, и внезапно он начинает глядеть внутрь меня.

Мне от этого взгляда страшно. И в то же время счастье, нет ему предела, обнимает меня. Спаситель! Ты ли это! Сотрапезничаю ли я с Тобой, пусть даже так, во сне! Руки человека раскинуты, на столе лежат, брошены двумя кусками хлеба, струятся по столу смуглой водой, две смертные дрожащие реки. Бессмертные! Женщина рядом с ним медленно поднимает глаза, в меня двумя безумными птицами летит забытая синева. Синь, праздник! Живого можно убить, и глаза сомкнутся навсегда. До Страшного Суда. Руки Господа раскинуты по столу,

Он предлагает нам, мне присоединиться к пиру. Поешь, смертный! Всё так красиво! Всё так ярко и вкусно! Жизнь, наслаждение! Радость! Видишь, в застолье не только ученики Мои, но и народ, Мне неведомый, числом великий, его Я не знаю, но вижу, и он Меня не знает, забыл, но Я вижу здесь тебя, верный слуга Мой, и не робей, угостись! Еда людская – еда Божия! Я учил о хлебе и вине, о плоти и крови Моей, а гляди, какое изобилие, сколько здесь удивления, изумления, сколько незримого и несказуемого! Вкуси! Иной век! Я превратился во Время. Измеряй Мною течение общей реки, если сможешь, осмелишься измерить. И понимай одно: мы тут пируем, а там, куда Я гляжу неотступно, идёт война.

Идёт война!

Зимняя. Летняя. Вечная.

Вижу: все жадно едят богатые яства, а Господь и женщина близ Него кушают лишь хлеб и отпивают из хрустальных бокалов лишь красное вино. Женщина отламывает от лепешки тонкими пальцами маленькие куски, прежде чем съесть, держит на ладони, как живую птицу. Господь не глядит на неё. Он глядит вперёд. Он, не видя, находит на столе бутылку с вином, не глядя, в сосуд наливает. Я пытаюсь поймать Его взгляд. Вот опять Он смотрит внутрь меня и сквозь меня. Навылет.

Его смерть ещё только будет? Она впереди? Или Он уже воскрес, и я вижу пир Второго Пришествия? Губы Его сомкнуты, глаза закрываются, и я слышу Его голос внутри себя: ЭТО НЕ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ЭТО ПРАЗДНИК ВЕЛИКИЙ

Кричу Ему безмолвно: понял, Господи, Пасха это Твоя, Ты воскрес нынче!

Я ВОСКРЕС НАВСЕГДА Я ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ЭТО БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ

Женщина не глядит на Него. Она глядит на меня.

Зачем она глядит на меня?

ЭТО ПРАЗДНИК ТВОЙ ТВОЯ БРАЧНАЯ ВЕЧЕРЯ ТВОЯ ЭТО СВАДЬБА Я СЕГОДНЯ ТВОЙ ГОСТЬ НА ВЕЛИКОЙ СВАДЬБЕ ТВОЕЙ

Я в смятении. Моя? Зачем? С кем? С ней? Синеглазой? Синие глаза летят в меня, а стол вдруг всплывает из тьмы, надвигается, укрупняется, айсбергом синим, камчатным поднимается из глубин страдания, еле несёт на себе, на своем заботливом горбе, тяжелые россыпи невиданной, роскошной снеди, плывёт, белый ледяной кит, и не удерживает искусных блюд, валяются медные тарелки с Райскими мандаринами и Райскими яблоками, падает и в брызги разбивается драгоценный фарфор с темной свежатиной-дичью, жареными зайцами и куропатками, бешенствуя, валяются и весело катятся прочь дыни, сливы и турмалины вишен, и пироги, пироги, что так долго стряпали бедные бабы, засаживая их на противнях в печь и отирая ладонями со лба трудовой пот, ещё теплые, как бабье тело, пироги разлетаются сдобными лебедями по трапезной, а стены исчезают, и вместо них над столом, над сотрапезниками поднимается небо, оно всё выше и выше, оно уходит вдаль и вверх, всё вверх и вверх, оно не падает, оно растёт, как синий ствол, синяя нежная корона, вся в золотых звёздных искрах, и увлекает нас за собой, наши глаза и руки, наши истрадавшиеся души, они тянутся за небом, мы тянемся, мы хотим там – жить!

Мы – здесь хотим жить!

Господи! Остави нам живот наш!

И это моя свадьба! Моя, Он сказал! С кем?! С кем?!

Где, Господи, невеста моя?!

И тогда Он поднял обе руки и обернул их ко мне ладонями.

И я смотрел, и на каждой ладони Его я видел лик невесты своей.

И я узнал её.

И я перевел глаза свои на лицо женщины, что сидела праворуч от Господа моего.

А она тихо улыбалась и все отщипывала, отламывала крохи от подгорелой лепешки, похожей на круглую печальную Луну.

Не Иоанн ли это, ученик Твой любимый, Господи? Не Магдалина ли это, любимая ученица Твоя? Не пришлая ли это нищая дева, что постучалась сюда, в трапезную, пришедши с улицы, желая заработать медный грош и предлагая себя трудницей после окончания могучего пира? Посуду перемыть... объедки на задворки выбросить... кошкам, собакам...

ГЛЯДИ КАКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ НА НЕЙ НА НЕВЕСТЕ ТВОЕЙ

Я глядел один миг, а мне казалось, века, и запомнил. Камни. Простые камни. Дыры в них просверлены, и на веревку они нанизаны.

Камни. Белые камни. Дыры в них не человек просверлил. Нет. Ветер, море. Солёная вода.

Ветер. За столом поднялся ветер. Он налетел ниоткуда. Мял и крутил одежды. Рвал волосы. Бил людей по щекам. Скидывал с гладкой льдины стола всё, что там ещё оставалось, что возвышалось и сияло, маня, притягивая, соблазняя. Ветер резко сорвал со стола скатерть, уже там и сям заляпанную вином, и стол обнажился, стал голым, как тогда, когда мастер только что сработал его и вышел он из рук сурового плотника, как он есть – неоструганный, нагой, свежий, шершавый, в живую ладонь втыкающий занозы, резко и свежо пахнувший вчера ещё живым деревом. Люди со страху попадали на пол. Закрыли затылки, уши, лица руками. Заползли под стол, в его спасительную тень. Возник и усиливался вой. Это ветер выл? Это люди выли? Ветер выл волком, а люди вторили ему. Люди, внутри страха, звучали убитой, забытой природой: их голоса потеряли сиюминутные слова, о, где же Ты, Сыне и Слове Божий? Я воззрился на невесту мою. Я увидел: её одежды есть зеркало. Они отражают одежды Господа. Только всё перевёрнуто; во Вселенной всё так и летит, падает, а значит, воздымается, взлетает, нет, валится в пропасть, рождается, нет, умирает, умирает, нет, Господи, рождается в жизнь Иную, в Иномирие, да будет тебе, страдалец, отныне утешение: Второе Пришествие грядёт, верь, но Старый Мирь при этом уйдёт, умрёт, и небеса, вспомни огненное Иоанново пророчество, совьются в свиток.

Господь все ещё Царём сидел за столом в синем небесном хитоне и в красном плаще, а невеста моя, имени я не ведал её, сидела праворуч Его в алом кровавом хитоне и в синем плаще. Синева её плаща слепила мне глаза; вот ещё тогда, девочка моя, я понял, я узнал, что ослепну и перестану видеть Мирь Божий. И тут же, маловерный, сказал себе: да нет, никогда я не ослепну! Господь зла не попустит! Он навсегда, насовсем оставит мне зрение мое, чтобы я и впредь оперировал, от верной смерти людей спасал! Господи! А может! Может! Если я так ясно вижу будущее, и своё, и других! Может быть! В виде ещё одного чуда Твоего! Ты! Сделаешь так! Что я! Именно я! Никогда! Не...

Я не успел додумать. С полу вскочил лежащий. Гладко выбритый. В белой врачебной маске. Он взбросил руку и протянул вперёд. Вытянул

указательный палец. Перед лицом моей невесты. Он прокалывал пальцем туманный воздух, клубящийся вихрь. Я проследил за живой указкой. Палец человека в маске показывал на лик Господа моего. Палец, живой нож. Пальцем можно разрезать, проколоть, если скальпеля нет. Чудо? Да разве Господь не совершает чудеса каждый день, каждый миг? По вере вашей воздастся вам.

Я встал с лавки. Овечий тулуп, за ним одеяло сползли с меня и упали на выставшие за ночь половицы. Я видел: колени моей невесты укрыты точно таким же овечьим тулупом. Значит ли это, что она встала из-за стола, шагнула вперед, наклонилась и подобрала с пола мой тулуп, и укутала себе замёрзшие на ветру ноги? Босые ноги, босые. Они жалко и умилённо торчали из-под мощной шкуры. Господь встал легко и быстро. Улыбнулся светло. Легко толкнул рукой стол, и он упал, перевернулся, покатился вниз по земным ступеням. А их обоих, Господа моего и невесту мою, обступало небо. Оно наливалось чистою синью. А глаза невесты моей наливались слезами. Она смотрела на меня неотступно, не мигая, и глаза её всё наполнились слезами, и наконец слёзы выкатились и тихо потекли по щекам, по подбородку, по шее, затекали за ворот красного хитона, пропитанного кровью всех раненых, всех, кого я когда-либо на земле оперировал, и я чуть не закричал от великой боли, меня крепко обнявшей, и от великой радости, видеть их, любимых, созерцать, пока ещё лицезреть, пока ещё смеяться и плакать вместе с ними, пока ещё перевернутый стол, крича сломанными деревянными ногами и деревянным ртом, бедною льдиной уплывает вниз по реке, пока небо набрасывает им, любимым, на плечи свой синий ветхий хитон, свои овечьи, нежные, шерстяные, тёплые облака.

Я проснулся. Меня трясло от холода. Лежал голый. Потянулся, поднял с пола тулуп, одеяло, накрылся с головой. Дышал под одеялом и так согрелся.

Мне приснилось: я опять на войне. Да враг говорит не по-вражески, а по-русски. Не иноземец он, а славянин. Я понимаю, знаю: война наша не на жизнь, а на смерть, и я должен его убить. Стихи тут ходили по рукам, в списках: сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей! Меня новые враги захватили в плен. Поставили в квадратном каменном колодце, наподобие того, где мы тоскливо гуляли в тюрьме, заплатка василькового неба моталась высоко над головой, и приказали: стой! И смотри.

Иди и смотри, вспомнил я Откровение св. Иоанна Богослова, писанное им на острове Патмос в Эгейском море. То я был, я, воистину, тогда я был Иоанном, Христа любимым учеником, и вороньим пером процарапывал на пергамене страшные письма, да, взрезал скальпелем птичьего пера крошечный ужас Мира, потрудись, хирург, работёнка не из легких. Я горазд был на рисование письмен, и мастак в лечобе людей, и тела живые разрезал направо и налево, и кромсал, и зашивал, на ста войнах побывал, и вот опять война, она, видать, в грешный Мирь влюблена. Почему и мы, и враги на одном языке кричим? Мы – один народ? Мы – один народ!

Я стоял и смотрел. И думал. Да, мы один народ. Нас разделили. Грубо раскромсали. Раскроили особо острым скальпелем. Да не сшили. Некому было зашивать разрез. И скобы не накладывали, и бинтами не обматывали. Рана выворачивалась наружу. Земля орала. Люди блажили, стонали и ревели. Хрипели. Выгибались коромыслом, умирая. Уми- рали. А я стоял в каменном безглазом дворе, думал и ждал.

Вывели пленных. Пинками уложили на камни. Люди лежали на животах, изгибали шеи, пытаясь рассмотреть мучителей. Их пытали. Рубахи в крови. У иных глаза выколоты, кровь сургучными сгустками в глазницах запеклась. Подошёл мужик, рукава выше локтей закатаны. Палач. Пистолет в руке. Шёл и стрелял. Каждому в затылок. Я стоял один у стены, стена сложена из мрачных, грязных, странных синих кирпичей; призрачные синие кирпичи, каждый, светились изнутри светляками преисподней. Я стоял и смотрел. Не отводил глаз. Очень страшно. Сейчас меня. Вот только до последнего святого дойдёт – его убьёт – и ко мне повернётся.

Они все святые. Святые. Все. Кто так погиб, в страданиях, истязаемый. Я себя в святые не записываю. Нельзя о себе так думать. Я просто вижу и запоминаю. Память, вот что приносит мне муки. Память, пытка. Не отогнать, ни сжечь. Всё, что я увидел здесь, навек со мной. Даже если я умру. Я этот расстрел с собой в могилу унесу.

А – мечь? А – отомстить?

За моих святых? За родных?

Война – это мечь. Так людям понятнее. Война идёт потому, что мы защищаем родной народ и мстим чужому народу за поругание и гибель народа родного.

Но почему, почему мы говорим на одном языке?!

Проснуться, скорей проснуться, шептал я себе, вокруг очень холодно, я в тайге, я внутри зимы, я арестованный, я поселенец, прочь, война, на завтрак староверская семья ест овсяную кашу с постным маслом, и мне тарелку нальют, и я посолю кашу серой крупной солью и буду зачерпывать из оловянной миски гладко обточенной деревянной ложкой, и дуть на ложку, ох, горячая, и вспоминать страшный полночный сон.

– Ты! Оккупант! Сволочь! Сколько раз увидишь врага, столько раз его и убей!

Палач кричал на чистом русском языке.

Я глядел ему в лицо, он глядел в моё, и мы сверкали собою-зеркала-ми друг на друга, испепеляя друг друга отражённым огнём.

– Было бы в руках оружие, я бы тебя убил!

Это я крикнул, я. Или он?

Он оскалился и поднял руку с пистолетом.

– Вы! Все! Готовьтесь! Скоро вам будет сюрприз! Подарочек! Нежданчик! Аккурат в годовщину войны! Мы-то помним, когда она началась! И кто её начал! А вы, чую, забыли! Так мы вам напомним! Напомним! Огненный пирог! Будете жрать! Уплетать за обе щеки! До отвала нажрётесь!

– Ты дурень. Не понимаешь ничего. Войну уже не остановить. Мы победим. Это вы будете жрать и огонь, и землю.

– Мы должны вас победить, дряни! У нас другого выхода нет!

Рот пересох. Глотка смёрзлась. Мне нечем было кричать.

– Это мы вас поборем! Раздавим! Под сапогами нашими будете... корчиться...

Всё крепче сжимая рукоять пистолета, аж пальцы посинели, он подходил ко мне.

Или это я подходил к нему.

– Это я тебя сейчас раздавлю! Расстреляю! Уничтожу тебя! И тебя – не будет! Больше! Никогда!

Ствол уперся мне в лоб.

Я ничего не чувствовал. Надо было бояться дальше. А страх исчез.

- Снайпер с такого расстояния не попадет.
- Издеваешься?! Спиной повернись!
- Не повернусь.

У него небритое, синее лицо волнами ненависти вспучилось, взыграло, уродливо перекосилось.

- Развернись, ну!
- Он не мог смотреть мне в глаза.
- Хотя глазами мои глаза – искал.
- Я это видел.
- Нет. Я хочу видеть.
- Что видеть, будь ты проклят!
- Всё.
- Что – всё?!
- Как ты меня расстреляешь. Но ты меня не расстреляешь.
- Что мелешь!
- Я знаю.
- Что ты знаешь, ублюдок!
- Я вижу.
- Что – видишь?!

Я смотрел вглубь его бешено расширяющихся, ледяно сужающихся зрачков. Зрачки бились внутри радужки, играли, раздувались и опадали. Превращались в чёрные иглы. Прокалывали меня насквозь. Опять взрывались непроглядной тьмой.

- Всё.
- Всё, всё... всё!..

Я глубоко вздохнул. Хотел сказать палачу: всё необратимо. И мы врага нисколько не боимся. И мы не допустим ни капитуляции, ни рабства, ни казни на виду у всего Мира, ни наказания, ни блокады. Ничего этого не будет. Никогда. А будет наша победа. Только победа.

- Будет наша победа! Только победа! – крикнул он, и я близко видел его красную волчью пасть и красный дрожащий язык меж зубов.
- Разбей меня. Я твоё зеркало, – тихо сказал я.
- Он судорожно ощупывал глазами моё лицо, мой рот, сказавший это.
- Да что ты... брешешь...
- Что слышал. Убей скорее! Гляди, – я показал рукой на мёртвых, лежавших ничком на камнях, – они уже тебе слова не скажут. И они уже тебя не победят.

Он ухмыльнулся. Я видел, он мелко дрожит.

- Но придут другие. Много других. Их много. У нас воюет вся страна. Вы называете нас тюрьмой. Но весь народ, все, кто на свободе и кто в тюрьме, идут на войну. С вами. С тобой. И завтра сюда придут и убьют тебя. И всех вас, кто мучит, пытает, казнит. Слышишь?

– Заткнись!

Он всё ещё стоял, надавливая стволом мне на голый лоб.

– Не веришь? Так и будет. Я вижу!

Он устал так стоять. Выругался, зашёл ко мне за спину и приставил пистолет к моему затылку.

– Сдохни!

Раздался щёлк. Я понял: осечка. Я это знал.

Я обернулся мгновенно. Выбил пистолет у него из руки. Мы боролись, повалились на каменные плиты, катались между трупами. Вбежали солдаты, навели на нас оружие. Выжидали удобный момент, чтобы можно было меня застрелить без вреда для их товарища.

Высоко в небесах завывало, засвистело. Снаряд упал прямо во двор, поодаль от нас, разорвался, я оглох, контузило; палач расцепил руки. Его подначальные солдаты все полегли. Кто погиб сразу, кто ещё стонал, полз по камням, подвывал зверем. Глухота медленно меня покидала. Я слышал взрывы: вблизи и вдалеке. Грохот: рушились дома. Пыль забила мне глотку. Не мог дышать. Отполз от мертвецов. Приказывал себе: проснись, ты уже всё, что надо, увидел.

Разлепил глаза. Вокруг меня мерцало, тлело всё то же самое. Синий двор. Светляки полоумных огней. Убитые лежат вокруг. Я стою. Всё настоящее. Сна нет. Сон во сне. Жизнь в жизни. Зеркало в зеркале. Смерть в смерти. Я не могу из неё выйти. Выхода нет. Надо предоставить Времени свободу. Пусть оно течёт само. Само себя вдаль несёт. Может, и меня на хребте вынесет. Я не знаю, что мне делать. Я не могу бороться с настоящим. Я даже не могу их всех оживить. Я не Господь. Я только врач. Хирург. И ни инструмента. Ни скальпеля. Ни корнцанга. Ни иглы. Мне горько. Слишком темно. Глубокая ночь. Мировая ночь. И только свет, свет у тебя в руках. Светятся ладони. Я вижу, от них идёт постоянный, очень слабый, еле различимый свет. Вокруг холод, а от ладоней идёт тепло. Прислоню ладони к убитому. Буду так держать. Я понимаю, мои ладони не компресс и даже не грелка. Так, чужая живая плоть, прислоненная к мёртвому телу на жалкий миг. Тело меня не чувствует, не видит и не слышит. А душа?

Где ты, где ты, душа?

Душенька...

Глаза закрыл, и всплыли передо мной, две чудесные синие рыбы из глубин враждебного бурного океана, светлые небесные глаза. Очи. Широко стоят, как у коровы. Тихо и ровно горят. Две синие свечи. Опять она. Зачем ты на войне? Пришла меня утешать?

Душенька...

Под синим взором я начал ровнее дышать, сердце билось тихо, спокойно, от ладоней тепло потекло вверх, к локтям и плечам, скоро всё дрожащее тело оделось теплом, я закутался в моё тепло, как в баранью кудрявую шкуру, мне старовер подарил бараний полушубок, и я в сильные морозы мог по улицам свободно ходить, угретый, и больных спасать, больных тут, в таёжном городишке, было, как везде и всюду, навалом, мой хирургический стол дымился, то одно тело, то другое, то одна живая душа, то другая мечется, стонет и скорбит, и я ей помогаю, она то выходит из тела, то входит в него опять, не покидает, ещё хочет побыть, пожить в этом тёплом доме, у бешеной горячей печи сердца, у очага кроветворной печени, ещё неохота ей на волю, в сиротство, не бойся сиротства, говорит тебе Бог, оно дано тебе как награда, любая мука награда, что на земле, что за её порогом, а каких только операций я тут не делал, и по женским болезням, и свищи зашивал, и пневмоторакс, с чахоточными лёгкими сотворял опасные, на острие смерти, фокусы, и открытые переломы вправлял и сращивал, да разве мыслимо перечесть, любой хирург вам скажет: леплю телеса людские подчас заново, — а душа, люди, где же душа, где она кочует, где ночует, где гнездится, птица? Если бы знать ответ! Синие очи глядели, летели в меня с византийской иконы. А может, с Херувимской-Серафимской фрески, где тёмно-золотой, как густой цветочный мёд, фон, и Оранта поднимает руки ладонями ко мне, и глядит на меня круглыми громадными, величиною с чайное блюдце, синими глазами, и хитон Её кровавый, и плащ Её синий, и спасибо, благодарю Тебя, Царица Небесная,

что не оставляешь меня без призора, молчишь и глядишь, пригляды-ваешь за мной; и всё меньше земного моего времени заботу Твою отработать Тебе, и всё больше понимаю я, важнее любви к Живому и постоянного, каждодневного воскрешения угасающего, бесконечно умирающего Живого нет у человека, да и у Бога, дела на земле.

Николай

Я не храбрый. Я не герой.

Я не смог бы в небесах, если бы лётчиком был, пойти на таран.

Так делают только безумцы. Юродивые.

Они себе говорят: моя жизнь ничто, жила бы страна, – идут на смерть.

Бегут прямо в её пасть.

А я знаю: не станет меня, и некому тут будет спасать от осколочных полостных, гипсовать сломанные позвоночники, да просто аппендиксы вовремя вырезать, не доводя больного до септического шока, когда один за другим, поражённые ядом гноя, отказывают все внутренние органы.

Я понимаю: не будет меня, пришлют другого хирурга. Свято место пусто не бывает. Но то, что могу делать я, делаю только я. И никто в мире.

Незаменимых людей нет! Чепуха какая. Есть, конечно. Я не пуп земли. Я это тоже понимаю. Но каждый человек, любящий своё дело, мастер. Вот и я мастер. Мастер плоти. Мастер тела. А кто там толкует про душу... да пусть толкует. Я согласен: имеет право. Душа, это вопрос веры. Верьте, верьте, да однажды проверьте. Выдумка или правда. Правду сразу видно. Она ощутима. В ней всё колется, обжигает, горит, кровит, дышит, замерзает и снова тает, и вспыхивает, и взрывается. Правда жива. А выдумка – выдумана. Она ещё немного, и ложь. Её не попробуешь на вкус, не выпьешь, не обнимешь. Не заплачешь, к ней лицо прижав. Выдумка, она как сон: посмотрел и забыл.

Я разве выдумал того человека? Он ранен был в бою, и лёг ко мне под нож, и я думал о нём: вот герой. Я оперировал героя. Я тут оперировал многих героев, и нет им числа. Оперировал чётко, быстро, аккуратно, технично, со знанием дела. Иногда глядел на порхание своих резиновых рук над разъятым телом будто со стороны, из-под потолка: эка летают, снуют взад-вперёд, полёт белых ласточек над красным солёным, йод и рыдания, горьким морем. Одна хирургическая сестра, не помню как звали, увидела кровавые синие, дрожащие потроха и грянулась в обморок. Ей совали под нос нашатырь, никакой реакции. Шок. Я делал ей внутривенное, вводил магнезию, камфору. Задышала. Лицо кровью налилось. Веки разлепила, меня узнала и от меня отвернулась. Я услад её навсегда. Мне прислали потом эту, Олю, или как её, Дашу. Эта работает как часы. Иногда я думаю, что она механизм. Нет, стоп, она тоже умеет плакать. Ещё как! Рыдать и выть, и причитать. Письмо недавно получила, из дома. Видать, кто-то умер. Может, мать. Я под кожу не лезу. Не любопытствую.

Герой мой разрезанный под скальпелем лежит, платок на носу эфиром пропитан, сосуды в зажимах, в стальных бирюльках, и мне невдомёк, что завтра случится, я же не чтец Времени, не провидец. И Время не газета, чтобы его так запросто читать. Но если бы я прочитал! Я бы

эту сволочь не только не прооперировал – я бы, клянусь, зарезал его самолично.

А я его, получается, спас.

Для того, чтобы он казнил меня.

Да, вот так всё просто. Вообще всё в жизни крайне просто. Это мы сами на жизнь парчовые тряпки накрутили, нарядили её в горностаевые мантии, в плисовые кафтаны, в рясы, в эти, как их, ризы. Ряса, риза, а в чём отличие? Но я-то, я-то уж отличу жизнь от смерти. Не думал вот, не гадал, а в ловушку горностай попал. На суде мне залепили: ты иностранный шпион, ты вернул к жизни и вылечил врагов народа. Народ! Где твои враги! И я, я первый твой враг, ведь я столько тебя, народу, спас, не сочтёшь, немерено. А ты, народ, ты что, ищешь убить меня? Да нет, ну что ты, ты добрый! Ты же всё понимаешь, народ! Ты же мне в ножки кланяться будешь, когда...

Когда что?

Я стоял в операционной, вдали ухали разрывы, когда ко мне, презирая стерильность и запрет, вошли эти люди. Трое. В военной форме. Я поглядел на них поверх маски. Молча указал им на дверь. Они громко подтопали ближе к столу, с их сапог кусками отваливалась дорожная грязь. Тот, кто подошёл первым, громко сказал, чеканя слоги: товарищ военврач, вы арестованы. Собирайте вещи, мы ждём. Сестра зажала рот рукой. Крик зажала. Тяжело дышала. Я слышал, как она сопит носом. Я спустил маску на подбородок и так же отчетливо сказал, глядя Первому прямо в рожу: ордер на арест! Второй, за ним, пошарил в нагрудном кармане и вынул сложенную вчетверо бумагу. Развернул. Тыкал мне в лицо. Читать умеете? Читайте! Больной на столе открыл глаза. Действие эфира кончалось. Он все слышал. Я посмотрел на него. По лицу его гулял ужас. Я спокойно сказал Второму: сядьте в коридоре и ждите. Я закончу операцию. Сапоги ваши грязны. Извольте выйти.

Я так, по-старинному, и выразился – извольте выйти, не знаю, почему я так сказал. Они, все трое, потопали прочь. Хлобыстнула дверь. Посыпалась штукатурка. У сестры дрожали руки, когда она подавала мне иглу и кетгут. Я шил угрюмо. Я не мог представить, что будет со мной. Ничего не мог себе вообразить. Ну ничегошеньки.

Память человеческая избирательна. Она ложится пластами, слоится, её минирует коварное Время, и вдруг нежная капризная память взрывается незабвенным потрясением, а на завтра оно забывается напрочь, и его уже никогда не было; не было, никогда, и всё тут. Привиделось. Причудилось. Ну, так бывает. Человек фантазёр, он тебе выдумает то, чего никогда и нигде не случалось, и выдаст бредовое сновидение за святую правду.

Я сначала помнил мои мытарства, хождение по судам и застенкам, я даже помнил мои побои, и как я, ударенный чужим кулаком наотмашь, с табурета падал; и голодовку помнил, вроде бы я её сначала объявлял, лежал на нарах и ничего не жрал, отказывался от еды, кричал: я хирург! я военный хирург! прошу отправить меня обратно на войну! – а мне в лицо смеялись и опять били меня по лицу, били крепко, с наслаждением. Человек, причиняя боль человеку, наслаждается. Обыкновенный садизм, а что делать. Его ещё никто не отменял. Это нарушение психики, да, и ещё какое. Но я не психиатр. Я хирург. Я лечу тело. Душу пусть лечит другой врач. Как можно вылечить сказку? Исцелить выдумку? Но ведь лечат. Исцеляют. И лекарств целую телегу, для души,

фармацевты навывдумывали. Нет. Увольте. Оставьте меня. Нет никакой души. Я уже ничего не помню. Ваша душа ничего не помнит. Слабенькая она оказалась, ваша несчастная душа.

Я сначала всё помнил, я твердил себе: запоминай, всё потом всплывёт, всё потом пригодится, ты ничего не забудешь, и они все, мученики, ничего не забудут, мы всё запомним и потом всю правду расскажем. Кому? Кому я, и мы все, смогли бы её рассказать? И нужна ли будет наша правда новым людям? Приходят новые люди, нашей войны им не понять. Они хотели бы повернуть время вспять. Они придут в новых начищенных сапогах, в новых блестящих касках, с новым, через плечо ремень, оружием. Будут метко стрелять. Помчатся друг на друга в новых танках, полетят друг на друга в новых вёртких, ловких истребителях. А врачи? Что будут делать новые врачи? А новые врачи будут, из открытых во тьму и бред, разбитых окон госпиталей, слушать неистовые крики новых солдат: вперёд! Вперёд! Танков волчий ход. Зенитки ищут жертву в небесах. Люди ждут, когда из шахт медленно выползут и полетят на людей ракеты, под завязку набитые взрывным ядом. Убивать, милые, не хватит рук! Смерть будет сама к нам прилетать. Заждались. А вот она. И мы не поймаем её, она слишком быстро будет лететь. Не досчитаешь до трёх. Раз, два...

Три!

...я всё забыл.

А может, мне память отбили. Я не знаю. Теперь мне это трудно объяснить. Я кричал в карцере: я хирург! Я хирург! Я очень, очень умелый, первоклассный хирург! Я вытащу даже приговоренного к смерти из её черных лап! Я дарю жизнь! Если вы будете умирать, я спасу вас! Верьте мне! Верьте! Я правду говорю!

Я кричал, срывал голос, хрипел. Стены молчали.

За стенами, я знал, передвигались, ходили люди. Разговаривали друг с другом. Выходили из здания, опять входили в него. Работали. Били, допрашивали, били. Это была их работа. За неё они получали деньги. Я кричал: это ошибка! Это правда ошибка! Я врач! Мое дело спасать! Я могу спасти убийцу! Преступника! Я же не знаю, кто лежит передо мной на столе и умирает! Я вижу – умирает! Я – оперирую! Это – моё – дело! Слышите! Это... моё...

Стены молчали.

Я замолкал.

Я молчал вместе со стенами. С огромным холодным домом. Вместе с полом и потолком. С замком, он не лязгал, не скрежетал о свободе. Я закрывал глаза и постепенно всё забывал. Мне становилось хорошо, я замерзал, как в поле зимой, и мне хотелось петь, тихо так петь, неслышно, чтобы слышал песню только я, слышало снежное поле и ещё звёзды. Тихо мурлыкать, напевать. Напевал. Слышу – да, напевает. Кто? Я? Я, я, я? Неужели это я?

Вокруг алмазный снег. И небо всё в алмазах. И эта песня. Зачем она? Зачем я? Может, никакого меня нет? И я замёрз? И где-то одна, на воле, счастливая, гуляет меж наметённых за огромную ночь сугробов нежная, безумная память моя?

Я не слышал, как однажды ключ затарахтел в замке. Охранник растолкал меня. Я спал на каменном полу и сам превратился в камень. Руки и ноги у меня окоченели до твёрдости дерева. Я не мог их разогнуть. Не мог идти. Меня поволокли за руки. Пятаками я прорезал пол длинного коридора, и с меня свалились башмаки.

Я не помню, босой я впрыгнул в поезд, или на меня кто-то сердобольный напялил обувку. Мне было всё равно. Да, кажется, я так и трясся в поезде босиком, а снаружи поля, города и деревни заметало, мело всё время, пока мы ехали. Ехали и спали. Ехали как спали. Когда спишь, есть неохота. Я слышал голоса: движемся на севера. На севера, повторял я, как песню, на севера. Я часто чувствовал себя собакой, и мне хотелось лечь под ноги людям. Люди рассматривали рваные шрамы у меня на груди, на запястьях и на спине, приподнимая рубаху и цокая языками, дивились, как жестоко меня били. Кто гладил меня по плечу, жалел. Кто ударял кулаком по столу, а потом скрючивался в бес- сильном рыдании. Так пьяные плачут, беззвучно и бешено, лицо кривя. Я сидел спокойно. Иногда задыхался. Народу в вагоне набилось много, мы сидели, плотно прижавшись боками, и спали сидя, как кильки в консервной банке. Все хотели есть, а мне есть не хотелось. Может, у меня отбили желудок, не знаю. Часто в центре живота возникала сильная боль. Я думал о боли: средостение, травма, ушиб. Или думал так: язва, голод, желудочный сок разъедает стенки желудка, скоро начнутся кровотечения. Вредно так много знать. Но я врач. Я не могу не знать. Мне надо знать о человеке всё. Это моё дело.

Моё. Дело.

Бездельничай теперь, хирург.

Я ещё помнил: я хирург.

Привезли, выгрузили. Холодно, да. Загнали в грузовики. Здесь не бомбили. Шла ли здесь война? Никто не знал. Повезли. Привезли на берег моря. Море серое, цветом в рыбий перламутр, переливается серебристой бедной чешуей, вздрагивает, набегает на берег, тихо шепчет. Прозрачное, слеза. Плачет. Тоскливое. Я наклонился, зачерпнул в горсть воды. Умылся. Солёное. Соль. Слёзы. Я умылся чужими слезами. Боль земли. Я тебя не вылечу никогда. Ты так и будешь болеть. И так же будешь плакать. Без меня. Когда меня не станет.

Повели. Долго расспрашивали, писали в толстые тетрадки. Не били. Хотя, может быть, и хотели. Распределили: тебе туда, тебе сюда. Приплыли серые рыбы-люди. Повели в сараи. Тебе в этот сарай, тебе в тот. Мы входили в сараи, они назывались бараки. Длинные бараки, пустые, как стойла для коней, загоны для коров, иного скота. Пола нет, земля, надо спать на земле. Пучками там и сям лежит колючая солома. И здесь не надышишь, не согреешь жалким дыханием морозный воздух: в щели дует ветер, щели забивает метель, уж лучше бы она замела всё, всё на свете, и вместо нашего барака возвышался бы громадный сугроб, и мы все лежали бы там, внутри, и спали бы вечным сном в белом гробу.

Я забыл, как мы переночевали первую ночь. Все сбились в один большой живой стог. Вздрагивали. Стонали, друг другу мешали спать. Вскрикивали. Кто-то плакал страшно, в голос. Я не помню, в сапогах я уже спал, в валенках вали босой. А, вспомнил. Я спал в чужих женских носках. В женском вагоне умерла девушка, говорили, красивая, и мне люди передали её носки, самовязку, грубая колючая шерсть, чтобы я мог хоть немного укутать промороженные ноги.

Здесь, в жуткой ледяной ночи, среди прижавшихся друг к другу тел, мы уже были не люди с мыслями, радостями и слезами, но просто тела, одно живее, другое мертвее; надсадно кашляла женщина. Захлёбывалась кашлем. Сначала я подумал: бронхит застарелый, грамотно не лечённый. Потом она стала задыхаться в приступе, и я бормотал сквозь

сон: астма, астма, введите адреналин под кожу. Утром, когда человечесий стог распался на множество чуть шевелящихся, страшно молчащих людей, женщина опять закашлялась, зашлась в кашле, задыхалась, и я увидел её. С затылка. Из-под потрёпанной волчьей ушанки на плечи выбились и вольно рассыпались по плечам сенные, пшеничные, соломенные волосы. Это толстая русая коса развилась и вырвалась из тюрьмы на свободу.

Женщина ловила ртом воздух. Приподнялась на руках, ладонями упиралась в голую заиндевелую землю. Умирала от кашля. Я видел её согнутую, горбатую от предсмертного ужаса спину, плечи, укутанные изношенной, едва ли не собачьей, шубенкой. Слепо перешагивая через людей, я добрался до неё. Не видел её лица. А она кашляла. Не оборачивалась. Не видела меня.

Я наклонился и крепко схватил её за плечи. Попытался к себе повернуть.

— Я врач! Обернитесь! Посмотрите на меня! Сейчас я вам помогу!

Ушанка свалилась у неё с головы. Лежала рядом с ней мертвым волчонком.

Человек убивает Живое, чтобы одеть, обуть и накормить себя.

Она упиралась, цеплялась ногтями за живую мрачную землю в иглистых разводах утреннего инея, будто кто землю щедро слезами посолил, а слезыньки-то и застыли на лютном морском холоду; я рвал её к себе, хотел вырвать у смерти, не дать ей, не сейчас, не сегодня. Она разжала пальцы. Ледяная земля набилась ей под ногти. Я повернул её к себе, и она упала мне на руки — так падает на руки любящему любимая. Я подхватил её. Мужской голос рядом изругался коряво. Старухи рядом заохали. Далеко, на краю света, заревел телёнком ребёнок.

Синие глаза ударили в меня.

Я держал на руках жизнь мою. Любовь мою.

Она глядела на меня. Она не потеряла сознания. Кашель застыл на её губах. Мне показалось: её губы покрылись инеем и стали чёрные, цвета голодной земли. Синева из широко раскрытых глаз текла по щекам, ложилась под ресницы, венозным синим током билась под челюстью, на шее.

Я слышал тяжелые хрипы у неё в груди. Так хрипит изношенный, старый баян с дырявыми мехами. Свист и хрип есть, а звука нет.

И адреналина у меня нет. И шприца нет. И спирта нет. И ваты нет. И ничего нет.

А что у меня есть? Я есть.

— Ничего не говорите. Слушайтесь меня.

Её лицо синело все гуще. Удушье. Надо было торопиться.

Я расстегнул шубёнку у неё на груди. Холщовое платье. Где застёжки? Чёрт, на спине! Некогда искать эти чёртовы крючки! Порвать! Быстро! Я рвал тугую холстину, руки обрели чудовищную силу. Люди вокруг глядели на то, что я делаю, и не останавливали меня. Глядели на белое тело женщины. Нагое. Такое близкое. Тёплое? Холодное? После смерти тело превращается в неизвестную материю. Оно уже не живое, и ещё не мертвое. Оно между мирами.

Мои ладони превратились в наждак, в два комка белой сухой овечьей шерсти, в две колки вязаных вареги, в две щётки из волчьего жёсткого меха, и я стал ими тереть это белое молчащее, недвижимое тело, тереть, мутузить, растирать, мять, колоть, и снова вминать, втирать в него мой неистребимый жар, мою волю, мою победу, и бормотал при этом:

живи, только живи, только живи, дыши, согревайся, я согрею тебя, я разотру тебя до огня, дыши, дыши, живи, живи, дыши. Ды-ши. Ду-ша.

Душа.

Какая, к чёрту, душа. Тело, давай же, давай, быстро, оживай!

Нагая грудь, ещё вчера красивая, обвислая от голода, торчащие ключицы, решётка рёбер, впадина яремной ямки, круглые кости плеч, всё это плыло, сияло, поднималось, падало и сверкало под моими руками, а я тёр, тёр, будто дыры в сияющем теле хотел протереть, кожа постепенно краснела, разогревалась, женщина судорожно вдохнула холодный воздух и опять закашлялась, и я, в отчаянии, расстегнул мой тулуп и лёг на неё, и сильно, горячо прижал её моим отошалым телом к земле. К земле.

– Грейся... грейся... молчи...

Я сначала шептал бессвязицу, потом замолчал, она раскинула руки, и я положил мои тяжёлые руки поверх её бестелесных рук, холстина завернулась к локтям, запястья жалко торчали из мохнатых раструбов шубёнки, я взял в руки её заледенелые пальцы и сжал, так умирающий сжимает живую руку напоследок, на прощанье. Она чуть пошевелила пальцами, и я понял этот язык. Пальцами она сказала мне: спасибо.

Потом я выпустил из рук её руки и просунул мои ладони под её спину. Обнял крепко. Под моей грудью дышала женская грудь. Я вспомнил всех моих женщин, у меня не так-то уж и много их было.

– Грейся... грейся...

И тут она взбросила руки и обняла меня.

Так лежали мы на земляном полу барака, крепко обнявшись, и застыли, как выточенные из дерева, нет, высеченные из камня, как памятник самим себе, и женщина тепло дышала мне в лицо, она была изумлена, потрясена, она испугалась, она замерла, она улыбалась, она дрожала, она жила.

И тут дверь барака подалась. Нас никто не запирает на ночь, с наружной стороны не висело никакого замка, не торчала никакая щеколда. Медленно открылась дверь, сколоченная из ветхого горбыля, и вошёл человек.

И никто не посмотрел на него. Все смотрели на нас.

Все молчали.

Спинами, затылками мы видели: вошёл чужак, и кто он? Охранник? Узник? Палач?

Чужак не проходил дальше. Стоял у дверей.

Я не мог обернуться. Я грел телом и жизнью моей мою единственную жизнь.

Зато медленно, елозя затылком по заиндевевшей земле, обернула голову она.

Я видел, как синие очи её распахнулись ещё шире.

Я почувал, как тихо, страшно она дрожит.

– Кто это...

Она молчала.

Я перекатился на спину и перекатил женщину из-под моей горячей всетелесной тяжести себе на живот. Она лежала у меня на животе, как огромная белая кошка. Найдёнка. Я её нашёл и больше никому не отдам. Никому.

Её голова бессильно лежала на моём плече. Её глаза глядели на того, кто стоял у двери. Не отрываясь, глядели. Не моргали. Рот приоткрылся, из него вырывались короткие, еле слышные хрипы.

Я проследил за её долгим, как жизнь, взглядом. Увидел.

В открытых в зиму и море дверях стоял новый заключённый. Мой бородатый врач, с ним вместе мы принимали пытку, пленённые врагом, и убежали из-под стражи.

Ну, здравствуй, моя война.

Вот ты и настигла меня.

Я узнал тебя.

Губы бородатого доктора дрогнули; я видел, он узнал меня.

А она? Почему её глаза тоже узнают, знают его?

Кто мы такие друг другу? Все трое?

Стоящий у двери разлепил губы.

Я услышал его тихий голос сквозь подземные хрипы моей больной.

– Ну, здравствуй, моя жизнь.

Кому это он говорил? Мне? Ей?

Я крепче прижал женщину к себе. Её грудь, беспощадно мною растёртая, жарко алела, на скулы взбежала краска. Да, это наша жизнь. Моя, её и его. От неё не отвертись. И не надо ничего забывать. Ничего. Ни шага, ни вдоха, ни побоев, ни насилия, ни оскорблений, ни пыток. Мы не забудем. Мы! Не забудем! Мы! Победим! Врага!

...а что было дальше, я забыл.

Алексей

Я записывал в том таёжном городке в толстую тетрадку всех своих больных. Всех, кто являлся ко мне, прося первой либо последней помощи.

Близ городка власти закрыли и разорили женский монастырь. Три послушницы притекли ко мне из того монастыря. Я не мог без слёз слушать их страшные рассказы о том, как монастырь убивали. Как человека. Топорами, штыками, молотками всё били и громили в монастырских храмах. Святые иконы валялись на полу, на них наступали сапогами, и дерево ломалось под сапогом, и краски текли по святому лику, по золотому горнему фону слезами, кровью. Я чем дальше жил на земле, тем чище и сильнее чувствовал мощь Святого. То, что свято, неподвластно смерти. Да ведь и любовь неподвластна.

А где ваши товарки, монахини где, тихо спросил я послушниц. Они, все три, перекрестились и так стояли, молчали, глаза опустив. У той, что ближе ко мне стояла, слёзы по лицу покатались, крупные. Ничего, я шептал послушницам, ничего, милые, перемелется всё, мука будет, не мўка, а мукá, настоящая, хлебы будем в печь сажать. Да вкушать. Да Господа за счастье благодарить. Счастье жить, да, но ведь и счастье пострадать за Христа! Послушницы кивали, молчали и теперь плакали уже все: тихо, неслышно. Так муроточат иконы.

Я их, всех трёх, постриг в монахини. И благословил пребывать монахинями в миру.

Тут приказ пришёл: меня сослать в сельцо Саблино, что на Севере далёко; дальше того сельца и нет ничего, только белая, голая тундра одна. И смерть. И тоска. И ледяной океан, Северный Ледовитый. В приказе стояло: сослать навечно. Я улыбнулся. Ничего вечного под Луною, дитя моё, ведь нет; всё, что именуют вечным, на деле оказывается мгновенным перед лицом Божиим.

В путь на Север мы потекли с тремя новоиспечёнными монахинями. Девочки они ещё были, ну вот как ты, нет, конечно, чуть постарше тебя.

Пока ехали, много всего святообрядного совершили: и грешников исповедовали, и покойников погребали по Пасхальному чину, и однажды в селе на берегу Ангары попросили меня обвенчать молодых, ну я и обвенчал. Радость такая, глядеть на счастливые лица новых мужа и жены на земле! Как там сложится их жизнь, один Господь знает; но перед ликом Господа Распятого все наши земные мучения и малые распятья – ничто. Праздник – с Ним, и горе – с ним. И детки, детки пусть у вас с Богом родятся, шептал я обвенчанным, осеняя их широким крестом, сам весь в слезах счастья, и они плакали и целовали мне руки.

И шли да шли вперёд, всё вперёд и вперёд, и плыли по холодной изумрудной Ангаре в смоляных долблёнках; на безумных порогах, проходя их в узких наших лодчонках, громко, на всю реку, молились, и Бог миловал нас и не оставил нас; и причалили к берегу каменистому, подзолистому, гущина тайги нас поразила, тайга стояла зелёной стеною, и вышел навстречу нам олень, и стоял перед нами смело, не убегал. Вдали виднелись крыши. Мы привязали долблётки к рыбацким кольям на берегу и прибрели в село. Здесь мне пришлось делать операцию катаракты белому-снежному, похожему на белую полярную сову старику. Он уже почти ослеп. Я решил вернуть ему зрение. Старик лег на узкую листовничную лавку, я достал из мешка железный контейнер с глазными хирургическими инструментами. Монахини привязали старику руки-ноги к лавке. Я действовал быстро, так быстро, что даже задохнулся. Вытащил мутный хрусталик. Старик скрежетал зубами. Я наложил ему повязку на глаз и прошептал: во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Он поправил меня: во веки веком. Он был старовер, как многие старики в Сибири; и не только старики. Обе веры в тайге уживались, как уживаются звери: волк с лисицей, овца с козюю.

И во мне наши веры мирно уживались; иной раз мне казалось, я вышел в наш день из дней Иоанна Грозного, из пустозёрских, во земляном срубе, ночей Аввакума.

Арахна, надменная пряжа, пряла и пряла нескончаемую снежную нить. Я уставал следить за пряжей метели, уставал засыпать под вой вьюги. И всё же я благословлял труды Вселенской паучихи, ткачихи Арахны, ибо, среди прочих жизней, пряла она мою жизнь, и ткала всеобщий ковёр. Пряжа, труды и дни твои! Женщина! Где моя жена, ответь? Умерла ли она? А может, она жива? Где дети мои? Я любил их. Может, они все заболели и умерли в страшную эпидемию, когда в огне революции пожирала людей отчаянные, голодные и жадные хищники – тиф, инфлуэнца, холера, оспа, чума? Пряжа, Арахна, послушница Времени, я женюсь на тебе. Да нет, горделивая ткачиха, наслаждайся своим монотонным ремеслом, я пошутил. У меня есть Душа моя. Я не оставлю её никогда.

Когда мы собрались в навечный путь на Север, нам выделили верховых лошадей. Монахини, дико хохоча, еле забрались в сёдла. Старик, с повязкой через лоб, как одноглазый разбойник, вынес нам в подарок двенадцать собольих шкурок: монахиням по три шкурки, и мне три. Я отказался: зачем мне соболя?.. и монахини получили по четыре. Драгоценная рухлядь, смеялись мы, царские меха.

Ехали мы, пешком шли, лошадей под уздцы вели, потом опять на них взбирались, потеплело, налетел гнус, от укусов мошки мы погибали, мошка обсядет лицо, мы оботрём ладонями лоб и щёки, а ладони все в крови. Лошади, нещадно покусанные, падали на землю и валялись по траве, и дико, тоскливо ржали. Жаловались.

Опять на лодке по Ангаре плыли. К берегу пристанем, общими усилиями лодку выволочим из воды, уткнём носом в камни, а сами в виду воды среди камней встанем и отслужим Божественную Литургию. Никогда не забуду, как пели мои монахины под широким холодным небом! Я нарек их, когда постригал: одну Евпраксия, другую Евлалия, третью Евфросинья.

Плыли до впадения Ангары в Енисей, по Енисею на барже. По берегам возникали из густого тумана тунгусские селенья; тунгусы стояли на берегу, глядели, как мы плывём; я видел, у многих трахома, выворачиваются огненными знаками на опалённых солнцем лицах ярко-красные веки. Они нам кричали: Туруханск близёхонько!

Туруханск, и мы сошли на берег, и тут тоже стояли люди, люди, много людей, и вдруг все они опустили передо мной на колени. И все, все до одного, сложили руки лодочкой: благословения просили. Я всех, каждого в той толпе на берегу, обошёл и благословил. Люди плакали. Охрана терпеливо ждала, пока я всех благословлял. Ни слова охранники не изронили.

И я видел, как оттащили от меня моих монахинь, как повели их прочь от меня, и они всё оглядывались на меня, и слёзы катились у них по щекам, но и они ни словца не проронили. Так, молча, их и увели. А меня, после общего благословения и общей, на берегу, молитвы посадили в телегу, стегнули лошадь и повезли, и привезли в больницу.

Я понял: народу я тут нужен и как иерей, и как хирург. Как хирург, может быть, нужнее, чем как священник. Хотя вот кто душу спасёт? Тело, в нём душа прячется. Приходит смерть, душа вылетает вон из тела. Куда идёт? На мытарства, а может, сразу в Небесный Иерусалим поднимается, несомая златокрыльми Ангелами?

Время раскатывалось тонким тестом на столе, под невидимой тяжкой скалкой, посыпалось, чтобы не приставало к рукам, глазам и сердцу, тонкой звёздной мукой. Из Времени надо было испечь блины, хлеба, оладьи, лепёшки, а я смотрел на его раскатанное по столу моей судьбы тесто, и растерянно думал: ну я-то ведь не повар, какой из меня повар, стряпать не могу, могу только лечить и молиться.

И я лечил и молился, о Времени не думая.

Привозили брюхатых тунгусок и русских баб на сносях, не способных разродиться, — я делал кесарево сечение, вынимал из кровавой утробы свеженького, не натрудившегося в родах младенца, всего гладкого, блестящего, как красная смуглая рыбка, в масляной родильной смазке, дико орущего, глазки-щёлочки, пуповина вьётся сизой, лиловой нитью, мать плачет от радости, уже не от боли, младенчик рыбно бьётся у меня в руках; я показываю его матери, верчу перед ней, чтобы рассмотрела она чадо своё со всех сторон, у неё глаза превращаются в Богородицыны очи чудотворной иконы Чимеевской. Какой красивый! Мальчик? Мальчик, мальчик, бормочу я, да, прекрасный.

Я делал глазные операции, ободрённый успехом удаления хрусталика древнему слепому деду; обрабатывал и зашивал рваные раны, вправлял переломы, творил резекцию челюсти и резекцию язвенного желудка, всё делал, что надо было делать, когда человека постигает большая беда. Я даже самоубийц, в последний момент вытасненных из петли, лечил; они успевали повредить себе трахею, а кто-то и шейные позвонки, и кому-то на всю оставшуюся жизнь требовалась иммобилизация и фиксирующий шею твердый воротник, наподобие шины. Иной человек жизни не сдюживает, и ему кажется лучшим и счастливейшим путем —

расстаться с жизнью; и так то, что дал человеку Бог, он отнимает у себя сам; и это несчастье запоминает, и потом, минуто уллучив, опять повторяет. Так бывает.

Я пытался вызнать у охраны, где мои монахини. Охрана молчала. Я прекратил расспросы. Помолился за их души светлые. Если вас уж нет на свете, пускай вы будете, родные, дорогие, в светлом, пресветлом Царствии Божиим, в Саду Эдемском, под Покровом Богородицы. Так молился.

Я лицом к лицу стоял с людьми, кто ненавидел Бога. Бог тем людям был их личный враг. Я видел, как сверкали злобой их глаза, когда они говорили о Боге. Уничижали Господа гадкой руганью. И я не мог залепить уши мои воском, заткнуть ватой, чтобы не слышать поношений. Словом можно ударить наотмашь, изувечить; убить. При мне Бога убивали, снова и снова. Распятый снова подвергался Распятию, и Крест возвышался вечен, и души людские, как покалеченные, слепые, выколотые глаза, незрячи пребывали. Иногда злые люди, охранявшие меня, позволяли мне отслужить обедню в заброшенном монастыре на берегу Енисея. Я спрашивал мою охрану: а в Саблино-то когда поедем? Охранники молчали. Я осенял их крестным знамением.

Они отшатывались от крестящей их моей руки, как от змеи.

Один раз охранник ударил меня, когда я его благословлял. Я низко поклонился ему, до земли.

Видел: он хотел ударить меня ещё раз. Но сдержался.

В осиротелый монастырь меня возили в особых санях: в кошеве, укрытой попоной, сплошь расшитой розанами и маками. Эту кошёвку и расшитую цветами попону подарили мне туруханские крестьяне. На снегу такая самоцветная кошева гляделась ярким Царским поездом. Я смеялся: ну точно я Царь! А шёпотом бормотал, крестяся: да нет, жалкий я и нищий, один из малых сих, а Царь у нас у всех один, Небесный.

Я до того осмелился, что стал проповедовать в монастырском Троицком соборе. В нем была разрушена, вся в зияниях дыр, южная стена. Ветер гулял по храму. Немногочисленная паства, все крестьяне, русские, эвенки, тунгусы и тофалары, медленно подходили к Причастию. Диакона ко мне не приставили. Какие в тундре диаконы? Я справлялся с причащением один. Потир дрожал в моих руках. Я волновался. Люди причащались Святых Даров, иной раз и Преждеосвященных, а пока медленно, как во сне, подходили к золочёному потиру в моих руках, две девочки маленькие, ну вроде тебя, дитя, тонкими голосами пели «Иже Херувимы», это я их научил.

О чем я проповедовал? Как? Я говорил о Духе Святом. О душе. О сердце. О Господе. И о том, что есть тело человека. О тело человека, говорил я, его нам не понять! Мы его кормим, поим, холим, обихаживаем, одеваем в тёплые зверьи шкуры зимой и в ситцевые невесомые наряды летом, чуть захворает оно, спешим его излечить, мы боимся его страданий, недуги причиняют нам боль не только телесную, но и душевную, и часто обе боли мы вынести не можем; но тело человека, чего оно носитель? Оно умирает, и оно уходит в землю во гробе. Перестает биться сердце, вместилище любви. Прекращает каждодневную работу мозг, прибежище мысли. Не шевелятся руки, не идут ноги; лежит тело человека, спокойно, навеки в домовине вытянувшись, и помину нет ему. Истлевать! Плоть изгнивает и обнажает кости. Страшный скелет возлежит под землёй. Настанет время, и кости оденутся плотью, и восстанут тела из могил; но то свершится на Страшном Суде, а когда

он грянет, не знает никто. И я не знаю. Один Бог знает. Но Он нам о том не скажет.

И что? Лелейте тело, ублажайте и услаждайте его! Всё равно оно умрёт. Уйдёт в свой черед. А вы? Спрашиваете вы меня: останемся ли мы? О какой такой душе говоришь ты тут нам, слуга Господень? Где она живёт, та душа? Откуда в тело прилетает? Куда улетает, когда тело уходит в землю сырую?

И отвечал им я: душа это самое важное, самое живое и бессмертное во всем Мíре Господнем. Душа, это ваше упование. Ваша надежда! На жизнь будущую, на тысячелетнее Царство Христа Бога, что наступит на земле, и тысяча лет пройдет как один солнечный день, и обнимутся все люди напоследок, и станут одной душою, как Бог, Альфой и Омегой, Началом и Концом всего.

Я видел: глядели на меня енисейские крестьяне, русские и нерусские, большими глазами глядели и маленькими, узкими, как мальки на мелководье, и не понимали, что я им тут такое повествую. А я все равно говорил, говорил, говорил.

И, приходя в больницу, где лежали те, кого я оперировал вчера, утром, днем и ночью, я о том же говорил; и подходил к их койкам, и глядел им в глаза, и поправлял повязки, и вытирал ладонью со лба пот, и вытирал со щёк им слёзы, и благословлял их.

Власти обозлились на меня за проповеди. Однажды охранник как с цепи сорвался, заорал на меня: собирайся, поп, на севера попрёшься! Час тебе на сборы! Я спросил: в Саблино едем? Охранник выплюнул мне в лицо: да, в Саблино! На Северный Ледовитый! Вот там ужо замёрзнешь, поп! Окоченеешь! И никто тебя не отпоёт! Разве белые медведи!

Собрался я быстро. В котомку засунул и больничную толстую тетрадку мою. Я давно уже записывал в ней не только симптоматику в динамике и температуру моих больных, но и мои мысли о том о сём. О Боге и человеке. О душе, сердце, теле и великом Духе Святом.

Крестьяне прослышали, что меня увозят. Приволокли мне в дорогу огромное, сшитое из медвежьей шкуры одеяло. Я восседал в кошеве, а меня крестьяне укрывали медвежьим одеялом и плакали. Они меня крестили, кто двуперстием, кто троеперстием, всяко-разно, а я их. Мы крестами будто целовали и обнимали друг друга, как в Пасху Господню.

Мороз ударил, и к ночи звёзды превратились в ледяные осколки и густо сыпались с небес в расстеленные белые покрывала необъятной тундры. Я трясся в кошеве, из ноздрей лошади валил густой пар. За мной в крытой повозке, запряжённой двумя конями, ехала вооруженная охрана. Я, безоружный, укрытый медвежьей шкурой, задрогший вусмерть; и они, в кибитке, там надышано, тепло, и винтовки у них, и наганы, и ножи, как же в тундре без холодного оружия, а если надо хищника ножом пырнуть. Повозки с берега скатились прямо на зальдельый Енисей и покатали прямо на Север, куда и стремилась мощная река, бока лошадей раздувались, они тоже замерзали, их спасал усердный бег, бег вдаль, по льду, по звёздам, по коврам и белым соболям, и серебряным песцам беспредельных снегов, и один Бог ведал, когда мы в то Саблино прибудем, и прибудем ли, уж очень сильный мороз ударил, такой, что дышать нельзя, мороз-убивец, ох, задохнёмся, околеем, и я начал молиться Господу, чтобы помог, поддержал, укрепил меня, слабого, маловерного.

На пригорке виднелся сгоревший поселок. Чёрные избы, пепелища. Никого. Нет, вон к нам медленно, увязая в снегу мохнатыми пимами, эвенк ковыляет. Ворота его избы распахнуты. Изба цела. Единственная. Во дворе толкутся отошальные олени. Мы подъехали к воротам и крикнули эвенку: забирай лошадей, дай нам оленей! Он понял. Мы распрягли усталых лошадей и впрягли оленей в повозки. Не дотянут олешки, зло выдохнул охранник и сплюнул в снег, уже больно слабы, доходяги. Это я не дотяну, прохрипел я, согреться бы, хоть немного, закоченел весь. Охранники, сквернословя, несли меня в избу оленевода на руках. Внесли и бросили на пол. Я шмякнулся об пол, как мешок с камнями, и сознание потерял. Очнулся оттого, что эвенк поил меня горячим молоком странного вкуса и приговаривал: плотай, плотай, оленуха млеко, замороз, в погребница зимка хороница.

Настало утро, мы отогрелись, напились оленьего молока и пустились в путь.

Вот оно, полярное Саблино. Последнее, перед Чёрной Гибелью ночного неба, место на земле, где живёт человек.

Ещё человек, не зверь.

Ещё живёт.

Ещё глядит на небеса, а в них копошатся, ползают звёзды, погибают и вспыхивают, не сосчитать; великое паникадило, вечный медленный, заклятый Круг, круговращенье Мировъ, колесо веры, коловрат памяти, веретено надежды, хоровод любви.

В селе Саблино я насчитал семь изб. Семь, думал я, улыбаясь, счастливое, святое число. Меня поселили в холоднющей избе; не изба, а лёдник; вместо вторых рам в окнах торчали плоские блестящие льдины. Горка снега лежала на полу около двери. Мужик привозил мне на салазках дрова; баба стряпала и стирала. Мужик сколотил мне для спанья нары, я накрыл их дарёной медвежьей шкурой, а мужик расщедрился и приволок мне ещё оленью шкуру, укрываться. В избе имелась печка-буржуйка, я насую в неё дровишек на ночь, они прогорят, и тепло мне. Иногда проснусь, а огонь в печке пыхает, я разлеплю глаза, на пламя гляжу, а оно яркое, мне со сна так сетчатку и обожжёт, злее молнии. Утром встану, а в избе мороз, и вода в ведре затянута толстою коркой льда. Жизнь! Ты ведь тоже лёд! Сплошной лёд! И не протаять тебя, не растопить бедным, огненным сердцем! А всё равно бьётся оно в груди, жжёт, ледяную смерть прожигает! Наш удел. Душе моя, душе, восстани! что спиши!

Сердце пылает, а ноги в валенках стынут. Кого тут лечить? Кому молиться? Они сказали, на всю жизнь я сослан сюда. На всю! А что такое вся жизнь? Может, это сегодня, завтра, а послезавтра у тебя, человеке, уже не будет! Я мылся ледяною водой из застылого ведра, разбивая кружкой лёд; я зачерпывал из медного чайника кипяток и обливался кипятком, и кожа моя не чуяла ожога. В ночи раздавался дикий треск: это трескался лед поперек Енисея, а там, чуть поодаль, за выгибом снежной хребтины, виднелось море. Зазубрины льда, забереги, круглая шуга, белое крошево, а дальше вода, вода и чернота, вода и зловещая зелень, вода и мрачно-красное, резкой полосой крови, небо, переходящее опять в навечный траур: закат кровит, а полночь обвязывает смоляным крепом. Душа! Не спи! Гляди! Запоминай!

Да для кого запоминать-то? Может, с памятью навек проститься?

И с Временем тоже?

Баба, что готовила мне скудную пищу, исчезла. Охранник-призрак пропадал и появлялся. Я спросил его, где моя кухарка. Он нехотя ответил: её загрызли волки, помчалась, дура, в другой станок, в Лихое, там дочь у ней, а волки напали, лошадь загрызли и её самое. Сам себе стряпай, повар Гордей! Первое моё блюдо была уха из трески. Треску я, чтобы звери не сожрали, хранил, завёрнутой в вошеную бумагу, на окне, около моих ледяных стекол. Я забыл уху посолить, и сыпал соль прямо в тарелку, когда ел, а хлеб мой закончился, и не знал я, когда привезут мне жёсткий ржаной кирпич, прихлебывал уху и бормотал, треску вкушая: Господь двумя рыбами уйму народу накормил и пятью хлебами, вот оно, чудо, а у меня тут чудо простое, чудо, Господи, что я живу, ещё живу. И ел уху, молясь и крестясь, и так всю из котла выхлебал, и сыт пребывал.

И так научился я сам себе еду готовить.

И мне посчастливилось не только хоронить людей в вечной мерзлоте, но и роды принимать, и крестить.

В селце Саблино я крестил новорожденного ребенка.

Из Лихого в Саблино прибыла беременная дочь моей погибшей поварихи и вознамерилась тут родить. Брюхатая не знала, что мать её померла страшной смертью; от слёз-рыданий у неё начались роды, и меня позвали их принимать. Я наклонялся над роженицей, сгибал ей ноги в коленях, кричал: тужься! тужься! Она тужилась, как могла. Не вопила. Терпеливая. Только пот тёк по лицу рекой, и вся она истекала, подплывала потом и кровью, серебряными околуплодными водами, лежала на полу на старом тряпье, вокруг ахали две старухи, да Господи Боже, какие из них повитухи, так, мешали мне, я соображал: нет, кесарево нельзя, да и молодая она, сама родит, прощупал ей живот, предлежание у плода было неправильное, тазовое, он шел вперёд ножками, а не головкою, и я мог совершить поворот плода, мог, меня же учили, да что же такое с плодом стряслось, может, он обвит пуповиной, и сейчас там, в утробе, синее и задыхается, а ему надо родиться! надо! надо!

Я положил правую руку на низ живота роженицы, а левой стал нащупывать, через брюшную стенку, головку плода. Толкал. Толкал. Баба охала, стонала. Схватила меня за руки. Я руки её стряхнул и тихо, внятно сказал ей: я делаю так, что ты сама сможешь родить. Иначе разрежу тебе брюхо ножом. Она коротко визгнула и утихомирилась. Постановила слегка. Когда я повернул головку как надо, роды пошли как по маслу! Ребенок выскочил из чрева как из пушки! Мать и я – мы даже понять ничего не успели! Ну, думаю, опытная мамаша. Я промолвил: это не первый у вас? Родильница, с мокрым счастливым лицом, только и повторяла одно слово: первенчик! первенчик! я-то мнила, буду целую неделюску муцицца!

Я вымыл младенца в корыте, старухи нанесли вскипяченной тёплой воды, я глядел на мальчика и думал: ах, мальчонка, может, тебе доведется жить в Мире, где не будет никаких войн, тюрем, пыток, издевательств, где волки тебя не загрызут, и во льдах ты не утонешь, и на костре тебя не сожгут, развлекаясь твоими смертными муками.

Не было при мне моей многостираной рясы. Не было спасительно-го требника. Не совершал я никогда обряд крещения новорожденного младенца. Что делать? Они все, старухи и хозяин, стояли рядом и ждали, и жадно, восторженно и требовательно глядели на меня, то как на Бога, то как на прислугу; они прекрасно знали, что я священник, и ждали от меня того, что я должен был сделать.

– Полотенце мне дайте!

Старуха росточком пониже метнулась на кухню, чуть не упала и доски не клюнула носом, несёт полотенце самотканое, я беру полотенце у неё из коричневых, медовых, горько-корявых рук, а руки её древние, коряги живые, дрожат, она понимает: это уже не полотенце, и я понимаю, высоко полотенце поднимаю и возглашаю:

– Да наречешься ты на сей миг епитрахиль!

Вешаю епитрахиль на спинку стула.

Простираю руки к корыту, где миг назад купал ребенка, и восклицаю:

– Да наречешься ты на сей миг святая купель!

Низкий потолок избы не позволял мне, высокому, выпрямиться во весь рост. Я сгорбился, стоял согнувшись. По половицам раздался стук, будто шагала женщина на каблуках. Это в комнату вошел из хлева телёнок, цокая копытцами, подошел к купели и, окунув туда морду, немного попил из нее тёплой воды.

Старухи повалились на колени. Я смутно думал: ну вот, у нас здесь всё будет как в Святом Семействе, как в яслях в Вифлееме, вот и телёнок в избу взошёл, а там, глядишь, и мать-корова придёт, а за нею коза, а за нею овца, и пастухи явятся, приведут собак с волчиными мордами, и поклонятся Тому, Кто наконец пришёл на свет, и вот, я Ему тоже поклонюсь; а кто же такой сам человек, разве не создан он по образу и подобию Божию, разве в человеке Бог не пребывает, в каждом, во всякую минуту жизни его, и что же мне делать в новоявленных яслях, Господи? Какие молитвы читать, какие мелодии во славу новой жизни петь?

И головою в холодную воду я – прыгнул!

Как в Ледовитый океан – со скалы, унизанной тысячью галдящих птиц!

И стал я громко, торжественно петь и огненно читать!

И я сам, сам те пламенные молитвы на ходу сочинял, и Господь меня простил за это, и не только простил, а в сём новом, северном Вифлееме, в сердцевине лютых полярных морозов, в скрещении кровавых закатных, посмертных ножей, среди расстеленных по выставшей земле белых парчовых платов, неистово, яростно сверкающих под низким молочным, сливочным Солнцем и под солью-россыпью юродивых звёзд, Господь меня – да, меня! жалкого слугу Своего! разнесчастливого, битого-забытого иерея Своего! каждогодневного пахаря чернозёмного-вселенского, безграничного поля Своего! – поддержал, ободрил, обладал, с небес сильною рукой перекрестил! Так, без слова единого, Он сказал мне: делай, что должен делать, и буду Я тебе помощь!

Не было у меня снежных парчовых одежд, не было белых нарукавниц; не было свечей длинных, вечно горящих, не было кадила, чтобы покадить щедро и густо вокруг купели; а была лишь купель, вот она, еще вчера она была жестяным корытом, и был младенец, красный как вино, лежал на полу на рваной простынке, сучил ножонками и орал, и обрезанную пуповину ему уж обмотали ветошью старухи; и обошел я вокруг купели, поднимая руку, будто бы кадил, и крестились старухи, стоя на коленях, и хозяин, с бородою седой, длинной, чистый старец Симеон, на колени в дверном проеме встал, и низко, в пол, поклонился я им всем, и родильнице нижайше поклонился.

И за диакона глаголил:

– Благослови, Владыко!

И, сам за себя, радостно возгласил:

– Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

И снова за диакона возглашал ектенью:

– Міромъ Господу помолимся... О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся... О мире всего Міра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся... О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся... О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе... Патриархе...

Слѣзы сами полились.

Так и лились на рот, на губы поющие, на сияющие слова. На прошлое и будущее.

– О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся... О еже освятитися воде ей, силою... силою и действием... и... и Святым Духом... и наитием Святаго Духа... Господу помолимся... О еже достойну быти нетленнаго Царствия в ней крещаемому, Господу помолимся... О еже сохранить ему одежду Крещения, и обручение Духа нескверно и непорочно, в день страшный Христа Бога нашего, Господу помолимся... О еже быти ему воде сей банею пакибытия, оставлению грехов и одежды нетления, Господу помолимся!.. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию... Пресвятую, Пречистую, Препоблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувшие, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим... Тебе, Господи!..

Ектенью я ещё помнил. Все диаконы мои, что мне сослужили, глаголали её исправно и без запинки. А вот мою, тайную молитву, что я над крещаемым шёпотом должен был читать, я тихо пел из сердца моего, понимая: забыл, требника нет, молиться надо, и что есть молитва, как не славословие изнутри души? Песня любящего, кровью омытого сердца, что бьётся и верит: никогда не умру.

– Боже, милостив буди ко мне, грешному! Боже, смилуйся над нами всеми... Ты все тайны наши один ведаешь. Ничто от Тебя не укроется. Ты нас на ладони держишь. Мы все Твои птахи, Твои крохи. Все мы обнажены перед очами Твоими. И если что сотворим мы ужасного и грешного, Ты все равно будешь ожидать от нас, безумных, покаяния... а мы-то ведь каяться не умеем никто... Омой, Господи, чистыми Твоими слезами наши скверну телесную и скверну душевную! Ты чист, Ты свят. Подари нам совершенную веру и самую небесную свободу! Мы рабы греха, а Ты человеколюбец. Ниспошли нам великую силу Твою для сражения со злом. Вот человек родился на свет; подари ему, Господи, истину Твою! Пусть пребудет он и душа его, и сердце его в лоне Твоей святой, соборной и Апостольской Церкви... Господи... услышь... спаси и сохрани...

Я помнил: теперь надо громко возглашать молитву, во весь голос.

Старухи всё ниже клонили головы и всё чаще крестились. Хозяин безмолвно глядел на меня. Он видел меня не в нищей истрепанной одежке, а в лучезарной ризе.

Восторг светился в его глазах и искрами перебежал на людей, утварь, черные староверские иконы по стенам мрачного сруба, а из тьмы образов наплывало и вспыхивало забытое золото небесной тайнописью.

Рожденный на свет мальчик внезапно замер, перестал повизгивать поросёночком и кряхтеть, умолк, прислушивался к тишине, к шёпоту. А когда я стал молиться громко, на всю избу – вздрогнул всем красным тельцем и повернул ко мне лысую головёнку.

– Чудны дела Твои, Господи! Велик Ты, Господь наш, и славен на всю землю и все небеса! Пою все Твои чудеса, что Ты совершил среди людей, и те, что ещё совершишь, о Втором Твоем Пришествии! Ты держишь в руке Твоей всякую земную тварь. Всеми четырьмя стихиями Ты повелеваешь! Огонь, земля, вода, воздух... воздух есть Ты Сам, и Тобою мы дышим! Пред Тобою трепещут все люди и звери, Тебе сияет Солнце, Тебе мерцает Луна... Тебя обступают звёзды, к Тебе стремится свет, Тебе раскрываются бездны, тебе немолчно журчат источники... Кожею телячьей ты развернул над землёю родное небо! Утвердил Ты родную землю на водах! Обнял ты море великое песком и камнями! Служат Тебе Ангелы... и Архангелы... многоочитые Херувимы и шестикрылые Серафимы... Господи! Неподвластен Ты языку человеческому. Безначальный Ты и несказанный. Явился Ты на землю нашу во образе человека, и, как раб, как крестьянин простой, по пыльным дорогам ходил... и ученики Твои смиренно шли за Тобой... И зрел Ты, как диавол мучит род человеческий, истязает его, и захотел Ты человека спасти! И спас! Ты... спас нас... всех...

Младенец глядел на меня глазами круглыми, тёмными, бездонными, так глядел, будто всё понимал.

– Исповедуем благодать Твою, Господи, проповедуем милость Твою! Девственную утробу Матери Твоей Пресвятой Богородицы освятил Ты рождением Твоим. Ты на земле явился, и жизнь Твою на земле прожил среди нас, человеков. В реке Иордан крестился Ты, вошел в воду, и Отец Твой с небес ниспослал Тебе Святаго Духа в виде голубя. Явись и ныне, Господь наш! И освяти сию крещальную воду наитием Святаго Духа Твоего! И дай той воде благодать избавления, Иордана благословение, сотвори источник нетления, дар освящения, грехов разрешение, недугов исцеление... демонов всех погуби, Ангельскую крепость возведи... Да исчезнет зло и все враги Твои от произнесения одного дивного, славного имени Твоего!

Я перекрестил воду в купели, трижды окунувши в неё пальцы.

Слова Таинства воссияли в памяти. Я считал их с небес. Эти – вспомнил точно.

– Да сокрушатся под знамением образа Креста Твоего вся сопротивная силы...

Дальше будто волна на меня накатила. Сквозь водяную толщу я еле различал буквицы, они тут же начинали звучать. Это было диво дивное – я видел словеса, и я их сразу слышал, и они таяли у меня на губах, и под строгим, без дна, взором младенца я смущался, вспоминая и забывая, терялся, дрожал, боялся, а в страхе душа все равно ликовала, новый человек родился, и я, я крещая его, Господи!

– Ты даровал нам, Господи, свыше рождение водою и Духом...

Елей, дальше ведь елей... а нет, нет у меня святого масла... вообрази, вообрази...

– Быти, быти тому помазанию нетления... оружию правды... обновлению души и тела... всякого диавольского действия отгнанию... во славу Твою, Отче, и Единородного Твоего Сына, и Пресвятого, благого и животворящего Твоего Духа...

Старуха, что поближе ко мне на коленях стояла, встала, крихтя и задыхаясь, взяла на руки младенчика и поднесла ко мне. Я окунул пальцы в воду и помазал ребенку лоб и грудь.

– Помазуются раб Божий... как назвали?... пока никак?... пусть будет Алексей, человек Божий... раб Божий Алексей, елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

Мазал уши.

– Во слышание веры...

Мазал руки.

– Руки Твои, Господи, сотворили меня и создали меня.

Мазал ноги. Младенчик скрючил ноги и захныкал.

– Ходить теперь ему по стопам заповедей Твоих.

Я спросил старуху:

– В какой стороне восток?

Старуха, зажав беззубый рот рукой, другой рукой махнула; там чернели ночные окна непроглядной, довременной сажей.

Я пропел торжественно, глядя на восток:

– Крещается раб Божий Алексей, во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь.

А теперь что? А теперь тридцать первый Давидов псалом. Помнишь, не помнишь – пой! Пой, что помнишь! Ты сам себе требник. Ты Господень поводырь, ты Его сюда привёл, в ледяную избу на краю света! А может, это ты слепец, а Он твой поводырь, и влёкся ты за Ним, на свет и смех Его, на нежно звучащее в ночи слово Его! И так пришли вы оба к людям, во чьей семье пополнение; и откуда тебе знать, как сложится жизнь мальчонки Алексея, на какой войне он сгинет или за какой грех его к стенке поставят и расстреляют; Время не знает никто; но иногда, иногда Время расступается перед тобой, бедный человек, как Черное море расступилось перед воинством Моисеевым, и сомкнулось вновь перед войском фараоновым; и можно в прозрачной, слёзно-соленой воде разглядеть всё, сужденное на веку. Тебе или кому другому. Другой, он твоя родня. Вы все близко. Вы все едины.

– Беззаконие мое познах и греха моего не покрых... Ты еси прибежище мое от скорби... Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведнии...

Другая старуха встала с колен на удивление легко, как девица. Сдержнула с табурета сложенную простыню, встряхнула, развернула. Подала мне. Я закутал ребенка в простынку. Он опять заплакал, громко, требовательно; потом согрелся, умолк. Мать лежала на полу, я время от времени поглядывал на ее красное, мокрое лицо. Она безмолвно улыбалась и вытирала лицо ладонью.

– Облачается раб Божий Алексей... в ризу правды... вот имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь...

И некому со мной, одиноким, было петь последний тропарь, и сам я его спел, один, светло и сурово, может, и мимо нот, а может, и верно.

– Ризу мне подаждь светлу! Одейся светом, яко ризою! Многомилостиве Христе Боже наш!

Я положил младенца матери на грудь и воздел руки. Сам, весь, превратился в одну хвалебную песнь Господу. Старухи подхватили за мной немудрёный мотив тропаря, дребезжащими голосёнками грянули:

– Яко ризою!.. Многомилостиве... Христе Боже! Наш!

После Таинства Крещения меня старухи угостили блинами из серой муки. Я давно не едал ничего более вкусного. Когда съел последний на моей миске блин, старуха, похожая на тощую девочку, вот на тебя, дитяtko, чем-то похожая, длинно, долго поглядела на меня и заплакала.

Среди ночи меня под руки, как Царя, отвели в мою избу. Я задираю голову и глядел на звёзды, пока мы медленно шли, перебирались через наметённые за вечер сугробы. Звёзды походили на маленьких се-

ребряных птичек. Они беззвучно щебетали. Там, невысказанно высоко, в запредельной дали. Никогда мы там, человеки, не будем. Никогда не поглядим на звёзды вблизи. Что есть звезда? Сестра нашего Солнца. Так же пылает, так же тебя жжёт, и сожжёт, если близко подлететь.

Завернул сильнейший мороз. Если и жили в Саблине птицы, они все умерли. Все валяются в снегу окоченелыми комочками. А человек идёт. Ещё бредет. Ещё и на свет рождает человека. Нет предела жизни, кроме смерти одной. Смерть свята. Она Мать. Она полуночная скорбная Богородица: уводит нас за руку от Мира людей в небесный Мирь. Дул ветер, обжигал нам лица: хозяину, он шел праворучь меня, легконогой старухе леворучь, закутанной во тьму платков с кистями, и мне. Я понимал: сейчас отморожу щеки. Вырвал у хозяина из-под цепкой рукавицы руку и закрылся рукавом.

– Што?! Морозьяка заел?!

– Да ветер! – выкрикнул я из-за руки.

– Сивер дуеть! Злой!

Мы уже подходили к моей избе.

– А не страшно тут тебе, батюшко?!

Хозяин орал как на пожаре.

Сквозь вой ветра мало что было слышать.

– Нет! А кого тут бояться!

– Ну! Есть ково! Волков! Ай белых медведёв! С моря прийдуть!

Я весело махнул рукой.

Вошел в избу. Запер дверь на задвижку. Выдохнул. Пар за клубился, я стоял в клубах густого сизого пара, как лошадь среди метелицы. Чего ради мне бояться? Из озорства, а может, из упрямства я вернулся к двери и открыл её изнутри.

Лёг спать в одежде. Не мог согреться. Надвинул треух на лицо. Дышал в него. Молитву читал. Винно-красное личико младенца, его сперва узко-раскосые, потом вдруг широко раскрытые, иконно-круглые глаза так и стояли передо мной. Плыли во мраке, маячили вспышками радости, делали таинственные круги, возвращались. И запах, запах молока в ноздрях, молозива, коровий, сладкий, бабий запах. Возвращение. Вернуться. Передо мной, как на иконе, встали из тьмы люди, а быть может, уже святые. Моя жена и двое моих детей. Я понял: их нет на свете. Убили? Захворали и умерли? Никто не знал, и я не знал. Один Бог знал. Я ушёл от них на войну. Где моя война? Где моя семья? Где я теперь?

Мне показалось: дверь скрипнула. И шаги почудились в сенях, осторожные, мягкие. В валенках движется тать, а может, в пимах. Я сбросил с лица треух и приподнялся на локтях, слушал. Тихо, тихо двигалось по сеням Живое, жизнь на то и создана, чтобы двигаться, шевелиться, лететь, идти, ползти. И ни ножа у меня под сырою холодной подушкой, ни топора под нарами. Чем буду сражаться?

А нужно ли сражаться?

Я сидел на кровати и таращился во мрак, беременный безумием. Тихо, говорил я себе, тихо, не шуми, ты тут есть и в то же время тебя нет. Застыл, глыба льда. Глубоко, далеко под слоями льда стучало сердце. Стучала жизнь, просила выхода. Выхода не было. Сейчас откроется дверь, и что я скажу, когда увижу?

Кого? Что увижу?

Дверь из сеней в комнату подалась. Я сидел ледяною фигурой. Тихо, очень медленно в избу вошла женщина. Шуба, тряпки, платки, шарфы.

Она сбросила рукавицы. Медленно разматывала платки, бросала на пол. Хрипло дышала. Из-под платка в лунном свете, сочащемся из бельмастого окна, сверкнули русые косы. Женщина низко опустила лицо. Что она увидела на грязном полу? Мои следы? Зверьи, птичьи письма?

– Зачем ты здесь?

Молчит.

– Кто тебя привез сюда, на край земли?

Молчит.

И я, я ведь знаю, кто она. Но сам себе про это молчу.

Нельзя про это говорить.

Никогда. Никому.

Надо с ней говорить. Она ответит. Пусть хоть выдохом, хоть смехом. Хоть заплачет.

– Ты пришла... чтобы...

Я догадался.

– Мне сказать... о моей...

Нельзя договаривать. Нельзя человеку знать часа своего. Никто не знает.

Она вскинула голову и повернула ко мне лицо. Полной Луной забелело оно в холодной, замогильной темноте избы.

– Я очень сильно болею. Страшно болею. Никто не лечит. Нечем лечить. Я далеко на Севере. Потерпи немного. Тебя привезут ко мне. Мы увидимся. На горе себе увидимся. Нам бы...

Опять молчит.

А я слушаю её молчание.

Господи! Только пусть не уходит! Никуда! И никогда!

Слушаю, молчу и дрожу.

– Лучше... не встречаться. Беда будет... и сказать не могу, какая... беда, беда, все мы в беде... мы из неё не выберемся... Я бы хотела... хотела... чтобы ты был героем... героем... но ты не герой... нет... но я так... так тебя... нет, нет, не слушай меня, радость есть, есть... есть радость, большая радость... её только задавили, задушили... ты слышал... ты всё запомнил, всё... прости меня. Прости... если сможешь!..

Я хотел сказать ей: сядь, Душа моя, вон табурет, устала ты, – и не мог.

И она замолчала.

Отвернулась. Ждала. Чего? Слова моего?

Кончились слова. Зачем Душе слова? Она же без слов. Дышит.

Медленно, как и вошла в избу, шагнула к двери, вышла в сенцы.

Я услышал, как отворилась и захлопнулась дверь в ночь, мороз и звёзды.

<...>

Приказ, я ждал приказа. Есть власть, и есть человек, её слуга. Я пре- бывал слугою Господа, и я смирялся перед властью страны моей: ведь я сам возносил молитвы за здравие владык наших в каждой Ектенье. Приказ раздался с ясного многозвёздного неба. Меня срочно вызвали в Туруханск. Я ехал в телеге, лошадь еле плелась. Ехал в нартах, на собаках: десять могучих собачин в нарты запрягли, впереди сидел каюр с деревянной длинной палкой, позади я, в тупле необъятном, мехо- вою горой. Собаки сперва бежали дружно и весело, потом вдруг стали,

зарычали, сцепились лапами, зубами; передрались. Я сидел и глядел, как псы дерутся. Вот так и люди грызутся; и кто нас разнимет навеки, какой каюр?

Господи, зачем Ты положил горем нашим, на все времена, ненависть и войну?

Ночевали мы во всяких избах, и в зажиточных, и в нищих. И в нищих избенках люди были добрее и теплее, а в богатых срубках – надменнее и жаднее; хорошо каюр взял с собой в дорогу кожаный мешок с провизией, и время от времени, пока мы ехали, вытаскивал из мешка разную еду и мне, не глядя, через плечо совал: то вареное яйцо, то кусок солины, то вяленую кумжу. На морозе я не мог угрызть мясо и рыбу: они превращались в камень. Я дрожал от голода и смеялся над собой.

Прибыли. Сгрузили меня с нарт на машину, и градоначальник повез меня в больницу. Чертыхался. Полбольницы народу умерло от неизвестной инфекции. В городе тоже люди начали помирать. Меня призвали определить болезнь и спасти оставшихся. Господи, молился я, дай сил и вразумления! Вошел в палату, поверх маски оглядел больных. Подошел к одному, откинул одеяло. Рубаху задрал. Так и есть. Красно-розовые пятна по животу. Сыпь. Больной положил руки на лоб и сморщился.

– Голова... раскалывацца... дохтур...

Я укрыл его тощим верблюжьим одеялом и возвысил голос.

– Всё белье в прожарку! Дезинфекция! Дезинсекция! Всей больницы! Уничтожить вшей! Где хотите раздобыть лимонов! Ударные дозы витамина цэ! У кого осложнения на сердце – камфора внутримышечно! Влажная уборка!

– Война ить идет... а нам солдатиков привезли, а у них вши... мы-то думали, изничтожили... в стирку портки да гимнастерки... а тут вон...

Няечка топталась возле меня, лепетала, слезами заливаясь.

Война. Где-то шла война. Далеко от моего ссыльного Севера. Ан нет, и сюда добралась. И стала косить людей.

– Дохтур... ково паралик разбил... кто ослепши, не видит уж ни шиша...

Я шёл по палате, как вихрь, откидывал и набрасывал на людей одеяла. У всех сыпь. Все стонут.

– Врачи где?!

– Ах, с нами крестная сила... Господи, помози... перемёрли почти все дохтура-то... одне нянюшки остались...

– Хоть один врач?!

В палату медленно вошёл человек в длиннющем белом халате. Полы халата били его по пяткам. Я подошел и быстро, нахально расстегнул на его груди пуговицы халата, рванул воротник рубашки. Сыпь.

– Почему вы, инфицированный, не ляжете на лечение?!

Доктор покривил рот. Так он пытался улыбнуться.

– Кто же бы их всех... лечил...

Показал на всех глазами. Рукой не было сил показать. Руки у него так и висели, веревками вдоль тела. Он качнулся, как пьяный, я подхватил его, довел до койки и усадил. Сам раздел его, до нижнего белья. Снял с ног его обувь. Закинул ему ноги на матрац.

Подумал и стащил с него сорочку и кальсоны. Он не сопротивлялся.

Я обернулся к няечке. Швырнул на пол белье врача.

– Стирка! Дезинсекция! Руками не прикасайтесь! Щётка, совок, ведро!

Нянечка ушла, причитая, уткой переваливаясь с боку на бок.
 Больные в палате молчали.
 Я понял, почему меня вызвали из Саблина.
 Все врачи туруханской больницы умерли от сыпного тифа.

Я боролся с тифом в Туруханске, а время шло. Ход его неумолим. Нам надо это понять и принять; а мы всё восстаем, кричим и плачем, время теряя. Не теряй Времени, дитя; обними его, прижми к сердцу, только сердце способно Время вместить, всё сразу, целиком, навсегда.

Во Времени раздался приказ, предсказанный мне моею Душой. Мне приказ тот сначала по бумаге прочитали, потом устно изъяснили, потом на меня наорали, что тяну время: не медли! сутки тебе на сборы!.. – и я подумал в который раз: почему человеку, что снаряжается в дальний путь, так мало времени отпущено на то, чтобы понять себя, других живых, всех мёртвых и бьющееся сердце свое. Вещи, что такое вещи? Всевозможные ложки, кружки, кисеты, ящики, коробки, тряпки, кастрюли, мешки, узлы и торбы – что это? Человечий скарб кладется в ёмкости, укладывается аккуратно, если время есть в запасе, или швыряется в котомки не глядя, если нет времени. Нет времени! Его и правда нет! Его можно взглядом пронизать. На себя, как мясо на острый вертел, насадить. Ты вращаешься, Мирь горит под тобой, и ты горишь, а Время твоё на великом огне поджаривается и становится твоею едой. Рыбой твоей, хлебом твоим, питьём твоим, и пьёшь ты Время жадно, хочешь выпить до дна, чтобы больше никогда тебя не мучила жажда. А дна нет. Всё нет и нет. Глубок сосуд, не выпить, не вычерпать. Бездонен. А ты от горя безумен. Радости желаешь! Праздника! Вот он, праздник, тебе: смерть вокруг.

Смерть людей. Смерть твоя.

Кругом смерть. Всюду смерть.

Так зачем ты спасаешь от смерти людей? Разве не благо она? Разве не прекращает страдать человек, обнимаемый ею крепко и цепко на краю бытия, уводимый ею?

Я собирался быстро, я уже умел быстро собираться в дорогу. Заплечный мешок, кружка, ложка, ножик, и в путь. Ножницы – нужны. Скальпель – нужен. Шприц, игла – да. Крест нательный – на мне. Идёт война. Нет у меня оружия. Моё оружие – Бог. Самое мощное. Самое победное. Навылет. Умри и возродись. Я тоже сражаюсь. Моя правда? Нет. Божия правда. За Ним иду. Его проповедую. Им излечиваю! Им спасаюсь.

– Ну как, батюшка врач, готов к труду и обороне?! Эк, шибко как вещички-то сложил! Хвалю! Давай в авто шуруй! Опять на севера помчим!

Я застыл с дорожным узлом за плечами.

– Как на севера? А я думал...

– Думай, да башку не сломай! Приказано в Дудинку тебя доставить!

Я закрыл глаза и представил себе карту, и извивы рек по ней, и синий узор Енисея, и устье его широченное, и в памяти моей всплыло это название, порт Дудинка, да, точно, смешное такое имечко, детское. Дует дитя в дуду. Песню играет.

– А там что... в больнице работать?

Я знал, что веселый молодой, в лисьей ушанке, охранник ответит.

– Не-е-е-ет! На корабль погрузят! На ледокол! Ну так нынче и все ледоколы в стране воюют! И поплывёшь, горемычный! По морюшку-

окиану! На запад! На пересылку! А там уж начальство решит, куда тебя заткнуть, и надолго ли! А может, и на всю жизньюшку!

Я плотно закрыл за собою дверь, и мы оба потопали по хрусткому снежку к машине. Ярилось Солнце. Заливало нас ледяным жёлтым молоком. Краснощёкий охранник, смеясь, с лязгом распахнул дверцу.

– Садись, доктор! Как царя повезу! Тепло в таратайке у меня! Еду-то прихватил? А то у меня с собой и чекушка есть! Оно, конечно, в дороге ни-ни, а на привале – можно! Да и закусь есть! Корюшка копченая! Ум отъешь!

Я втиснулся в кабину. Закрыл глаза. Увидел в незрячей мгле икону Господа Христа. Спас Нерукотворный. Господь широко, строго, необъятно, всем широким холодным окоёмом глядел на меня. А зрачки его, в сердцевине широко подо лбом расставленных глаз, горели ночным пламенем. Скорбный рот дрогнул. Через миг еле заметно, чуть улыбнулся. Улыбкой Он меня благословил и укрепил.

Проехали много ли, мало ли, не помню. Остановились среди снегов. Охранник не заглушил мотор, он так и тарыхтел на морозе. Парень деловито ощупал на бедре кобуру, вынул из торбы чекушку и завернутую в промасленную бумагу корюшку, отпил из бутылки, крикнул и обернулся ко мне, смиренно сидящему сзади.

– Держи! Твое здоровьишко, доктор! Не болей!

Я подержал в руках чекушку, погрел.

Глотнул.

Взял из рук охранника кусок копчёной жирной корюшки. Ел.

Ел и плакал. Слёзы капали на рыбу, поливали её.

Стар я и печален стал, что ли, так спокойно и презрительно думал я о себе.

Водка огнём разлилась по телу, и я ощутил, что промёрз. Согревался.

Так, в пару крупных глотков, мы и допили охранникову чекушку. Доели корюшку. Охранник выдохнул водкой и тихо, прижмурясь, как кот, засмеялся.

– Я тебя до первого станка довезу. А дальше не поеду. Дальше – на собаках! Хорошо ты укутан? Не околеешь?

Я не мог говорить, кивнул, и он мой кивок в зеркале увидал. И опять смеялся.

– Живучий ты, доктор! Дай Бог тебе здоровья!

Сказал и прикусил губу; я в зеркале видел.

Про Бога ему нельзя было вспоминать. Бога власти давно запретили.

Зачем же власти держали меня при себе? Почему сразу не расстреляли?

Кто я такой был для них, сильнейших? Может быть, тоже сильнейший?

А равный равного ведь не убивает, так?

Что ты врешь всё, сказал я молча сам себе, что сочиняешь, равный, неравный, захотят – и убьют, и делу конец.

Пронеслось пространство, и укатилось Время. С ним машины, собаки, лошади, телеги, олени. Привезли меня в Дудинку. Прямиком в порт. В длинном, как рыба, доме на берегу, у самой кромки зальделой воды, накормили, напоили. Я ел и пил как во сне. Мне снилась моя жизнь. Я хотел совершить в ней подвиг. Хотел геройства. Хотел умереть в криках и знамёнах, с боем и славой. Хотел на войну. А вместо войны меня держали взаперти. Слава Господу, я тут, в подзвёздной тиши, под изумрудными

веерами и красными кружевами полнощного Сиянья, делал свое дело: лечил людей.

Мне кинули: сиди и жди, теперь уже скоро. Пришвартовался ледокол, меня к нему повели, спустили с борта трап. Я поднимался по трапу на корабль, мой мешок бил меня по спине. Навстречу мне двинулся моряк. Бушлат расстёгнут, бескозырка сдвинута на затылок. Уши на морозе красными лампами горят. Я понял: не капитан, простой матрос. Он протянул мне руку, и я пожал её.

– Мы заключённых везём, с Чукотки и Новой Земли, на пересылку. Вот вас захватили и ещё четверых, тут. Вы не в трюме поплывёте, в каюте, с этими четырьмя. Жратвы особой нет. Запасы для команды. Разносолов не держим. Нам приказано доставить вас на остров Анзер. Плыть долго. Не виноват, ежели оголодаете. В трюме народ помирает, мы в море выбрасываем, рыбам. И даже в мешок не зашиваем, мешков нет. Есть орудия и снаряды. И то хорошо. Всё понятно?

– Всё.

– Ну и лады.

На палубе никого, кроме нас. Морячок махнул рукой: мол, иди вон туда. Я пошагал.

Вошёл в тесное железное брюхо корабля, увидел отворённую дверь и шагнул туда.

На железных койках, привинченных громадными болтами к стенам каюты, сидели люди. Четверо. Они воззрились на меня мрачно, тягуче, липко. Сухопарый мужик с серебряной фиксой во рту, в закатанных до колен штанах показал мне на рядно, неряшливо расстеленное у стены.

– Вот здесь спать бушь.

Мужик в волчьей шубе до пят ласково пояснил:

– Все четыре койки заняты. Не обессудь.

Я молча перекрестился и сбросил с себя тулуп. Потом снял белый халат. Узники увидели мою бывалую рясю.

– Ух ты! Да ведь Бога-то никакого нет!

Я молчал.

Потом выпростал из-под рубахи нательный крест и навесил его поверх рясы. Ладонью к сердцу прижал и так ладонь держал, будто крест Господень есть малая птичка, и только я руку отпускаю, взлетит и улетит, и поминай как звали.

Медный крест, крупный, грубо сработанный, под ногами Распятого череп Адама, зелёная накипь Времени на потертой красной меди проступает, иззелена-сизая, ледяная, вот она, смертная пытка, и Он её претерпел, перенёс, за нас за всех, да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, и да бежат от лица Его вси ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут... яко тает воск от лица огня...

Я не замечал, дитя мое, что я уже читал Давидов псалом вслух, а все люди, четверо, сидят и слушают, и думают, каждый о своём, и глядят на меня исподлобья, гадают, враг я или друг, священник я истинный или маскарадное то одеянье, я подсадная утка, а может, я английский шпион, а может, я тевтонский прихвостень. Кто я? Зачем я здесь?

Я закончил молитву, взял в пальцы крест и поцеловал его.

И каждого в каюте осенил крестным знаменем.

Трое мужчин робко перекрестились. Мужик в волчьей шубе пожал плечами.

– А што же твой Честный Животворящий Крест, твой Бог нас не спас? А на мученья поволок? Где Он, твой Бог? Где спит-почиват?

Я молчал.

– Што молчишь? Нечево сказать?

Я молчал.

– Ну давай, што тушуешься! Ты жа поп! Балакай проповедь твою!

И тогда, девочка моя, я глубоко, до дна лёгких, вздохнул и выдохнул:

– Все людские страдания – Божии испытания. Они посланы нам, чтобы мы их приняли, их переносили, за них благодарили и их преодолели.

Узники молчали.

А что было говорить.

Мы плыли.

Плавание.

Мы рыбы.

Люди, они рыбы. Они плывут, носами разрезая воздух.

Мы плывём во Времени, и мы уже длинные, железные небесные рыбы, и мы стальные глубоководные рыбы, несём в брюхе смерть и других людей, так железо отныне беременно людьми.

Люди населяют корабли. Люди завидуют рыбам. Люди хотят дышать водой и этому не могут научиться. Люди не могут плыть там, где плывут тяжёлые небесные птицы, растопырив железные крылья, а могут только набиться в животы серебряных небесных птиц и там задыхаться от нехватки воздуха, от страха разбиться.

Мы плыли. Корабль качало то с боку на бок, то с носа на корму. Бортовая качка, килевая качка. Я плохо переносил морскую болезнь. Утешал себя: я привыкну, привыкну.

Мы плыли. Что мы ели? Я не хотел есть. Я ничего не хотел.

Почему моя жизнь принадлежала другим людям? Они мне приказывали, и я плыл. Приплыву, мне прикажут сойти на берег. Мне прикажут умереть, и я умру. Почему я их слушаюсь? Я должен восстать.

Если я восстану, меня убьют.

Ну и пусть убьют!

Но я хочу жить.

Зачем тебе такая жизнь?

Я лежал на полу, около меня сидел на корточках мужик в волчьей шубе, закурил папиросу, предварительно смяв её пальцами и зубами, и просил:

– Расскажи, поп, о Боге.

Я рассказывал.

Говорил очень мало. Скупое. Не мог. Тошнило.

Я видел – люди в каюте мною развлекались.

– Его распяли.

– Ево правда распяли? Хах, ето больно!

– Потом Он воскрес.

– Чёрт, воскрес! Етово быть не может! Ищо никто не воскресал.

– И верно, – подавал голос лежащий на верхней правой койке мужик, сверкая в ухмылке серебряной фиксой, – помёр так помёр, што ето за враньё, брехня.

– Воскрес.

– Врёшь ты всё!

– Воскрес.

– Ха, ха!

– Воскрес! На третий день!

– Ха, ха, ха!

Мужик со шрамом через всю рожу, лежащий на нижней левой койке, бормотал невнятно, как пьяный:

– Ты, ты... совесь-то имей, небылицы в лицах... што чешешь языком... язык твой без костей...

Я умолкал. Отворачивал лицо к стене каюты. Кусал губы.

Килевая качка. Мы то взъезжали на гребень волны, то валились вниз стремительно, так катятся салазки с высокой снеговой горы – прямо во тьму, во смерть. И разбиваются.

– Ну, чо, чо ты замолк. – Это с верхней левой койки бурчал одноглазый мужик; глаз ему выкололи ножом в драке; и я тогда не знал, что пройдет великое Время, и я тоже глаза лишусь, ничего я не знал, кроме того, что мы плывём. – Валяй, сочиняй! Скукота тут, с ума спятим. А ты про Бога валяй, романист. Антиресно веть. Ну, воскрес, и што? Што дальше-то приключилось?

– Пришли жёны... мвроносицы... ко гробу Его... а там на камне Ангел сидит.

– Ишь! – Это четвёртый наш мужик, с нижней правой койки, зубы как расчёска, восклицал, будто икал. – Ишь! Аньдел! А ты, врун, вот скажи, ты хоть разок Аньдела видал?! А! Молчок. Не видал! То-то! Што молчок, зубы на крючок?!

– И говорит Ангел жёнам: нет Его во гробе. Воскрес!

– Вот заладила сорока Якова. Воскрес, воскрес! А видел-то ево хто?!

– Ученики.

– Ишь! Он ищо и учителем работал! А жалованье ему хто платил?! Али, хошь сказать, трудился даром?!

– Ну, ты, сказитель, сказку-то дальше вали, не спи. Мы тебе кильки за сказку дадим! У Федьки в сапоге есь, солёна. Охрана оделила.

– Апостол Фома не верил. Он к Фоме пришел и пробитые руки протянул. И сказал: вложи персты свои в раны Мои.

– Ха! Ха, ха! Это и я так-то могу! Израню себе ладони скобой! Кровища потекёт! И буду теми ручонками Фомке тому в рожу тыкать! Да рази таким-то фокусам поверишь!

– Фома поверил. А Господь сказал...

Я умолкал, дитя, и плакал.

Глядел в железный потолок каюты. Горячие слезы текли по холодным щекам.

– Што нюнишься?!

– Болтай языком! А то кильки не получишь!

– Сказал: блаженны не видевшие и уверовавшие.

– Штой-то больно мудрёно балакашь!

– Да нет, Михайло, ну што ты ево заклевал. Он жа поп. Он жа и должен про веру.

– Верь, не верь, всё одно помирать.

– С верой вроде бы легче считаецца.

– А ты почём знашь? Помирал рази уже?

– Хто из нас не помирал. Все помирали.

– Я вот не помирал.

– Да хошь бы один вернулся оттедова! Да разъяснил нам всем, дуракам, што там есть.

– Ничево там нету.

– А ты почём знашь?

– Почём, почём, в морду кирпичом.

– Глянь-ка, поп ревьёт!

- Как младенец. Малодушной.
- Ну, давай, поп, пореви! Оплачь судьбину! А мы подрыхнем. Спать охота. Укачиват.
- Да, колыхат знатно. Все кишки наружу!
- А хто знат, сколь ищю плыть?
- Нихто не знат. Плыви, и всё.
- А потом сдохнем, и выкинут за борт.
- У нас поп есь, отпоёт.
- А может, он наперво сдохнет.
- А мы не попы, отпевать не умем.

Так плыли мы и плыли, во брюхе великанской железной рыбы, подобно Ионе во чреве кита, и я хотел увидеть, что нас ждёт, и закрывал глаза, и молился, и тшился рассмотреть фигуры и знаменья, восстающие со дна глазного, со дна неведомых времён, – и не мог; дребезжание ледокола, холод железного пола, когда из-под спины вбок, как змея, теряющая шкуру, уползала грязная рогожа, заслоняли чаемый Мирь Невидимый; и я молился только об одном: Господи, дай ты мне силы ещё на земле ли, на море, посредине пучины бездонной, пожить, и да, Господи, вот из этой железной кружки, путевой подружки, угостят, ведь не звери, ведь люди, горячего, дымного, страшного, вечного чаю ещё попить.

Что там колыхалось, в том море? Что я помню? Чего не помню, дитя мое, и зачем я рассказываю тебе про неслучившиеся подвиги мои? Все неслучившееся неслучайно. А то, что случилось, – задумано Богом вдвойне и втройне: ты становишься перед Его великим, необъятным зеркалом, ты теряешься в его просторе, в его Вселенском размахе, ищешь себя глазами, где же это я, в каком уголку Мира Божиего отразился, ведь это только диавол не отбрасывает тени и не имеет отражения, а всякая тварь имеет; и вот, море то северное, великанское, тот, усеянный плахами плывущих гигантских льдин, Северный Океан, тот солёный Северный Космос, его же довелось мне пройти-измерить судьбою, пройдя из конца в конец, – эта сумасшедшая вода, что качала, качала нас в колыбели, и мы сами не знали, родились мы, умерли уже или не родились еще, довременная качка, с боку на бок, с носа на корму и обратно, изводила нас и убаюкивала нас, и мы, четверо мужиков и я грешный, грешно мечтали о подводном царстве, мечтали утонуть и перестать страдать; открывать настезь мёртвые глаза там, где медленно, важно плавают яркие полосатые рыбы, где лежат на дне ржавые, обросшие водорослями и ракушками скелеты некогда красивых живых кораблей, думать без мыслей, слушать без ушей, плакать без слёз, радоваться без радости. Спросишь: а разве такое возможно? А кто поручится, что там, куда мы все уйдём, останутся при нас все наши чувства? И все пять привычных, и страшное шестое, то, что заставляет нас глядеть в колодцы Времени и видеть там Невидимое, и слышать Неслышимое, и смертно любить Бессмертное?

Как рассказать тебе о смерти? Ты такая маленькая, такая юная. Ты не поймёшь даже самого этого слова. Посмеёшься. Плечами пожмёшь. Мы всё время думаем о ней, но вслух её имени не произносим. Мы пережили в Северном Океане морской бой и переплыли смерть. Я молился, и, возможно, случилось чудо. Наш ледокол, сторожевик, и номер военный белилами боцман намалевал у него на борту, чудом

отстрелялся от вражеского тяжёлого крейсера. Ледокол пострадал, да, а на крейсере палили в нас, да всё мимо; Господь отводил от нас вражеские торпеды. Раненые, с пробоиной, мы ушли вдаль, да и крейсер повернул прочь, мы наблюдали. Битва вспыхнула и оборвалась, как во сне. Я молился за героев, а пробоина пришлась выше ватерлинии. Матросы откачали воду из трюма насосом; людей, кто в трюме плыл, спасли, но иные захлебнулись, их вышвырнули в море. Капитан велел утяжелить ледокол по здоровому борту. Я спустился в трюм. Лучше бы я не спускался туда. Я привык к виду людских страданий, а таких искажённых болью лиц я не видел ни в одном госпитале, ни в одном своём лазарете.

Деточка моя, я проповедовал им. Иногда слово это бинт, останавливающий буйную кровь, это блаженная марля, пропитанная нежным пахучим маслом. Я говорил и сам себя не слышал. Понимал: надо просто говорить, говорит, и легче станет. Пробоину заткнули старым брезентом; вот так и я, собой затыкал бреши и сквозные раны в людской плоти и людских душах.

Бой забылся и не забылся. Память – зеркало; в ней Время плывет и гаснет, уплывает, мерцая, а потом зеркало поворачивают чужие незримые, сильные руки, и как вспыхнет в дальнем углу тьмы упрямый, торжествующий свет! Я состоял из мрака и света, и, говоря Божие слово, я понимал всю малость мою и весь грех мой. Беда человека в том, что трудно, а бывает и невозможно подняться ему по золотой лестнице Иакова от тьмы – к могучим Божиим лучам. Человек смеётся над собой, смеётся над Богом, не верить легче, чем верить! Вера есть труд! А душа, что ж, она так устаёт, она так часто хочет отдыхать. Вечного отдыха хочет.

Закрывать глаза... и не проснуться... зеркало – разбить...

Николай

<...>

Мы все больше говорили друг с другом. Совместные операции нам развязали языки.

Мы спорили. Даже когда я видел: он прав, я до хрипоты спорил с ним, утверждая мою мысль.

Я показывал, доказывал, приказывал. Он смотрел мне в рот и, кажется, соглашался со мной. Может, он просто был вежлив. Воспитан. А может, признавал мою правоту.

Я видел: он у меня учился.

Всё же война меня многому научила. И я в иных аспектах хирургии чувствовал себя сильнее. И даже наглее. Нахальнее. Да я и был наглец. А он – он был Божий человек.

Иной раз мы схватывались вовсе не на почве хирургии. А так, спорили о жизни. Сражались, орали, хватали друг друга за грудки, трясли. Чуть пощёчины друг другу не давали. Хотя были к мордобитию близки. Я никогда не думал, что мой божественный доктор может так разъяряться. И было бы от чего! Идейные стычки! О жизни, видишь ли, два военных врача на досуге беседуют! Так беседуют, что хоть всех святых выноси!

Этак-то страстно, сумасшедше мы пикировались и в операционной. Над раскромсанным, разъятым телом больного.

Лежит на столе распаханное человеческое тело. Вспаханное поле. Разрезаны мышцы, пережаты сосуды, рассечена брюшина, разведены по обе стороны смерти сухожилия и нервные окончания. Человек устроен очень просто. Я устройство человека знаю наизусть. И у всех оно одно и то же. Нет человека без вегетативной нервной системы, и нет человека без хрящей и костей, и нет человека без сердца.

За окном надувала березовые почки туманной зеленью холодная весна. Круглым древним зеркалом отражала землю и воду холодная Луна. С моря дул резкий сильный ветер, гнул деревья и кусты.

– Вот она, весна! Весна и война! Идёт, идёт ваша война! Ваша – всегдашняя! Ну что, довольны! Вот, да, режьте, режьте! Врезайте! Любуйтесь! И, что самое интересное, вы тут будете копать, ковыряться, хоть целый век все телеса расковыривать, а души – не найдёте! Нет её! Нет! Нет! Нигде! – Я погружал руки в развороченный живот. – Живот, он же жизнь! Так, кажется, по-вашему, по-церковному?! Ну? Где она? Где душа?! А?! Я вас спрашиваю! Что молчите! Или, может, она в конкретном месте прячется?! Под брыжейкой?! В поджелудочной железе?! В селезёнке? Ну? Где?!

Я зло, с грохотом бросал скальпель и зажимы на укрытый стеклом подсобный хирургический стол. Окровавленные железки скользили по стеклу и скатывались на пол. Операционная сестра подбежала и живо подхватывала инструменты с пола: кипятить.

Доктор подходил ко мне. Я вцеплялся глазами ему в лицо. Он не выглядел ни растерянным, ни обескураженным. Он стоял передо мной безоружный, а я видел, чувствовал его вооружённым до зубов; и чем? Его дурацкой, необъяснимой верой. Всего лишь верой! Да забодал он уже меня этой верой, бык мирской!

Он протягивал над раскромсанным больным на столе руки. Ладонями вниз. Я мог поклясться, что из его ладоней на больного, пребывающего в наркотическом сне, льются потоки светящегося, солнечного тепла. Я, на расстоянии, осязал это тепло. Изумлялся. Ужасался. Но ничего не говорил.

– Нет души, говорите?

– Нет! Её не-е-е-ет!

Я кричал, как обречённый. Так кричат на плахе казнимые. Так кричат самоубийцы, прыгая вниз со страшной высоты.

– Так вот неправда ваша. Она есть. – Он начинал дрожать. – Есть, есть... есть...

Я бы мог поклясться: на моих глазах рана затягивалась.

Бред. Фокус. Шарлатанство. Небыль. Быть такого не может. Нигде, ни с кем и никогда.

Я переставал видеть и слышать. Стоял, как деревянный болван. Потом очухивался. Глядел на аккуратно зашитый разрез. Доктор уже ставил перчатки, уже тщательно, долго мыл руки под неистово греющим оловянным рукомойником.

Стихи по кругу

Олег РЯБОВ
Нижний Новгород

Одиночество

1

Ты – босиком, а я как будто сплю.
Ты босиком выходишь на крыльцо
А я тебя по шорохам ловлю,
Твое дыханье и твоё лицо.

Твоё тепло хранит твоя подушка,
Еще зовет тебя твой телефон,
Который никому уже не нужен –
Ты знаешь, это очень не легко:

Всё позабыв, принять твой новый образ,
Как тень, как звук, как память, наконец.
Ах, как хотелось вместе! Помню, оба
Мы шли с тобою вместе под венец.

Зачем-то ты меня опередила,
Оставив мне сомнения и боль,
И кто бы мне чуть-чуть прибавил силы,
Чтоб легче было справиться с собой.

<...>

4

Прикурю от солнца сигарету,
Зачерпну из облака вина
И рвану гулять по белу свету,
Прыгнув из открытого окна, –

Только не почувствую полёта,
Грохнусь оземь родную свою.
Там, в сырой земле ты ждёшь кого-то –
Может, душу грешную мою?

Что тебе теперь мои заботы?
Ты теперь не плачешь? Хорошо!
Ждёшь меня? Или ещё кого-то?
Я приду – иду пока ещё!

Замер мир в безмолвном ожиданье,
Ты теперь вне времени – увы.
Май гудит вишневыми садами,
Небо дразнит соком синевы.

5

Разбудит дремавшую заводь
Трофейная щука хвостом,
И будут сегодня и завтра,
И будут сто лет, и потом,
Откуда и не обернуться,
Но будут цвести не тужить
Шиповник и желтые блюда
Кувшинок в прибрежной глуши.

Не думая сильно о сроках,
Забыв свои зимние сны,
Надсадно трезвонит сорока,
Бьёт дятел колоду сосны.
Гуляет глухарь по дороге,
Не думая, дальше как жить.
Чтоб облако клювом потрогать,
Взбираются в небо стрижи.

Где взять мне уверенность эту,
Продравшись в их искренний мир,
Без мыслей про нашу планету,
Стать снова собою самим?
Но что-то тревожит мне память –
Что будет, настанет зима,
Мы печки растопим дровами,
И будем мы вновь зимовать.

6

Какое холодное лето,
Какая густая печаль –
Привычно горчит сигарета,
Горчит одиночеством чай.
В окошко стучит безнадежность,
И не у кого попросить
Таблетку от боли, от дрожи,
И от истощения сил.

Рустам МАВЛИХАНОВ
Салават

Кто ты?

Бронзовый лик, оловянное тело.
Кто видит то, у чего нет предела?

Взгляд высекает звёзды, как искры,
Градом комет бесконечного зикра.

Кто ты? Кто смотрит моими глазами
В лик свой и тьму нарушает волнами
Жажды творенья, познания дрожью,
Истиной, раями, адами, ложью?

Прыгнуть бы нам с золотого чертога...
Но невесомость.
И Свет у порога.

Комета

Я – запятая в Книге Бытия.
Меж звёздных строк я хвост коня, что блед.
Мне Солнцем предначертано сиять,
Как тишине над пустотой бесед.

Мой всадник – Смерть, но не окончен текст,
Где дрожь земли, людей и знак чумы.
Мы формой полумесяц, духом – крест.
И в перстне вправленный алмаз – то мы¹.

Евгений ХАРИТОНОВ

Белгород

Прифронтовой город

Пустые кварталы. На окнах кресты
Из старой газеты и скотча.
Темнеет. И скоро из той темноты
Снарядами смерть захохочет.

Вновь городу будет всю ночь не до сна –
Нет смысла гадать на ромашке.
Вот первые взрывы и стонет стена
Измученной пятиэтажки.

А рядом воронки обугленный след –
Автограф резвящейся смерти.
Об этой войне будут тысячу лет
Рассказывать детям, поверьте.

¹ Отсылка к рубаи:

Мы цель создання, смысл его отменный,
Взор Божества и сущность зрящих глаз.
Окружность мира – перстень драгоценный,
А мы в том перстне – вправленный алмаз.

Омар Хайям, перевод К. Бальмонта.

Русский мир

*Моему другу, добровольцу
СВО из Белгорода с позывным
«Масел»*

Нелегка у России дорога,
За войною приходит война.
Русский мир под защитой у Бога,
Как и было во все времена.

Вышло время излишнего трёпа,
Вновь страна призвала мужиков.
Не впервой нам смотреть из окопов
На бескрайнюю гарь облаков.

Мы вернёмся, уставшими, правда,
От бессонных ночей под огнём.
Ни сегодня, родные, ни завтра,
Но придём, непременно придём!

Не встречайте нас, грешных, пирами,
Не тревожьте слезами из глаз.
Мы, поверьте, воспримем дарами
То, что ждали и верили в нас!

Ни к чему нам все почести эти,
Нам бы только покоя глоток.
И чтоб все эти сукины дети
Зазубрили от русских урок!

Петр РОДИН

Воскресенское, Нижегородская область

* * *

Назревала гроза.
Над Ветлугой две чёрные тучи,
Как Перуна глаза,
Всем ударом грозили могучим.

Вовсе не рокотал,
А с сухим, оглушительным треском
Гром деревья ломал –
Мне казалось, в глухих перелесках.

Молний огненных стрел
Даже мышка в норе опасалась.
А я всё же успел
Лечь под лодку. А что оставалось?

Не испуг, а восторг
 Охватил мою душу, поверьте.
 А ведь ОН бы вот смог
 Погасить и все войны на свете!

* * *

Уходят дни весны цепочкой в лето.
 Гирлянды одуванчиков смели
 Два майских ливня. На Ветлуге где-то
 Две лодки оказались на мели.

У той деревни, у того причала,
 Где детство босоное моё
 Старушка-ива на ветвях качала,
 Где и сейчас соловушка поёт.

И где тот плот – ворота от сарая –
 И парус из плащовки первый мой?
 Из-под него я заскользил, ныряя,
 В большую жизнь, как в омут головой.

...Щедра же наша память на услуги.
 И где вы, легкокрылые мечты?
 Приеду я. На берегу Ветлуги
 Найду избу, где оставалась ты...

Андрей БОНДАРЕНКО

Клинцы, Брянская область

Пчела

На вылете из жёлтого цветка
 (Сказал бы вам название, но как?
 Все жёлтые цветы одной природы:
 конфет «Шипучки» фабрики Roshen,
 опустошенного рожка на «калаше»,
 шкворчащего закатом небосвода...)

Итак, на лепестковой полосе,
 как на горячем бархатном шоссе,
 на тычущем в безвариантность пальце,
 пчела встряхнула пыльные мешки
 смешно нахохлилась на краешке – и
 пчела упала

избыток щёкотных щетинных ног
 ей не помог
 ни избежать, ни защититься, но

закувыркавшись в спелом и тягучем
 (таким бывает перед ночью день,

и отработанная жижица в движении,
и на ожоге оплывает жир (барсучий)
слюда тряслась и билась звонким боем,
проваливаясь в голубое

обрушиваясь в синее, как в счастье
небесных сумасшедших астр
и бархатцев – ей место только там
Пчела не может попросту упасть,
и стать землёй чужой и хлебородной.
Она не для того, чтоб ты потрогал.

нет не сейчас

* * *

Как с антресоли падает на стул
подшивка старых дедовских журналов,
ты так же ухнула в сугроб, с таким же шумом:
глухим, скрипучим и каким-то жалким.
Секунду можно думать, что уснула,

когда б не этот изумленный взгляд.
И тут же, каждый на особый лад,

хохочем до икоты, до простуды.
Не сможешь увернуться, и я сверху
в тебя, в сугроб и в память упаду.

Мне не понять, в каком это году,
и некого спросить, чтобы проверить.

Лейла ОРЕН

Нижний Новгород

Из цикла «Бездонные небеса»

Посвящается Вадиму Месяцу

*Сердце, в котором исчезло
желание обладать чем-либо, –
это бездонные небеса, прояснившиеся
после ненастья.*

Хун Цзычен

* * *

Считаю со страниц пометки прошлого,
Сгребу в кулак осколки, словно крошево,
Засуну их в невидимый карманчик,
И в путь, и вдаль – туда, где всё иначе.

Где давние напевы и черты.
Где поля тишь. Где снова ты стоишь.
И явь не замалюет чёрным рты.
Где снятся сны. Где долго снятся сны.
Где снова ты. Где снова я и ты.

* * *

Спустя пять лет иль просто рукава,
Я думаю: права иль не права
Притворная правдивость, диво чар
И дом, в котором вечер ты встречал.
И чай к полуночи – и снова получи
Поток привычных мыслей и событий
И бытиё. Твоё. Или моё.
И новое нелепое открытие –
Как жар, как дар, как парные скачки
Времён, давленья, временных прелюдий.
И вежи – как разрозненные люди,
Червей нанизывающие на крючки.

Колышутся у окон занавески,
Прикрыв от взгляда проблески тепла.
Не верь, что догорело всё дотла –
Лишь линия распалась на отрезки.

И первое с начала. Иль с конца
Не позволяет разглядеть лица.

Вениамин ХАНОВ

Родился в 1952 году в ОЛП № 8 Варнавинского района. Окончил Горьковский педагогический институт, работал учителем русского языка и литературы в Якутии, в школах города Горького, преподавателем вузов. Кандидат филологических наук, доцент. Заведовал кафедрой теории и методики обучения русской словесности Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина.

Среди научных работ «Аллюзии inferнального в создании образа ночлежки в драме М. Горького “На дне”» (2009), «Мифопоэтическая основа образа Сатина в драме М. Горького “На дне”» (2009), «Мифопоэтическая основа образов Силана и Марьи в рассказе М. Горького “На плотях”» (2009), «Символика inferнального в рассказах М. Горького о “бывших людях”» (2012) и другие.

Живет в Нижнем Новгороде.

УЧИТЕЛЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

100 лет российскому литературоведу
профессору Ивану Кирилловичу Кузьмичёву. Портрет
в беседах и воспоминаниях

Удивительно быстро идёт время. Соловьём залётным пролетели годы учёбы в школе, а затем в Горьковском педагогическом институте. Учителем русского языка и литературы три года отработал я в морозной заснеженной Якутии, в городе Олёкминске. С увлечением трудился в школах Автозаводского района. Но вдруг однажды мне позвонила заведующая кафедрой литературы в пединституте профессор Мария Яковлевна Ермакова и предложила должность лаборанта кафедры. «Сначала поработайте лаборантом, – сказала она, – а потом посмотрим». Я, разумеется, согласился.

Работая на кафедре литературы лаборантом, я хорошо осознавал, что мне нужно расти, необходимо защитить диссертацию. С вопросом о теме диссертации обратился к Ивану Ивановичу Ермакову, который раньше в пединституте заведовал кафедрой литературы, но был уже на пенсии. Он сказал, что у него нет аспирантуры, но он поговорит обо мне со своим учеником Иваном Кузьмичёвым, который работает в университете имени Н.И. Лобачевского. И через два дня я уже встретился с Иваном Кирилловичем на его кафедре. Тут же была определена и тема,

связанная с автобиографической трилогией нижегородского писателя Николая Ивановича Кочина: «Гремячая Поляна», «Юность», «Нижегородский откос». Итак, я поступил в аспирантуру и весь наполнился гордостью. Я стал аспирантом известного на всю страну литературоведа, доктора филологических наук, профессора, заведующего кафедрой русской литературы XX века Ивана Кирилловича Кузьмичёва.

...И до сих пор я встречаюсь и перезваниваюсь с Иваном Кирилловичем Кузьмичёвым, которому в 2023 году 3 августа исполнилось сто лет. Поздравляя его с девяностодевятилетием, я посетил его в Больших Отрах и пожелал, чтобы он прожил до ста лет и больше. «Я приеду и проверю, а пока буду молиться за вас», – твёрдо сказал я. Мы хорошо понимаем друг друга, и он, как обычно, ответил мне замечательной светлой улыбкой. До сих пор Иван Кириллович не утратил своей пламенной энергии, ясности и гибкости ума. До сих пор его хрустально чистая душа распахнута навстречу окружающей действительности. Это он является истинным Поэтом, подлинным Творцом, Исследователем, Литературоведом, зажигающим в сердцах людей огни Добра, Истины и Красоты!

В одной из наших бесед я сказал Ивану Кирилловичу, что нам следует писать стихи не только обращённые к нашим любимым женщинам, но мы должны воспевать стихами и наших матерей. Именно об этом я говорю порой со своими студентами и учениками. И тут же прочитал своё стихотворение, посвященное матери.

Иван Кириллович внимательно выслушал меня и сказал: «Вениамин Анатольевич, выходит, что моя мать Анастасия Семёновна и ваша во многом близки. Это типичные русские женщины. Вот и я представляю свою мать, словно святую. Это она в тяжёлых жизненных обстоятельствах вывела меня на свет и наполнила крепкой верой в неиссякаемую силу добра и любви. Это её материнское сердце, словно солнце, всегда освещало моё путь. Видимо, неслучайно и то, что её имя Анастасия в переводе с греческого языка означает “воскресшая”, “воскресающая”. Во многом благодаря именно ей, я достиг того, что имею. В мои детские годы я иногда воспринимал её как известную героиню русских народных сказок – Настеньку. Каким-то особым «живым огнём» наполняла она мою душу. Для меня она всегда была, есть и будет благодатным незакатным светом. Память о моей матери, об Анастасии Семёновне, – это самое важное, самое святое для меня дело. Многим из нас пришлось преодолеть непроходимые дебри и болота нашей суровой действительности, о которой вы рассказывали. Но всегда рядом с нами было заботливое любящее сердце Матери». Иван Кириллович замолчал, и лицо его окутала глубокая печаль. И я больше не стал его беспокоить.

Встречаясь с Иваном Кирилловичем и отвечая на его вопросы, я хорошо осознаю, что ему необходимо общение. Он всегда всем интересуется, о многом спрашивает. Так он удовлетворяет свою страстную жажду знаний. Разумеется, Иван Кириллович черпает знания и из книг. Но никакая книга не заменит общения с человеком. Как учёный-литературовед Кузьмичёв достиг блестящих успехов и стал ведущим специалистом по теории литературы, в изучении литературных жанров.

Кроме того, Иван Кириллович является талантливым критиком. Его суждения о «литературных новинках» всегда объективны и справедливы. К нему с уважением относятся и писатели, и поэты. Они дорожат его мнением. Но по-прежнему стремления Кузьмичёва познать

действительность и литературный процесс просто неуёмны. Используя известное выражение Б. Пастернака, можно с уверенностью сказать, что Ивану Кирилловичу «во всём хочется дойти до самой сути». И он дошёл до этой «суть», раскрыл глубинный смысл многих литературных явлений. При этом он всегда всего добивался сам, хотя условия были чрезвычайно суровыми. Так, к глубокому сожалению, будущему учёному не пришлось познать отцовского тепла и внимания. Его отец, Кирилл Матвеевич, трагически погиб за два месяца до рождения сына. И вся забота по воспитанию мальчика легла на плечи матери – Анастасии Семёновны. По сути дела, обычному сельскому юноше пришлось самому определять свой жизненный путь, самому решать свою судьбу. Существует крылатое выражение: «Каждый человек – кузнец своего счастья». «Кузнецом» своего счастья, «кузнецом» своей судьбы и является Иван Кириллович.

Вот поэтому мне представляется, что даже в названии улицы Ковалихинской, на которой проживает мой учитель, есть нечто символическое. Вполне понятно, что данное наименование связано с кузнечным промыслом. Как отмечает В.И. Даль: «Кузнец мог так же называться коваль, ковало, ковщик». В то же время исследователь подчёркивает, что «ковщик считался опытным, бывалым, тёртым, знающим человеком». Вот таким опытным, бывалым, тёртым, знающим человеком и предстаёт Иван Кириллович Кузьмичёв, связанный судьбой с улицей – Ковалихинской. Он сам «ковал» свой жизненный путь, свой внутренний мир и интересы. И, видимо, неслучайно его любимым литературным героем является Василий Тёркин, которого тоже «потёрла» жизнь. Но, несмотря ни на что, храбрый воин сохранил в себе живую душу и светлое чувство юмора.

Обратившись с Иваном Кирилловичем к разговору о его любимом литературном образе, я отметил, что фамилия героя поэмы А. Твардовского связана именно с понятием «тёртый человек». Это человек, познавший жизнь, имеющий большой жизненный опыт. В то же время я подчеркнул, что, с моей точки зрения, фамилия Тёркин связана и с понятием «тёртый огонь». Раскрывая смысл данного понятия, В.И. Даль отмечает, что это огонь «вытертый из дерева». Он считался, «живым огнём» и использовался для оберегов. Но примечательно и то, что герой имеет имя Василий, которое в переводе с греческого языка означает «царственный». Это одно из самых распространённых имен в России. И в нашем сознании оно ассоциируется с любимым цветком – васильком. Порой человека, который имеет это имя, зовут просто – Василёк. Таким образом, Василий Тёркин как бы «царственно» несёт в себе «живой огонь» и «оберегает», сражается за жизнь на земле, за её цветение и красоту. Он борется с силами зла и тьмы. Василий Тёркин – это воплощение добра и света жизни. В то же время он является воплощением героической мощи русского народа. Иван Кириллович соглашается со мной. И я продолжаю нашу беседу дальше. Кроме того, герой поэмы А. Твардовского обладает тонким неподдельным юмором, который помогает ему не унывать в драматических ситуациях. Но такой же тонкий юмор свойствен и Ивану Кирилловичу. Вот поэтому я прямо говорю ему, что он несёт в себе «живой огонь», является воплощением совести и служит для многих своеобразным «оберегом». Именно он многими чертами характера напоминает мне Василия Тёркина – храброго воина, бойца, рыцаря совести и чести. В ответ Иван Кириллович светло улыбается.

Во время наших бесед с Иваном Кирилловичем я хорошо осознаю, что он хочет понять, раскрыть меня так же, как и я его. При этом наши встречи всегда наполнены светом. Они даже косвенно вдруг помогают мне познать самого себя, взглянуть на себя со стороны. Всё, что связано с Иваном Кирилловичем, приносит лишь удачу и душевное тепло.

Завершив беседу об очередной моей статье, мы с Иваном Кирилловичем решили зайти в книжный магазин, который находился в те годы на площади М. Горького. В нём я увидел книгу, о которой давно мечтал. Но денег для её покупки у меня не хватало. И тогда, набравшись смелости, я попросил у Ивана Кирилловича пять рублей. В то время это была приличная сумма, но моя мечта осуществилась. Когда мы вышли на улицу, то увидели, что идет чистый пушистый снег. Иван Кириллович поднял руку и стал ловить на ладонь снежинки. Как много раскрыли в нём эти короткие минуты. Именно такие картины вызывают поэтическое вдохновение. Через несколько дней я зашёл к своему Учителю на кафедру, чтобы вернуть долг. А он легко и просто сказал: «Мог бы и не отдавать. Тебе они нужнее». Но я всё-таки положил эти деньги в карман его пиджака. Однако меня сильно удивила его беспредельная щедрость. Мне показалось, что даже сердце своё он готов отдать людям. И в этом его искреннем поступке я почувствовал нечто бескорыстно-детское.

По сути, Иван Кириллович – это прежде всего «ангелическая натура». Это не только блестящий учёный, но и воплощение добра, благожелательности, любви к людям. Всегда и во всём он занимает именно «ангелическую позицию». Вот поэтому, с моей точки зрения, Иван Кириллович во многом близок к известному герою Ф.М. Достоевского Алёше Карамазову. Итак, Иван Кириллович – это человеколюбец, «ангельская душа» и блестящий Мастер своего дела. Он обладает всемирной отзывчивостью русского человека. Ему присущ космизм русской души.

...Я знаю, что в сердце Ивана Кирилловича живёт тяжёлая дума об отце, которого ему не пришлось увидеть. Причём его отец Кирилл Матвеевич, как и мой дед Ханов Григорий Кузьмич, был участником Первой мировой войны. Кстати, мой дед погиб на этой войне. Чтобы смягчить душевную боль моего Учителя, я говорю ему: «Иван Кириллович, возможно, Вы будете смеяться, но мне кажется, что наши отцы, матери и деды, уйдя в небеса, всё-таки по-прежнему заботятся о нас, помогают нам. И тоже являются нашими ангелами-хранителями». А он ответил: «Этого никто не знает. Но главное заключается в том, чтобы мы сами помнили наших близких и наше прошлое. Именно эта святая память создаёт нерушимую связь поколений, наполняет нас силой и помогает свершать подвиги во славу Отечества».

По причине ранней смерти отца у Ивана Кирилловича нет ни братьев, ни сестёр, и поэтому ему хочется побольше узнать о семье, в которой вырос я. И снова неторопливо продолжается мой рассказ. Всем хорошо известно, что в военные и послевоенные годы было ужасно голодно и тревожно. О невероятных трудностях убедительно свидетельствует и следующий факт. В нашей семье уже имелось четверо детей. И нам, детям, требовалось молоко. «Без коровы мы не проживём, – сказал отец матери, – поезжай в Хмелево к свекрови и попроси у неё корову». И мать, взяв с собой старшего семилетнего сына Виктора, отправилась в далёкую поездку в Борский район. Свекровь Прасковья Никаноровна, пожалев внуков, корову отдала. Но как её доставить

в 8-й ОЛП? И тогда мать, взяв для небольшой поклажи саночки (наступала зима), с малолетним помощником и коровой отправилась в обратный путь пешком. Сначала дошли 20 километров до Линды, а потом, ориентируясь по железной дороге, пошли в Варнавинский район, к месту службы отца. На ночлег останавливались в какой-нибудь деревне. И все принимали радушно, кормили, давали корове сена. Мать со всеми людьми умела найти общий язык. Около двух недель продолжался этот нелегкий путь. Возвращению матери все были безмерно рады. «Как же это вы смогли дойти?» – спрашивал я позднее самого родного человека. И мать светло и просто отвечала: «Так и дошла. Бог помог! Да еще святой Варнава пособил. А хорошие люди они везде есть». Никакая сила не сможет сломить таких людей, наполненных сиянием святой веры в добро и справедливость!

Иван Кириллович внимательно выслушал меня, а потом говорит: «Вот и моя мать Анастасия Семёновна была замечательной женщиной! Это она воспитала и поставила меня на ноги. Это она наполнила меня бескорыстной любовью к людям и крепкой силой для трудной жизни. Да, Вениамин, все наши женщины словно светятся изнутри – через глаза – каким-то особым добрым тёплым светом. Именно они, словно святые лампы, вдохновляют нас и на творчество, и на подвиги! Да я с вами как поэт заговорил».

«В своё время в журнале “Октябрь”, – сказал однажды Иван Кириллович, – я опубликовал статью о поэтическом сборнике Ю. Адрианова “Считайте годы по вёснам”. Знаю, что о стихах пишете и вы. Ну а как обстоят дела в нашей современной нижегородской поэзии?»

И я изложил Учителю своё мнение по этому вопросу. С моей точки зрения, особого внимания по-прежнему заслуживает творчество Александра Фигарева. Фигареву свойственны многообразие тематики, выразительность художественных образов. Присуще ему и глубокое чувство патриотизма. Бывший воин-десантник никогда не лукавит ни с людьми, ни с собой, ни с Богом. Поразительно и то, что стихи Фигаревы об отремевшей Великой Отечественной войне оказываются актуальными и в наши дни.

Появились, разумеется, и новые поэты, обладающие большим творческим потенциалом и щедрой душевностью. Это Владимир Безденежных, Андрей Дмитриев, Ярослав Кауров, Андрей Кувечкин, Дмитрий Ларионов, Денис Липатов, Николай Симонов, Евгений Эрастов и другие. Некоторых из них я приглашал на встречи с моими студентами. Отмечаю и то, что еще во время обучения в пединституте моё внимание привлекли поэты-женщины: А. Ахматова, М. Цветаева. Но почему-то особое впечатление на меня произвело стихотворение Людмилы Татьяничевой «Мадонна»:

Наперекор изменчивой молве,
Художники прославили в веках
Не девушку с венком на голове,
А женщину с младенцем на руках

Девичья красота незавершена:
В ней нет ещё душевной глубины.
Родив дитя, рождается Мадонна.
В её чертах миры отражены.

И, обращаясь к Ивану Кирилловичу, я отмечаю, что, с моей точки зрения, стихи, созданные поэтами-женщинами, отличаются каким-то особым видением действительности, трогательной искренностью, проникновенным лиризмом. Всё это имеет самое непосредственное отношение к тем поэтам-женщинам, которые связаны с нашей Нижегородской землёй. В студенческие годы мы с упоением читали задушевные стихи Лигии Лопуховой, Ирины Морозовой, Вероники Частиковой.

В лирических признаниях Вероники Частиковой трепетало не очень-то обласканное жизнью чистое женское сердце. И все мы с глубоким волнением воспринимали её откровенную горькую исповедь:

У меня ж – ни фаты, ни вуали,
Да и свадьбы (увы!) не бывало....
Только два золотых денёчка
Да одна соловьиная ночька.

И, конечно же, всех нас привлекли полные смелости и озорства строчки Ирины Морозовой, созданные в годы суровой морали: «Милый, поцелуй меня на улице! У милиционера на виду».

Шло время, и появились другие поэты-женщины, связанные с новой действительностью. О них я и веду разговор с Иваном Кирилловичем. Это Людмила Калинина, Елена Крюкова, Марина Кулакова, Алина Гребенщикова, Лариса Бухвалова, Светлана Леонтьева, Анастасия Ростова, Маргарита Шувалова и другие. Причём каждая из них обладает своим стилем, своей мелодией стиха. Каждая из них создаёт свои медовые соты поэзии. Но всех их объединяет чистота и чуткость души. И все они глубоко переживают из-за того, что нам порой не хватает «капельки живого внимания да искорки понимания» (Л. Калинина). Своейственно этим поэтам и подлинное, идущее из глубины народной жизни, святое чувство патриотизма. Вот какой яркий впечатляющий образ Родины создаёт, к примеру, Елена Крюкова в стихотворении «Мать Владимирская»:

Очи её – сливовые,
Руки её – ивовые.
Плащ её – смородиновый.
Это моя – Родина!

Словно вдруг на поляне белоснежных ландышей, улыбающихся солнцу, оказались мы.

Особый проникновенный женский взгляд присущ и поэзии Л. Калининой. Показательным в данном отношении является хотя бы её стихотворение «Снежная баба». Вылепленная из снега фигура женщины с двумя ведрами в руках воскрешает в её сознании образ погружённой в постоянные хлопоты бабушки. Невозможно без сердечного трепета и невольно накатившихся слёз светлой грусти читать это лирическое откровение. Вот несколько строф из этой поэтической картины, наполненной святым для нашей души белым цветом:

Снежная баба среди городского двора.
Кто-то ей в руки приделал два старых ведра.
Выюжный февраль не жалеет метельного снега,
Как молоко, снежный свет опускается с неба.

В чёсанках белых, повязана шаль до бровей.
Снежная бабушка в памяти встала моей.
Заиндевела пуховая шаль и ресницы,
Весело пар над подойником тёплым клубится.

Утром, чуть свет, поднимет она коромысло –
До городского двора добираться неблизко.
В гулком дворе робкий голос летит высоко.
Снежная баба кричит: «Кому молоко?»

Во время этого разговора с Иваном Кирилловичем я подчеркнул, что особого внимания заслуживают и отдельные стихи Марины Крылатовой. В частности, её стихотворение «Не морская». Оно представляет собой своеобразные отклик на широко известное лирическое откровение Марины Цветаевой «Кто создан из камня» и звучит, как дивная музыка.

Вот несколько строк:

Я – Марина, но не морская:
В солёных водах не рождена.
По-старорусски – жена лесная,
Земли дождями напоена.

На берегу у лесной речушки
Среди душистой, как мёд, травы
Следы остались смешной девчушки,
Не знавший вкуса морской волны.

Я не искала ракушек дивных
С лучом закатным на берегу –
Среди тропинок, лесных и длинных,
Ловила ветер я на берегу.

Катитесь, волны царя морского,
Встречайте белые корабли!
Как жаль, не видели вы лесного
Дождя весенней моей земли.

Поэты-нижегородцы тесно связаны с родной землей. Их сердца распахнуты навстречу окружающей действительности. А о людях, замкнутых в узком мирке и думающих лишь о себе, наш поэт-земляк Николай Глазков ещё в середине прошлого века с едкой иронией писал: «Я на мир взираю из-под столика». Однажды я спросил Ивана Кирилловича: «А вы помните поэта Николая Глазкова?» И он ответил: «Помню, но смутно. Этим человеком всегда владели беспокойство, охота к переменам мест»...

Во время следующей встречи с Учителем я попросил его рассказать о себе. И вот что я узнал. Родился он 3 августа в 1923 году в обыкновенной крестьянской семье, в деревне Клюкино Семёновского района. Его отец Кирилл Матвеевич был участником Первой мировой войны. Пришёл с фронта, работал, женился. Однако перед самым рождением ожидаемого ребёнка Кирилл Матвеевич трагически погиб. Так что вся забота, связанная с воспитанием родившегося сына, легла на плечи

матери Анастасии Семёновны. Иван Кириллович вспоминает её с любовью и уважением. Она была для него главной опорой в жизни. И всегда он горько жалеет о том, что ему не пришлось увидеть отца. «Дума об отце – это незаживающая рана моей души», – печально сказал Иван Кириллович. Учился он прилежно и стремился ничем не огорчать мать. Во всём помогал ей, как мог. Уже на уроках в школе будущий литературовед полюбил литературу, и у него появилась мечта стать сельским учителем. Поэтому он и окончил Семёновское педучилище. Но осуществить мечту помешала начавшаяся война. Ивана Кирилловича в возрасте девятнадцати лет взяли на фронт. Ему пришлось пережить все ужасы Сталинградской битвы. На войну он смотрел не издали, а с самой близкой к смертельному огню точки. Было иногда невероятно страшно. Ивану Кирилловичу приходилось не раз быть на грани жизни и смерти. «Но, видно, мать молилась за меня, – сказал он, – а молитва матери со дна моря достанет. И я остался жив». Военная служба Ивана Кирилловича завершилась лишь в декабре 1945 года. Это был счастливый год нашей великой Победы и Славы! Его боевой путь отмечен солдатскими медалями: «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Вернувшись в родные края, молодой воин поступил в Горьковский педагогический институт на историко-филологический факультет и окончил его в 1949 году. Профессия выбиралась обдуманно, как путь призвания. Затем была аспирантура и защита в 1953 году кандидатской диссертации под руководством И.И. Ермакова. Докторскую диссертацию «Жанры русской литературы военных лет» Иван Кириллович защитил в Пушкинском доме в 1965 году. Но уже с 1954 года он начал работать в Горьковском университете имени Лобачевского.

Обладая завидной работоспособностью и организованностью, Иван Кириллович выполняет любое дело без отсрочек и «простоев». Для него труд литературоведа так же естественен, как и дыхание. Исследовательская работа доставляет ему радость творчества. Вот поэтому учёность И.К. Кузьмичёва – это учёность истинная, светлая, плодovitая и благотворная. Кроме того, именно о нём можно с полным основанием сказать, что он на все руки мастер. Талантливому исследователю пришлось поработать в качестве доцента, профессора, декана филологического факультета, заведующего кафедрой русского литературы XX века. Причём данную кафедру И.К. Кузьмичёв возглавлял 21 год. Его путь исследователя литературного процесса – это глубокий честный труд большого таланта и душевного напряжения. За эти годы появилось двадцать книг учёного и около ста пятидесяти статей различного объёма, главным образом в журналах.

Во многих научных исследованиях И.К. Кузьмичёв рассматривает важнейшую в литературоведении жанровую проблему. Его интересует типология жанров, их историческая судьба. С точки зрения учёного, именно знание основных законов жанра позволяет объективно охарактеризовать литературный процесс. Особое внимание И. Кузьмичёв уделяет жанру эпопеи. Он выступает против неоправданных попыток расширить это ответственное теоретическое понятие. Но, к сожалению, эпопеями порой называют такие произведения, которые этого высокого определения вовсе не заслуживают. Так, после публикации книги А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» писатель и критик А. Терехов назвал её автора «нобелевским солнцем» и поставил его как создателя новой эпопеи в один ряд со Львом Толстым. По утверждению критика, Лев Толстой и Александр Солженицын «получили соразмерное влияние

на русскую действительность». Терехов безапелляционно заявляет: «Русская литература на короткое время – в два века, в две – Толстого и Солженицына – бороды вобрала в себя умственную жизнь народа». С такими тенденциозными заявлениями невозможно согласиться. С нашей точки зрения, роман-исследование Солженицына эпопеей не является. Кроме того, это повествование чрезмерно затянуто. А ведь все жанры хороши, за исключением скучного. Видимо, писатель забыл важнейшее суждение, выраженное в Экклезиасте: «Много забот – бессонная ночь, много слов – глупая речь». Более того, «Архипелаг ГУЛАГ» не содержит в себе жизнеутверждающего пафоса, который является важнейшим свойством эпопеи. Какая-то особая безмерная печаль лежит на всём произведении. Иван Кириллович с моими суждениями согласился.

Безошибочное чутьё И.К. Кузьмичёва на важнейшие литературные явления обусловили то, что именно он обратил внимание на особую роль М. Горького в художественном мышлении нашей эпохи. Учёный активно разрабатывает тему «М. Горький и художественный процесс XX века». На родине писателя им было организовано и проведено свыше десятка Горьковских чтений. Под редакцией И.К. Кузьмичёва выпущено около 30 томов Горьковских сборников. В основном по этой же тематике члены кафедры и аспиранты защитили три докторских и десять кандидатских диссертаций. Особого внимания заслуживает книга И.К. Кузьмичёва «М. Горький и художественный прогресс». В ней учёный убедительно доказывает, что без анализа художественного мышления писателя не может быть полной литературная карта нашего времени. Важным событием в горьковедении явилась и следующая книга исследователя «“На дне” М. Горького – судьба пьесы в жизни, на сцене и в критике». В ней учёный вполне обоснованно предложил пересмотреть «незыблемые трактовки» драмы М. Горького, не воспринимать образ Луки лишь как «старца лукавого», жалостливого хитрого утешителя. Данный образ содержит в себе и светлые начала. Своими глубинными корнями он тесно связан с евангелистом Лукой, имя которого в переводе с греческого языка означает «светлый», «освещающий». Хотя в данном образе писатель отразил и некоторые черты Льва Толстого. Иван Кириллович справедливо утверждает, что всё это необходимо сделать во имя истины сегодняшней и во имя завтрашней жизни бессмертной философской драмы М. Горького.

Большой интерес вызвало и следующее исследование И.К. Кузьмичёва, адресованное в первую очередь учителю, – «Литература и нравственное воспитание личности». Эта книга – дань благодарности учёного учителю-труженику. В ней автор вполне справедливо утверждает, что нравственное воспитание – это не одна из сторон преподавания литературы, а внутренняя сущность всего процесса обучения. При этом И.К. Кузьмичёв исходит из того, что «В многослойной и многоступенчатой системе воспитания именно учителю принадлежит важнейшая роль, ибо он призван первым указать воспитаннику путь к его индивидуальной сущности, помочь ученику найти своё место в жизни». Важным примером для любого человека должны быть и литературные герои, обладающие высокой нравственностью. Обращается в этой книге автор и к творчеству М. Горького. Посещая во время педагогической практики уроки студентов, я видел, что многие из них имеют это основательное исследование И.К. Кузьмичёва. Радовало и то, что в каждой школе знают его имя.

Во время очередной встречи беседам с Иваном Кирилловичем я обратил его внимание на предвзятое отношение к творчеству М. Горького отдельных критиков. А он спокойно и просто сказал: «Уже не раз пытались сбросить Горького с “парохода современности”. Но его произведения по-прежнему занимают важное место в истории нашей литературы. В своё время “неистовые ревнители” активно атаковали и Пушкина. Но его читают и любят. Есть поклонники и у Максима Горького. Вы же знаете, что его произведения тесно связаны с духовной культурой нашего народа. Кроме того, его творчество имеет и религиозно-философские истоки. Вот поэтому Горький до конца ещё не прочитан, не раскрыт. И пусть собаки лают, а караван идёт». Во время этой беседы вспомнил Иван Кириллович и басню И.А. Крылова «Слон и Моська». Улыбнувшись, он сказал: «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!» А затем продолжил: «Порой эти “моськи” лают лишь с одной целью, чтобы привлечь к себе внимание, подчеркнуть свою значимость».

Отметил Учитель и то, что критик прежде всего должен с уважением относиться к любому писателю. Следует отмечать и достоинства анализируемых произведений, а не подвергать их сплошному разному.

Некоторые исследователи считают, что пчелы способны видеть сквозь лепестки цветов, как мы видим сквозь стекло. Литературные критики такими возможностями, конечно же, не обладают. Но они имеют гораздо большее – душу. Вот поэтому, раскрывая перед нами «целебный мёд» художественных произведений, они должны прежде всего видеть свет и простор сквозь лепестки порой увядших цветов и сквозь «запылённые стёкла» нашей жизни. Они должны раскрывать глубинный смысл рассматриваемых произведений.

Иван Кириллович Кузьмичёв вполне обладает такими способностями. Его исследования творчества известных писателей и поэтов – это чистые целебные источники истинных представлений о литературном процессе. Его суждения о художественных произведениях – это словно величественная музыка, которая очищает и возвышает душу, наполняя её надеждой и верой в лучшее. После чтения книг Ивана Кирилловича создаётся впечатление, что будто ключевую водою умылся, жажду душевную из родника с живой водой утолил.

Много я прослушал научных сообщений, будучи студентом пединститута, преподавателем, участником разных конференций. Но никогда ещё не слышал более содержательных лекций, чем у И.К. Кузьмичёва. Излагал он материал неторопливо, вдумчиво, передавая студентам свой богатейший научный и душевный опыт. Читал Иван Кириллович лекции, словно храм возводил: основательно, проникновенно, с особым душевным подъёмом. Он как бы приглашал к сотрудничеству ум и душу каждого студента, стремящегося к знаниям. На одном из занятий он твёрдо сказал: «Свет в храме от свечи, а в человеке – от знаний!» Привлекало меня в Иване Кирилловиче и то, что он никогда никому не позволял проходные, конъюнктурные произведения поднимать на щит и едко высмеивал тех, в ком замечал склонность к компромиссам, к подлаживанию под чужое мнение.

...К разным темам обращались мы во время встреч с Иваном Кирилловичем. Особенно он был тронут разговором о школьном звонке. Я заметил, что его глаза наполнились влагой. И в этом снова проявились чистота и чуткость его души, полной добра и любви. Возможно,

Иван Кириллович вспомнил свои далёкие школьные годы. Но, может быть, в его сердце эхом отозвались те проникновенные звонки, которые он слышал, поступив в педагогический институт. И тогда словно особые святые колокола прозвучали над ним. Ведь именно здесь, в пединституте, он познакомился с будущей спутницей жизни Раисой Васильевной, с которой учился в одной группе. И я попросил Ивана Кирилловича рассказать о жене, которая к этому времени, к сожалению, уже ушла из жизни. Я чувствовал, что ему было трудно и больно вспоминать прошлое, но всё-таки он откликнулся на мою просьбу. Он сказал, что Раиса Васильевна была верной спутницей его жизни, заботливой хозяйкой и любящей матерью. «Мы с ней хорошо понимали друг друга, – подчеркнул он, – а это – самое главное в семейной жизни». Иван Кириллович немного помолчал, а затем продолжил: «Она была для меня словно свет в окне и, по сути дела, на ней держалось всё. Ведь и отчество её в переводе с греческого языка означает “царственная”. Вот поэтому я называл её порой “моя царица”. Кому-то это покажется банальным, но и мы в своё время были молодыми. Шли годы. Все радости и невзгоды мы делили поровну. Занимались литературой, любили поэзию. Иногда я читал моей надёжной спутнице стихи поэтов нашего времени. Я и сейчас помню эти стихи. Они звучат для меня, словно молитва души». И он прочитал замечательное, волнующее стихотворение Михаила Светлова:

Юности своей я не отверг,
Нравится мне снова всё, что делаю,
Будто после дождичка в четверг
Расцвели сады оледенелые.

Если жив я, и любовь жива!
Для тебя, единственная, ласковая,
Я нашёл хорошие слова,
Лучшие из словарей вытаскивая...

Не так легко сравнение найдёшь,
Твои глаза в стихотворенье просят,
Как голубые ведрышки несёшь.
Ты их на коромысле переносицы.

<...>

Мне много жить и пережить пришлось,
Но я тебе заносчиво и молодо,
Как связку хвороста, мечты свои принёс –
Зажги костёр, погрейся, очень холодно.

Тут же вспомнил Иван Кириллович и стихотворение Дмитрия Кедрина:

Нам, по правде сказать, в этот вечер
И развлечься-то словно бы нечем.
Ветер что-то невнятное шепчет,
Завари-ка ты чаю покрепче.
И чаёк попивая из чашек,
Дай-ка вспомним всю молодость нашу.

Вспомним ласково, по-стариковски,
Нашей дочери русые коски,
Вспомним глазки сынка голубые
И решим, что мы счастливы были,
Но и глупыми всё же бывали...
Постели-ка ты мне на диване:
Может мне в эту ночь и приснится,
Что ты стала опять озорницей!

Иван Кириллович читал с большим волнением, проникновенно. И порой его голос дрожал. Я чувствовал, что его охватывают воспоминания. Закончив чтение, он сказал: «А теперь, Вениамин Анатольевич, моим любимым стихотворением является печальная исповедь Фёдора Тютчева». И он прочитал известное лирическое откровение этого поэта, которое звучало словно молитва:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею –
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Иван Кириллович опять немного помолчал, а потом сказал: «Не знаю, как мне выразить это безмерное горе, эту беспредельную печаль-тоску. Но вспоминаются услышанные ещё в давние годы в родной деревне пронизанные глубокой скорбью стихи». И он прочитал их.

Лягу грудью на ограду,
Позову свою отраду.
Белый камень отвалю,
Встать на ноженьки велю.

Милая, красивая, свеча неугасимая,
Горела, да растаяла, любила, да оставила.

А я вспомнил, что эти стихи порой в минуты горькой печали с глубокой тоской шептал мой отец. Уже позднее я вдруг прочитал их в повести В.П. Астафьева «Печальный детектив».

...Однажды накануне Дня Победы я попросил Кузьмичёва рассказать студентам моей группы о своём боевом пути. Сначала он отказался, объяснив это тем, что не любит вспоминать невероятно ужасные годы. «Меня и раньше приглашали, – сказал он, – но я ещё никогда не говорил об этом со студентами». Однако через два-три дня он сам подошёл ко мне и заявил: «Вениамин Анатольевич, я хорошенько подумал

и почему-то вам не могу отказать. Скажите, когда и куда мне подойти». В итоге встреча Ивана Кирилловича с моей студенческой группой состоялась. Это был суровый рассказ о нашем трагическом времени. Иван Кириллович раскрыл перед нами все ужасы войны. Рассказал он, в частности, и о Сталинградской битве. Его воспоминания поразили нас беспредельной искренностью. Вот что, к примеру, поведал Кузьмичёв о том, как его провожали на войну: «Погрузили меня на телегу и повезли на станцию, чтобы отправить на фронт. А я сижу на этой трясущейся телеге и рыдаю. По сути дела, я прощался с жизнью». Рассказал Иван Кириллович и о том, как он однажды чуть не погиб. «Но, видимо, меня спасли молитвы матери», – твёрдо заявил он.

Студенты задали ему вопросы. Так, одна из девушек спросила: «А как же, Иван Кириллович, вы всё это вынесли?» И он ответил: «Мы все были молодыми. Нам очень хотелось жить, и мы мечтали о любви и счастье». И тут же прочитал небольшое стихотворение:

И пусть от взрывов всё чернело,
Мы верили – любовь жива!
Тянулся к солнцу ландыш белый
На кромке танкового рва.

Задал вопрос и студент: «Иван Кириллович, а вы довольны своей судьбой?» И он снова ответил четверостишьем:

Но если б множество дорог
Судьба мне снова возвратила,
Я шёл бы той, что дал мне Бог,
И повторил бы всё, что было.

Меня всегда поражает то, что Иван Кириллович знает очень много стихов. Однажды, процитировав поэта Степана Щипачёва, он признался:

Я плачу над счастливою строкой,
Пусть написал её не я – другой.

Студенты читали стихи наших нижегородских поэтов. Прозвучала, в частности, трогательная лирическая исповедь замечательного поэта Фёдора Сухова:

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, –
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.

В отдалении гром громыхнул,
Был закат весь в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.

Вся встреча прошла на одном дыхании. А я рассказал о том, как Иван Кириллович ловил на ладонь снежинку и прочитал посвящённое ему стихотворение:

Где этой нежности причина,
Что греет душу, как огонь?
Я видел, как седой мужчина
Ловил снежинку на ладонь.

Кругом спешили люди, споря,
Любуясь только лишь собой.
А я подумал, сколько боли
Ему отпущено судьбой.

Изведал радость он и горе,
Покоя в жизни не искал.
Он стал седым, как в бурном море,
Но нежным быть не перестал.

Где ж этой нежности причина,
Что греет душу, как огонь?
Я видел, как седой мужчина
Ловил снежинку на ладонь.

Именно во время этой встречи с Иваном Кирилловичем я уяснил для себя самое важное, самое значимое в нём. Конечно же, он предстаёт передо мной, как мужественный стойкий воин, храбрый защитник Отечества. В девятнадцать лет он ушёл на фронт и вернулся с победой. Однако прежде всего Иван Кириллович – это талантливый учёный-литературовед. Причём самыми главными критериями в оценке любого произведения являются для него идеалы Добра и Правды. Вот поэтому Ивана Кирилловича с полным основанием можно назвать Праведником. По сути дела, именно благодаря ему в нашей литературной критике в середине 60-х годов прошлого столетия развернулась бурная дискуссия, связанная с проблемой правды в художественном произведении. Дело в том, что И.К. Кузьмичёв в журнале «Октябрь» в 1965 году, № 3 опубликовал статью «Заметки о современном романе». В ней он, в частности, заявил, что в трилогии К. Симонова «Живые и мёртвые» имеются художественные недостатки и ей не хватает подлинной правды в изображении войны. Но К. Симонов в те годы для критики был «неприкасаемый». Вот поэтому в «Литературной газете» (1965, 25 марта) и в газете «Правда» (1965, 28 марта) появились статьи, в которых молодой преподаватель из Горького был подвергнут резкому осуждению. В те времена всё это грозило начинающему учёному большими неприятностями. Но в итоге Истина восторжествовала. У Кузьмичёва появилось много сторонников.

Как исследователь он учит искать и находить Истину. Порой Иван Кириллович бывает суров, но он умеет прощать. Присуще ему и чувство скромности. В окружении людей он стремится быть «как все». По сути дела, Иван Кириллович Кузьмичёв – это образец русского человека в его максимальном проявлении. Он и его учитель Иван Иванович Ермаков являются теми Иванами, на которых вся Россия держится.

Учитель не раз подчёркивал: «Имя человека – судьба его». Неоднократно обращался он и к известной фразе Актёра из драмы Горького

«На дне»: «Без имени нет человека!» Всё это и обусловило то, что мне захотелось выяснить значения имени, отчества и фамилии Учителя. Решив этот вопрос, я в одной из бесед сказал ему: «Иван Кириллович, Ваше имя в переводе с еврейского языка означает “благодать Божия”. Отчество Кириллович, образованное от имени Кирилл, в персидском языке означает “солнце”, “солнечный”. А фамилия Кузьмичёв, связанная с именем Кузьма, в переводе с греческого означает “мир”, “порядок”, “краса”. По сути дела, вы как раз и являетесь воплощением порядка и правды в нашей литературе. А в теории литературы вы предстаёте, словно солнце, как звезда первой величины. Для нашего литературоведения вы имеете такое же важное значение, какое имел Кузьма Минин для истории России».

И он, светло улыбнувшись, ответил: «Возможно, вы и правы, но только у меня нет бороды». И снова – как удивительно хорош он в эти минуты!

Погрузившись в раздумья об Иване Кирилловиче, я вспомнил, как посетил его в селе Большие Отары, чтобы поздравить с девяносто-девятилетием. Передо мной действительно предстало большое многолюдное поселение в двести дворов, расположенное на берегу реки Усты. Причём название этого села в моём сознании ассоциируется с наименованием созвездия Стожары. Оно состоит из большого количества звёзд. И не раз, ориентируясь по этому созвездию, я выходил из дремучего леса. Этимологически данные наименования близки. Я уезжал от Ивана Кирилловича уже вечером. Над Большими Отарами сиял прощальный свет вечерней зари. Яркие всполохи то и дело освещали небо. Так пусть же дольше длится вечерняя заря в жизненной судьбе Ивана Кирилловича. А я вдруг вспомнил замечательное стихотворение Б. Пастернака «Единственные дни»:

На протяжении многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу –
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

<..>

И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

Так пусть дольше длится век жизни Ивана Кирилловича Кузьмичёва. И пусть продолжают его, и наши объятья с этим прекрасным, сияющим под ласковым солнцем миром.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

Родилась в городе Бугульме (Татарстан). Окончила Орловский государственный педагогический институт. Работала учителем, преподавателем кафедры русской литературы Орловского госуниверситета. Доктор филологических наук, профессор, историк литературы.

Автор трех монографий и свыше 500 литературоведческих и художественно-публицистических работ о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, И. А. Бунина, Ч. Диккенса и других классиков мировой литературы.

Удостоена золотого диплома VI Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» за книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» (издательство «Зёрна-Слово», 2015), а также награды «Бронзовый Витязь» на VII Международном славянском литературном форуме «Золотой Витязь» за статьи-исследования творчества Ф. М. Достоевского.

Лауреат премий журнала «Зарубежные записки» (2014, номинация «Эссе. Литературная критика»), журнала «Наш современник» (2018, номинация «Литературная критика. Литературоведение»).

Член Союза писателей России. Живет в Орле.

ПОСЛЕДНЕЕ УПОВАНИЕ**140 лет со дня смерти И.С. Тургенева**

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1861) – одно из вершинных достижений отечественной классики. Его внутренний свет не потускнел под налётом хрестоматийно-школьного глянца и вульгарно-идеологических трактовок, в том числе и режиссёрско-постановочных. Несмотря на кажущуюся доскональную изученность, вот уже более чем полтора века не угасает стремление к постижению бесконечно богатого образного мира романа; не прекращаются попытки проникнуть в его «святая святых».

Конфликт поколений в «Отцах и детях» с поверхности текста переходит во внутренние, глубинные пласты, в сферы внетекстовые. За внешней сюжетной основой встают вопросы религиозно-философские, и главный из них – о сокровенном смысле жизни. Размышления о её мимолётности; сознание того, что каждый неизбежно встретит смерть один на один: «Старая штука смерть, а каждому внове»; метафизическое одиночество (философия «космического пессимизма»), свойственные складу тургеневского художественного мышления, по-

степенно преодолеваются на путях признания высшей трансцендентной сущности человека.

Тургенев уверен, что «только с духовным началом, с идеалами может так глубоко сочетаться наш дух, наше мышление». Ощущение причастности к всеобщей вселенской гармонии Божьего мира расширяет духовные горизонты личности. Человек не столь трагически переживает свою «временность» и «конечность», предчувствуя свою родственность чему-то «высшему» и «вечному».

Без образа Божия жизнь безбожна, безобразна и безобразна. Отсутствие веры писатель сознавал как неполноценность, ущербность, обделённость и обеднёность личности. Графине Е.Е. Ламберт Тургенев писал: «Да, земное всё прах и тлен – и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру – имеет всё и ничего потерять не может; а кто её не имеет – тот ничего не имеет, – и это я чувствую тем глубже, что я сам принадлежу к неимущим! *Но я ещё не теряю надежды* <курсив мой. – А. Н.-С.>».

Христианские упования писателя нашли выражение в образах религиозно одарённых людей – таких, как Лиза Калитина («Дворянское гнездо»), Лукерья («Живые мощи»), – которых автор создавал с чувством величайшего благоговения. В религиозных переживаниях видит Тургенев источник внутренней силы и нравственной чистоты. Стихотворения в прозе «Христос», «Монах», «Молитва» свидетельствуют о «томлении духа», духовной жажде, потребности писателя в Богообщении: «Только такая молитва и есть настоящая молитва – от лица к лицу».

В романе «Отцы и дети» проявилось осознание духовной высоты христианского чувства, православной церковной традиции. Соборование нигилиста Базарова в сцене его смерти не выглядит неожиданно, но – наоборот – подчиняется внутренней художественной логике тургеневского произведения.

Православному Таинству Соборования отведены лаконичные строки внутри единственного абзаца, посвящённого последним мгновениям земной жизни главного героя. Крайне сдержанно сказано о церковном чинопоследовании христианского напутствия умирающему перед его уходом на суд Божий: «Отец Алексей совершил над ним обряды религии».

К слову, священник – отец Алексей – фигурирует в нескольких произведениях Тургенева, созданных после «Отцов и детей». В рассказе «Живые мощи» (1874) отец Алексей христиански поддерживает болящую Лукерью. Впоследствии писатель создал, по его жанровому определению, «легендообразный рассказ» – «Рассказ отца Алексея» (1877), указывая в письмах на его невымышленный источник: «(действительно сообщенный мне) рассказ одного сельского попа о том, как сын его подвергся наущению дьявола (галлюцинации) – и погиб». Реальный отец Алексей – священник прихода, к которому принадлежало имение писателя, – упоминается Тургеньевым в письме к Н.А. Щепкину: «Поп Алексей просит 15 осинок».

Несмотря на чрезвычайную сжатость (а возможно, именно благодаря такой немногословности), эпизод Соборования в «Отцах и детях» обращает вдумчивого читателя к скрытым пластам романа, вербально не выразимым в своих сокровенных глубинах. Ассоциативный подтекст христиански высвечивает своеобразие поэтики Тургенева, особенности его художественной манеры «тайного психологизма». Писатель останавливается на пороге не постижимой земным разумом загадки души и Духа, человека и мира, вечной неумирающей жизни.

Обрисованный в нескольких словах православный обряд представлен как истинное *Таинство* – в нём ощущается величайшая тайна. Тургенев пишет о Базарове: «Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице».

Загадочен этот последний эмоциональный всплеск главного героя романа. В чём кроется источник «содрогания ужаса» прежде бесстрашного нигилиста – титанической личности, отвергавшей Бога и отрицавшей бессмертие, самоуверенно бросающей вызов Провидению?

Идейный вождь русского нигилизма Д.И. Писарев, анализируя сцену смерти Базарова, утверждал, что тот «не струсил», «не изменил себе», «не оплошал». Герой, который умеет умирать «спокойно и твёрдо», не отступит перед препятствием и не струсит перед опасностью, резюмирует критик. Он недалёк от истины, расценивая сцену смерти Базарова как апофеоз романа, хотя в угоду тенденциозной односторонности интерпретирует эту сцену в революционно-нигилистическом смысле: «Нигилист остаётся верен себе до последней минуты».

Тургеневский герой действительно держался стоически-мужественно в течение своей предсмертной болезни. Однако Писарев, по всей видимости, преднамеренно не пожелал отметить и обошёл молчанием тот факт, что в последние мгновения жизни при Соборовании неустрашимый Базаров испытал не просто страх, но неопишуемый ужас. Современные исследователи до сих пор теряются в догадках: «Что это? Запоздалое раскаяние? Или, наоборот, бунт атеистической души?»¹ Объяснений нельзя искать вне сложной динамики связей тургеневского творчества с религиозно-нравственными основаниями русской культуры, с традициями христианской духовности.

Согласно православному катехизису, Соборование – одно из семи церковных Таинств, в котором «при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные». Таинство уходит корнями в Священное Писание, имеет Богоустановленный характер и берёт своё начало с апостольских времён. В Евангелии от Матфея сказано, что Сам Христос послал апостолов на благодатное делание телесного и духовного врачевания: «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 10: 1). Это был не только величайший дар, но и задание. Господь заповедал апостолам: «Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10: 8).

Ученики Христа, получив «власть над нечистыми духами» (Мк. 6: 7), «пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6: 12 – 13). Апостолы передали это Таинство церковным священнослужителям. Святой апостол Иаков в Соборном послании наставляет: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5: 14–15).

¹ Лебедев Ю.В. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». – М.: Просвещение, 1982.

Согласно христианскому вероучению, большинство болезней физических являются следствием греха, тогда как сам грех – болезнь духовная. Таким образом, кроме телесного исцеления, в Таинстве Соборования прежде всего молитвенно испрашивается врачевание души больного, отпущение его грехов.

Определение, представленное в примечаниях к роману «Отцы и дети» в Полном собрании сочинений Тургенева: «Соборование – церковный обряд у постели тяжело больного или умирающего с помазанием его тела елеем», – не совсем корректно. С точки зрения катехизиса, Таинство может совершаться не только над страдающими от тяжёлых физических недугов или умирающими. К Соборованию, испросив благословения, могут приступать все православные христиане, достигшие семилетнего возраста. При этом они необязательно должны быть подвержены телесным немощам. Такое состояние души, как уныние, признаваемое смертным грехом, скорбь, отчаяние, даже называемая пушкинскими словами «русская хандра» и т. п., – может быть следствием нераскаянных грехов, не осознаваемых самим человеком. В этих случаях также прибегают к благодатной душеспасительной силе Таинства. Существуют традиции совершения общего Соборования и над больными, и над здоровыми людьми в дни Великого поста на Крестопоклонной или на Страстной седмице, вечером перед Великим Четвергом или Великой Субботой.

Таинство Елеосвящения в обиходе именуется Соборованием, поскольку, согласно уставу Церкви, его полагается совершать семи священникам (собору священнослужителей). Число семь – сакральный знак Церкви и её полноты. Само чинопоследование Таинства состоит в прочтении семи различных отрывков из Евангелия и Апостола, повествующих о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. Церковь также допускает совершение Таинства тремя, двумя и даже одним священником – с тем, чтобы он служил от лица собора иереев, совершая все молитвы, чтения Священного Писания и семикратно помазывая елеем болящего. Соборование допустимо не только в храме, но и в домашних условиях.

Основные моменты видимой составляющей Таинства Елеосвящения (Соборования) – семикратное помазание освящённым елеем частей тела больного (лба, ноздрей, щёк, губ, груди и рук). Каждое из семи помазаний предваряется чтением Священного Писания, молитвой об исцелении болящего и о прощении его грехов. Непосредственно при помазании читается молитва веры; на голову приступившего к Соборованию возлагается Евангелие вниз письменами; в заключение читается разрешительная молитва от грехов.

Внешняя обрядовая сторона священнодействия в то время, когда создавался тургеневский роман, была известна каждому православному. Возможно, поэтому автору не представлялось необходимым изображать картину Соборования Базарова во всех деталях. В то же время Тургеневу в свойственной ему манере писательской деликатности и человеческой чуткости удалось прикоснуться к сокровенной сущности Таинства, его духовному наполнению. Невидимое действие благодати Божьей, подаваемой в Таинстве Елеосвящения, заключается в том, что соборующийся исцеляется от порождений греха, получает духовное подкрепление и очищение.

В романе «Отцы и дети» приходской священник, совершая Таинство от лица собора, по всей видимости, строго придерживается развёрнутого канонического чинопоследования. Об этом свидетельствуют приведённые выше слова Тургенева: «Отец Алексей совершил над ним обряды религии». Важно обратить внимание на форму множественного числа: «обряды». Для адекватного постижения смысла эпизода необходимо учесть, что Соборование тесно соединяется с другими православными Таинствами – Покаянием (исповедью) и Причащением Святых Христовых Тайн. Если Соборование совершается дома у тяжело больного или умирающего, то вначале, как правило, следуют Исповедь и Причащение, чтобы болящий – ввиду явной опасности близкой смерти – успел принять последнее напутствие как залог вечного блаженства.

Следует подчеркнуть, что Причастия не бывает без покаянной исповеди. В то же время исповедаться человек может, только находясь в здравом уме и твёрдой памяти. Единственное требование Церкви, напутствующей умирающего, чтобы тот находился в сознании. Над больными в бессознательном состоянии Причащение не совершается. Так, в тургеневском «Рассказе отца Алексея» священник вспоминает о смерти своего сына без покаяния: «А как слёг Яков, сейчас в беспмятство впал, и так, без покаяния, как бессмысленный червь, отошёл от сей жизни в вечную...».

Текст тургеневского романа не позволяет с точностью утверждать, исповедал ли свои грехи Базаров перед кончиной. «Базарову уже не суждено было просыпаться, – пишет Тургенев. – К вечеру он впал в совершенное беспмятство, а на следующий день умер». И только затем следует авторское замечание о совершении предшествующих смерти религиозных обрядов. Поэтому, обращаясь к реконструкции действия, нельзя отрицать и такого, например, развития событий, при котором Базаров мог ненадолго прийти в себя и, очнувшись от забытья, принести хотя бы краткое покаяние, односложно ответив на вопрос духовника: «Каешься?» – «Каюсь».

Прямая христианская обязанность родных и близких смертельно больного – своевременно дать ему возможность православного напутствия перед кончиной. Этот мучительный родительский долг пытается с честью исполнить Василий Иванович Базаров – истинный православный христианин. Будучи опытным лекарем и наблюдая за симптомами в развитии болезни, он тревожится о том, чтобы сын успел через Таинство Причащения осознанно приобщиться к спасительной силе жертвы Христа на Голгофе. Мука, терзающая старика-отца, теряющего единственного сына и призывающего его к душеспасительному Таинству, столь велика и особенна, что Василий Иванович начинает выражаться несвойственным ему высоким слогом, изумляющим Базарова. Сын невольно отвечает отцу в том же стиле, что ещё более подчёркивает неординарность происходящего:

– Евгений! – произнёс он, наконец, – сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

– Что, мой отец?

Опустившись на колени, набожный старик умоляет Базарова позаботиться о спасении души перед уходом в вечность:

Евгений, тебе теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но ещё ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

Мастер «тайной психологии» – Тургенев не анализирует и даже не называет то движение души героя, которое вызвало такую необычную, вербально не определяемую реакцию. В то же время здесь отчётливо ощутим намёк на запредельность происходящего – в предчувствии инобытия.

Базаров не внял мольбе отца. Однако важно, что он не отказывается от Таинства в принципе и выражает готовность принять его позднее. Фактически Базаров даёт разрешение обеспечить возможность совершения над ним священнодействия, даже если он впадёт в беспамятство:

– Я не отказываюсь, если это может вас утешить, – промолвил он наконец, – но мне кажется, спешить ещё не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

– Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это всё в Божьей воле, а исполнивши долг...

– Нет, я подожду, – перебил Базаров. – Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают.

Отец – бывший полковой лекарь – и его сын-медик говорят на профессиональном языке о течении телесной болезни. В то же самое время речь идёт о необходимости духовного врачевания врача Базарова. Православное Таинство, не отменяя физических законов, духовно поддерживает болящего, оказывает ему благодатную душевспасительную помощь.

Таким образом, нельзя однозначно судить об абсолютном атеизме Базарова, чтобы не погрешить против художественной истины романа. Вовсе не случайно А.И. Герцен (1812–1870) усмотрел в этом эпизоде, а также в заключительных словах финального реквиема «о вечном примирении и о жизни бесконечной» опасный, с точки зрения революционера и атеиста, «мистицизм». По прочтении «Отцов и детей» Герцен писал Тургеневу: «Requiem на конце – с дальним апрошем к бессмертию души – хорош, но опасен, ты эдак не дай стрелка в мистицизм».

Анализ заключительных глав и эпилога романа также привёл советского литературоведа М.К. Азадовского ещё в 1935 году к догадке о том, что Тургенев изобразил атеиста Базарова перед смертью раскаявшимся и примирившимся с «небом». Впрочем, эта крамольная для того времени мысль была немедленно полемически опровергнута с точки зрения господствовавших вульгарно-идеологических марксистско-ленинских установок.

О примирении с «небом», преодолении трагического конфликта человека с быстротечностью земной жизни Тургенев размышлял на протяжении всего творческого пути. Уже в первом романе «Рудин» герой – вечный бесприютный странник – выстрадал в конце пути истину: «Смерть, брат, должна примирить наконец...». Церковный образ потухающей лампы в финальном монологе Рудина: «уже всё конечно, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас

докурится фитиль...» – как символ уходящей жизни – отзывается в сцене последней встречи Базарова с Одинцовой.

Героиню можно было бы назвать «дамой в трауре»: в первый раз она появляется в романе на балу у губернатора как незнакомка «высокого роста в чёрном платье»; перед смертельно больным Базаровым она предстаёт как «дама под чёрным вуалем, в чёрной мантилье». Здесь завуалирован приём предварения: с Одинцовой связаны любовь и смерть Базарова. Для него Анна Сергеевна, как и княгиня Р. для Павла Петровича Кирсанова, – таинственная женщина-сфинкс, мистически причастная роковым силам любви и смерти.

В княгине Р., пишет Тургенев, «всё ещё как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть. Что гнездилось в этой душе – Бог весть! Казалось, она находилась во власти каких-то тайных, для неё самой неведомых сил; они играли ею, как хотели». Незадолго до смерти загадочная возлюбленная Павла Петровича передала ему кольцо со сфинксом, «провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест – вот разгадка». Крест, крестное знамение объединяют судьбы, казалось бы, героев-антиподов. Участь старшего Кирсанова – оппонента Базарова в социально-политических спорах – проецируется на судьбу главного героя «Отцов и детей».

Англоман Павел Петрович уехал за границу, но в эпилоге мы видим его «в русской церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится, горько стиснув губы, потом вдруг опомнится и начнёт почти незаметно креститься...». Всё дорогое для него похоронено, и сам он живой мертвец. Тургенев пишет: «Павел Петрович помочил себе лоб одеколоном и закрыл глаза. Освещённая ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец». Нельзя не заметить, что здесь Кирсанов внешне напоминает умирающего Базарова. «Это всё равно, что класть венок из цветов на голову мертвеца», – с горечью говорит Базаров Одинцовой, которая отвергла его страсть, но призналась в дружеском расположении.

Брат старшего Кирсанова Николай Петрович ещё ранее замечал: «Да, брат; видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди».

Финал романа увенчивают «серые деревянные кресты» на сельском кладбище «в одном из отдалённых уголков России», где похоронен Базаров.

Так снимается конфликт поколений в романе Тургенева. И отцы, и дети, и всё новые поколения людей под сенью креста идут одной дорогой к завершению земной судьбы и к жизни вечной. Устами Аркадия писатель говорит о нескончаемом круговороте неумирающей жизни: «сухой кленовый лист оторвался и падает на землю; его движения совершенно сходны с полётом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мёртвое – сходно с самым весёлым и живым». О том же размышляет отец Аркадия, мысленно представляя себе покойницу-жену «молодую девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученной косою над детскою шейкой. <...> те сладостные, первые мгновенья, отчего бы не жить им вечною, неумирающею жизнью?»

Душа сродни высшему идеалу, и оттого она томится в своей земной ограниченной обители, не довольствуется ею. Анна Сергеевна говорит Базарову об этом «томлении духа», извечной человеческой тоске по идеалу, о вечном стремлении к счастью и о его недостижимости:

– Мы говорили с вами, кажется, о счастье. <...> Скажите, отчего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатичными людьми, отчего всё это кажется скорее намёком на какое-то безмерное, где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? Отчего это?

Ответ на этот вопрос можно найти в размышлениях святителя Феофана Затворника:

В самом деле, мы любим повеселиться, но что значит, что, после самого полного веселия, душа погружается в грусть, забывая о всех утехах, от которых пред тем не помнила себя? Не то ли, что из глубины существа нашего даётся знать душе, как ничтожны все эти увеселения сравнительно с тем блаженством, которое потеряно с потерей рая. Мы готовы радоваться с радующимися, но, как бы ни были разнообразны и велики предметы радостей человеческих, они не оставляют в нас глубокого следа и скоро забываются.

Это значит то, что природа наша плачет о потерянном рае и, как бы мы ни покушались заглушить плач сей, он слышится в глубине сердца, наперекор всем одуряющим весёlostям, и понятно говорит человеку: «Перестань веселиться в самозабвении; ты, падший, много потерял: поищи лучше, нет ли где способа воротить потерянное?»

Перед лицом Провидения ничего не значат ни возраст, ни красота, ни знатность, ни богатство, ни власть, ни политические пристрастия, ни прочая земная суета. Нигилист и его политический противник оказались равны и одинаково незащитны: «И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет». Этот финальный мотив пушкинской поэмы «Цыганы», пренебрежительно отвергаемой Базаровым, как и всё остальное «художество», всё более явственно и трагически звучит в подтексте романа.

Сакральная сторона жизни, с которой самонадеянно пытался вести борьбу «титан» Базаров, культивируя в себе непримиримую враждебность и даже ненависть к проявлениям духовности, одержала над ним верх. Гипернигилист, отрицавший высшие ценности, любовь, искусство, душевные порывы как «чепуху», «гниль», «романтизм», в конце жизни по сути становится экс-нигилистом. Называя себя «самоломаным», он уже не стыдится открыть одухотворённого романтика в самом себе. Герой не подавляет движений своего сердца, признавая тем самым существование высшей духовной силы, над которой никто не властен.

Человек, объясняет христианский философ В.В. Зеньковский, «открывает в себе глубину неисследимую, находит в себе целый мир»; «духовность загадочно сочетается с тварностью, но всё же она есть средоточие, живая сердцевина человека, истинный центр (“реальное Я”), основа индивидуальности человека, метафизическое его ядро».

Новое для Базарова духовно-душевное состояние проявляется в строе его речи, слове, которое (по Гоголю) «есть высший подарок Бога человеку». Тургеневский герой невольно начинает изъясняться в стиле влюблённых рыцарей, трубадуров, миннезингеров, которых он некогда зло высмеивал как сумасбродных безумцев. «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...» – обращается он к даме своего сердца. Базаров умирает с любовью, призывая к себе «благодать» (так переводится имя Одинцовой – Анна), просветляющую его духовные силы.

Ассоциируя себя с «лампадой», Базаров обнаруживает свою внутреннюю причастность православной церковной традиции, родственность ей на генетическом уровне. Очнувшись от «тяжёлой, полузабывчивой дремоты», умирающий герой, «с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца». В «будущем лекаре и лекарском сыне» оживает «дьячковский внук». Об этой связи в цепи поколений Базаров не забывал: «Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?..» – многозначительно напоминал он Аркадию. И даже «осведомился однажды об отце Алексее», что вовсе не вписывается в нигилистические установки.

С судьбой Базарова много схожего у героя «Рассказа отца Алексея» Якова, происходящего из древнего священнического рода: «в нашем приходе близко двухсот годов всё из нашей семьи священники живали!», – но пожелавшего «идти по-светскому»: «“поступлю в университет, буду доктором; потому – к науке большую склонность чувствую”. <...> Ближним, говорит, хочу помогать. Ну-с, поехал он от меня – почитай, что ни гроша с собой не взял, только малость из платья. Уж очень он на себя надеялся!» Самонадеянность обернулась духовной и физической катастрофой.

Но текст «Отцов и детей» не даёт оснований говорить о полном «угасании» символической «лампады». Последнее, что видит Базаров своим земным зрением, – это благодатные свет и огонь: святые образа с неугасимыми лампадами, горящие перед иконами свечи, воскурение ладана в кадилнице.

Думается, неслучайно автор с его обострённой художественной интуицией пишет об умирающем Базарове: «один глаз его раскрылся». Писатель в сцене Соборования сумел уловить сам момент перехода героя в вечность: один глаз ещё может обозреть земное, другой уже закрыт навеки. Что представилось внутреннему зрению героя, что увидел он своими «духовными глазами» (это не только пушкинское выражение, но и богословское, святоотеческое) и что пережил в момент умирания, когда приоткрывшаяся в последний миг завеса позволила ему взглянуть за пределы земной жизни? И отчего в его лице возникло выражение ужаса? Был ли он поражён величием непостижимой тайны, явившейся ему во всей полноте и навеки низвергающей нигилистическую теорию абсолютного «ничто»? Встретил ли он то, чего не ждал, о чём не думал, что отвергал и во что не верил? При Соборовании, видимо, в умирающем уже теле он совершил какое-то громадное открытие о жизни духовной, ужаснувшее его самого.

Безбожные установки надменно-теоретизирующего сознания исподволь, незаметно для героя разрушали светлые стороны его личности. Демонических проявлений природы Базарова в тот период, когда он позиционировал себя как нигилиста и атеиста, можно насчитать в романе немало. Окружающим Базаров внушал безотчётный страх. В глазах матери, неотступно обращённых на сына, «виднелась и грусть, смешанная с любопытством и страхом, виднелся какой-то смиренный укор». Единцова испытывала инстинктивную боязнь перед его зверским, животным началом: «Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней...»; «“Я боюсь этого человека”, – мелькнуло в её голове». Ученик Базарова – «бланманже» Аркадий – также пережил минуты страха перед своим идейным наставником, когда в шутиливой ссоре от него вдруг повеяло серьёзной опасностью: «Что подерёмся? – подхватил Базаров. – Что ж?

Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров – ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло...

Базаров растопырил свои длинные и жёсткие пальцы... Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться... Но лицо его друга показалось ему таким зловещим, такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость...». Злое начало готово выплеснуться в любой момент, беспричинно, бессмысленно, и от того особенно страшно.

Столь же страшен одержимый наваждением бесовским Яков в «Рассказе отца Алексея»: «Верите ли, я назад отскочил, до того испугался! Бывало, страшное было у него лицо, а теперь какое-то зверское, ужасное стало! Бледен как смерть, волосы дыбом, глаза перекосились... У меня от испуга даже голос пропал; хочу говорить, не могу — обмеря совсем...»

Базарову в предсмертном бреде так же, как Якову, виделось нечто inferнальное: «Пока я лежал, мне всё казалось, что вокруг меня красные собаки бегали». Так, быть может, Соборование Базарова, ужаснувшегося в пограничный момент между жизнью и смертью, соединилось с обрядом изгнания беса – экзорцизмом, в народе именуемом «чертогон»? «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его! <...> Яков, не малодушествуй; я ладаном покурю, молитву почитаю, святой водой кругом тебя окроплю», – пытался молитвенно помочь своему одержимому сыну священник («Рассказ отца Алексея»).

Но в «Отцах и детях» обо всём этом можно только догадываться. Тургенев оставляет читателя на пороге не разрешимой в пределах земного бытия загадки, ибо, как во всяком Тайнстве, «тайна сия велика есть». Бесспорно одно: Базаров в последнее мгновение умирания, перехода по ту сторону бытия пережил трансцендентное состояние, неизмеримое ограниченными мирскими мерками, неподвластное земному разуму, неподдающееся рациональным мотивировкам.

Тайнство окончательно выводит Базарова из конкретно-чувственного, вульгарно-материалистического, обыденно-бытийного состояния в план инобытия. Это не есть абсолютное «ничто», «темнота», как думалось ранее Базарову-нигилисту.

Упование на бесконечное милосердие Божие за пределами земной жизни выражено также в финале «Рассказа отца Алексея»: «Но не хочу я верить, чтобы Господь стал судить его Своим строгим судом... И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорош лежал в гробу: совсем словно помолодел и стал на прежнего похож Якова. Лицо такое тихое, чистое, волосы колечками завились – а на губах улыбка».

Тургенев ясно даёт почувствовать, что душа человеческая сопряжена с бесконечностью; в последние мгновения с человеком происходит нечто невидимое, таинственное и великое.

Сходное переживание перед лицом этой тайны выразил В.А. Жуковский (1783–1852) в стихотворении <<А.С. Пушкин>> (1837) на смерть поэта:

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мёртвому прямо в глаза; были закрыты глаза,

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
 Что выражалось на нём, – в жизни такого
 Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
 Пламень на нём; не сиял острый ум;
 Нет! Но какую-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
 Было объято оно: **мнилось мне, что ему**
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

(выделено мной. – А. Н.-С.).

В Таинстве предсмертного Соборования человек, очищенный от грехов, вводится в бесконечную жизнь воскресшего Христа. Страдание, умирание и сама крестная смерть в Христовом Воскресении явились залогом полноты неумирающей жизни.

Эти христианские упования духовно поддерживают родителей Базарова, потерявших единственного сына.

Столь великое горе поначалу чуть не затмило сердце и разум отца Базарова. Василий Иванович, ослеплённый своим отцовским страданием, готов был взбунтоваться против Отца Небесного. В этом отец-христианин на миг уподобился сыну-отрицателю и бунтарю: «Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. “Я говорил, что я возропщу, – хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, – и возропщу, возропщу!”»

Мгновенный непокорный порыв угашен, и родители Базарова безропотно принимают Божью волю в смиренном земном поклоне: «Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него <Василия Ивановича. – А. Н.-С.> на шею, и оба вместе пали ниц. “Так, – рассказывала потом в людской Анфисушка, – рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...”» В этой картине кроткого жертвенного смирения возникает христианская аллюзия – намёк на образ жертвенного агнца или того «малого стада», к которому со словами утешения и ободрения обратился Господь: «Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32).

Финал романа «Отцы и дети» означен спасительным крестом. Из Базарова не «лопух» вырастает, как мнилось бунтующему физиологу, задумавшемуся о сокровенном смысле жизни: «из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» Этот трагический вопрос остался тогда без ответа. Но ответ в романе прозвучал ранее: «крест – вот разгадка». На могиле героя возвышается крест, обозначая место, где по православному обряду похоронен христианин. Как символ вечно обновляющейся жизни – «две молодые ёлки», посаженные любящими родителями в «вечную память» о сыне.

В земной юдоли люди, в том числе отцы и дети, даже если они родственны не только по крови, но и по духу, не в состоянии достичь абсолютного единства. Каждый неизбежно отделён от другого и собственной физической оболочкой, и неповторимым внутренним миром, остающимся во многом таинственным для самого его носителя, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нём?» (1 Кор. 2: 11).

Стремления, замыслы, планы, амбиции также не могут быть реализованы всецело и не зависят от воли и усилий человека: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак,

если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» (Лк. 12: 25–26). В евангельской притче Бог сказал самоуверенному богачу, распланировавшему для себя дальнейшую счастливую жизнь «на многие годы» вперёд: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лк. 12: 19–20). «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Мф. 24: 42). Самых родных, близких и любящих – и тех разлучает, разъединяет смерть. Не смогли противостоять ей отец и сын – оба лекари – в тургеневском романе.

Но «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18: 27). Нетленные ценности существуют. Главная непреходящая ценность – любовь Христова. Тургенев, цитируя апостола Павла, горячо в это верует: «одно это слово имеет ещё значение перед лицом смерти. <...> “Всё минется, – сказал апостол, – одна любовь останется”» (И.С. Тургенев «Гамлет и Дон-Кихот»). В своём утверждении: «любовь <...> сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь» ((И.С. Тургенев «Воробей»). Стихотворение в прозе) – писатель сердечным знанием постиг заветные христианские истины: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть Любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1 Ин. 4: 16).

Средоточие любви совершенной, которая «изгоняет страх» (1 Ин. 4: 18), – Отец, Сын и Дух Святой. «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8: 16). В Пресвятой Троице, Единосущной и Нераздельной, обретает человек – венец Божьего творения – истинное единство и желанную цельность, незыблемую опору и жизнь вечную: «если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная» (1 Ин. 2: 24–25).

«Отцам» и «детям» адресовал святой апостол Иоанн своё послание об Отце Небесном: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала» (1 Ин. 2: 12–13).

Молитвы, слёзы и любовь – эта священная триада венчает тургеневский роман: «Неужели их молитвы, их слёзы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом примирении “равнодушной” природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...»

Неутолимая духовная жажда веры в Бога и бессмертие, предчувствие «жизни бесконечной...» для людей как детей общего Отца Небесного – последнее упование в романе Тургенева «Отцы и дети».

Галина МУХИНА

Родилась в с. Могочино Новосибирской области. Окончила исторический факультет Уральского госуниверситета.

Историк-новист, кандидат исторических наук, автор трёх книг и десятков статей по истории и культуре Франции и России, с полувековым рабочим стажем. Последние сорок лет работала доцентом на кафедре всеобщей истории Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского. Живёт в Омске.

Михаил ПРИШВИН: СУТЬ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА – В ПРАВДЕ 150 лет со дня рождения писателя

Главным своим произведением Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) считал Дневники, которые писал с 1905 года вплоть до конца жизни, скрывал их, понимая, сколь опасны они для него самого, если обнаружат. Мыслитель выразил в них себя как писателя и человека, как русского человека. Эта русскость представлена у него в образе самой России, описаниях, набросках, раскиданных по всему тексту о национальной ментальности и собственном предназначении. Об этом и пойдёт речь.

Образ России? Писатель не может обойтись без стереотипов. В 1914 году записывает: «Россия легко представляется как громадная дебелая баба. Все рассуждающие мистики в один голос признают начало женственное, пассивное основание в России». По его мнению, «“женственность” славянского духа» – это «какая-то высшая потребность духа не вознестись, а отдаться». Есть в русском человеке «готовность повергнуться перед каким-то неоспоримым авторитетом, как раньше было: это царь и Бог». Так он сам чувствовал и считал «особенной чертой славян, отличающей их от гордых варягов», различая немецкий долг и русское послушание (1946).

Таинственная – «с народом-сфинксом» (1917). «Чувство родины в России сильнее, чем в Европе», – утверждал он, «а отечества нет», то есть нет граждан, гражданского общества – в отличие от Европы (1920).

В 1930 году понял, что «только теперь раскрывается это понятие во всем значении: родина – это от рода... эта сила сродства воплощается в чем-нибудь и как возможность счастья... что есть оно где-то, кому-то – светит звездочкой, или раскрывается в почках, или бормочет ручейком...»

Смысл – «в единстве существа человека: и это есть в чувстве рода (“свояк”))» и очень сильно в нас (1938). «Русский простой человек не может стать выше крови». Прежде огромное большинство крестьян так и «держалось возле земли родовыми союзами, – вреда от этого не было», но до того, как «свояк полез в производство, в милицию и стал тянуть за собой свояка» (1939).

Родина не есть «что-то этнографическое, ландшафтное, недвижимое». «Для меня родина – всё, что я сейчас люблю и за что борюсь, родина – это я сам, как творческий момент настоящего, создающего из прошлого наше будущее», – зафиксировал Пришвин свою преданность России – до полного слияния с нею (1938). Истоки этого чувства обнажились в воспоминаниях 1946 г. о раннем детстве. Вот ему три года, он сидит за большим столом под висячей лампой вместе с женщинами, ощущает их «серьезное глубокое настроение». Рядом пучки корпии, они связывают время нашей нынешней войны с «героическими народными войнами прежних времен». Даже самое слово «корпия» вызывали в нём теперь «представление о какой-то большой нравственной связи женщин в тылу и воинов на поле битвы». Первое его «гражданское детское впечатление было единственным, в котором гармонично связываются все элементы, составляющие понятие отечества и родины: тут и природа, и народ, и правители, и личность – все вместе в единстве», как рассказывали наши отцы, как описывал Л. Толстой в книге «Война и мир». И заключает: «Вот это для чего ты жил, старый человек... Для того, чтобы связать время человеческим смыслом» с последней победой Красной Армии над немцами (1946). «Чувство родины, конечно, всегда было у русского человека, но оно не было так остро и больно задето и осознано, как в последнюю мировую войну» (1948).

Пришвин сравнивает довоенную Россию с Европой, как это всегда было принято. Но с Европой «коварной», для которой «славяне не больше, как кролики, которым она для опыта привила свое бешенство» и готовит фашизм против нас. Признание тяжкое: «Когда видишь намерения на хищнический расхват нашей страны, то без колебания становишься на сторону большевиков». Но когда оглянешься на достижения социализма, то видишь «громадное ухудшение» в сравнении с положением людей в буржуазных странах. «... Три греха или вернее три кита: утопизм, авантюризм и халтура; полагаю, на этих же трех китах стоит и буржуазная цивилизация, и разнится от нас только размером того или другого кита, у них самый большой кит авантюра, у нас утопия и халтура. Правда, капитал начинается авантюрой, социализм утопией. И что же, через много лет авантюра создаст цивилизацию; почему же утопия не может создать свою?» (1930)

Поездка Пришвина на Дальний Восток в 1931 году показала масштаб предстоящей переделки: «дело казацкого расширения перешло к большевистскому». В этом весь смысл нашей истории: «мы вступили в сферу бесконечного продвижения по стране социалистического отечества». Речь шла о развитии региона, где трудятся «статные русские молодцы» и «истинно трудовые люди и живучие» – китайцы, что «наполняют землю силой размножения». Они разные. На Алдане русский работает шесть часов до упора, пьёт спирт, ест мясо, живёт как налетчик. Китаец работает часов двенадцать потихоньку, догонит русского и не устанет, живет согласно «с землей и небом, больше, вероятно, с небом». Китайцы – «народ исключительно чуткий и отзывчивый к мелочам хорошего сердечного отношения».

По-видимому, столкновение с Китаем Европы будет не сейчас, предполагал он, но мы ввязываемся в это дело. Вероятно, не только «авантюрами большевиков», а и внутренней судьбой Востока. «Господское высокомерие европейца-колонизатора и цивилизатора получило от русской революции хорошую гримасу, получит и в китайской. Китай надо «принять к сердцу (вот где надо искать оправдания и смысла)». Китай приблизился к нам. Россия показывается в новом свете. И стало понятно, будто «человеческий мир стоит на трех китах: Россия, Индия и Китай» (1927). Прямо как сейчас нам бы хотелось! Ради переформатирования однополярного мира в многополярный.

Но состояние страны его удручает: «Теперь, когда все иностранное исчезло и мы остались лицом к лицу с отечественным производством, вдруг обнаружилась истинная Россия во всем своем техническом неуменье и чудовищной отсталости». В Лавре снимают колокола, и тот в 4000 пудов, единственный в мире, тоже пойдет в переплавку. «Чистое злодейство», и заступиться нельзя никому: «слишком много жизней губят ежедневно, чтобы можно было отстаивать колокол...» (2 ноября 1929 г.) А гибель «редчайшего, даже единственного в мире музыкального инструмента – Растреллиевской колокольной: сбрасывались один на другой и разбивались величайшие в мире колокола Годуновской эпохи». Целесообразности не было никакой: 8 тыс. пудов бронзы можно было набрать из обыкновенных колоколов. Это невозможно оправдать. Растреллиевская колокольная могла бы служить делу социализма: играть 1 мая революционные марши, и процессии под звуки колоколов, единственных в мире, привлекали бы иностранцев (1930).

2 ноября 1930 г. – сообщение в газетах о съезде пролетарских писателей. Его реакция: «Нет, кажется, ничего мне горше, как групповое вовлечение писателей в политику». На это готов ответ: «Если будет война я, как гражданин, готов защищать СССР и, если придется, умру с чистою совестью... Но если меня обяжут написать поэму о войне или даже просто о наших достижениях, то я этого сделать не властен».

8 ноября 1930 г.: «Моя печаль в этом году перешла в отчаяние... артист-писатель, сбрасывается вниз... как последний балласт... Мое отчаяние велико, потому что вместе с этим творческое начало жизни, сама личность человека падает. Стало чаще и чаще являться желание выйти из дому в чем есть, и пойти по дороге... и, когда силы... вовсе иссякнут, свернуть... в ближайший овраг и лечь там». И не считал это самоубийством. Но каждый раз останавливала «жалость к близким» и мысль: зачем же тебе идти в овраг, «ведь ты уже в овраге». «Нельзя открывать своего лица» – первое условие тогдашней жизни: «нужна мина и маска».

Вырывалось сочувствие: «И как же бедно-бедно живут служащие советские люди, вот уж серая-то жизнь». А по радио воспевают счастливую жизнь, и «так это всем надоело!» Откровенно пишет: «кое-что я ненавижу смертельно... и больше всего... газету “Правду” как олицетворение самой наглой лжи, какая когда-либо была на земле. Ненавижу, вспоминая слова Тургенева о русском народе, что нет более изолгавшегося народа, чем русский, но что зато никто на свете так не жаждет правды, как русский». Писателю невыносимы и газетный штамп, и речи о счастливой стране и великом вожде, похожие «на склерозные сосуды». Однако в том же 1937 году удивляется: «если с точки зрения человеческой личности, то какая это жалкая, ничтожная и хвастливая страна СССР, а с точки зрения переустройства мира – какая это могучая страна».

Само творчество понуждает к поиску родины как писателя. Прочитал Пушкина «Историю пугачевского бунта» и «Капитанскую дочку». И дожил до понимания «откуда я пришел в литературу». «Утверждение мира в гармонической простоте (“мечты и существенное” – сходятся)». Нашёл, что искал: «И теперь читаешь и как будто у себя на родине... моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить... моя родина, непревзойденная в простой красоте и, что всего удивительней, органически сочетавшейся с ней доброте и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина “Капитанская дочка”» (1933).

Однако собственное творчество определило и родину места. «Моя физическая родина под Ельцом, а Ленинград (он был тогда Петербург) стал родиной моей как писателя: тут на Малой Охте написал я свои первые книги: “В краю непуганых птиц” и “Колобок”». «...прекрасным городом в нашей стране остается мне один Ленинград: я не по крови люблю его, а за то, что в нем только я почувствовал в себе человека» (12 сентября 1941 г.). Ещё признание: «В чувстве природы таится моя родина, в делах моих определяется отечество». Природа – вот «исходная точка художника» и «первичное выражение чувства родины», что и определило поведение в отношении к русскому слову (3 февраля 1941 г.). Наконец стало понятно: «радость жизни, свойственная моей матери, перешла у меня в чувство родины, а потом это чувство при посредстве искусства стало чувством природы» (14 февраля 1941 г.).

Патриотизм Пришвин всегда подкреплял литературными примерами и доводами. Вот «Старосветских помещиков» Гоголя он воспринимал как «удивительный, почти какой-то научный химический эксперимент» писателя, который устранил все факторы быта и показал, что «истинная, прочная, настоящая любовь держится привычкой». И тотчас почувствовал, что и к советской власти «мы привыкаем, и на этой привычке уже сложился быт» (запись 1931 г.). Хотя с оговоркой: «Я люблю свою родную страну Россию, но социализм я любить не могу, и никто это не может любить. Может быть, я признаю социализм полезным для моей страны» (1936 г.).

2 января 1946 г. перечитывает «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова и соотносит с 1917 годом. Поэт здесь шёл впереди революции, и в поэме выражено, «насколько же подготовлено было сознание народа». После признания: «Люблю русских» цитирует из неё строки:

Не диво ли? широкая
 Сторонка Русь крещеная,
 Народу в ней тьма тём,
 А ни в одной-то душеньке
 Спокон веков до нашего
 Не загорелась песенка
 Веселая и ясная,
 Как ведренный денек.

И думает об этом: Маяковский, с его искореженной поэзией, не смог «спеть такую песенку», в которой столько всего: «что-то и от павшего ангела, и от народного революционера Некрасова, и от демона, и даже от Ленина, обрекавшего на жертву “личную жизнь”. Если же сама личность идет в жертвенную печь, то где же и родиться такой песенке, веселой и ясной?»

16 сентября 1941 года: «Читаю "Село Степанчиково" и вижу, как и в "Бесах", пророческое изображение России: психология идейного деспотизма на почве личного самолюбия Фомы Опискина – разве это не современность?» Здесь развита тема «нравственной эксплуатации» одного человека другим. И думается о происхождении «деспотизма из самолюбия». Только удивляет готовность автора «самого гаденького человечка в его ничтожном самолюбьице» – «не уничтожить его, а оправдать». Сразу понимаешь, что такие существа нынешние, как Ставский, Панферов, Павленко... являются точным отображением Фомы Опискина... Теперь понимаю, откуда взялся этот "железный стержень коммуниста": по примеру Опискина. Большинство героев Достоевского – это формы самолюбия». Пришвин решает прочитать всего Достоевского, имея в виду решительно всех его героев, больших, маленьких и мельчайших. Потому что Достоевский в своей литературе «дошел до такой человечности, что его повести живут и действуют почти как сами люди». Его искусство целиком «исходит из христианства, из жалости и сострадания к человеку». Потому вывод: «Вся жизнь русского народа выразилась в двух ее пророках: Достоевском и Толстом».

Пришвин всегда смотрел на русскую классическую литературу, или, вернее, на душу русского писателя, как «на копилку народную, где слезы людей превращаются в радость». И не только поэтому. Ему важно найти опору против притязаний «инженеров душ», заполонивших литературу, порывающих с традицией классиков и претендующих на лидерство (1946). Важно было определить свой круг единомышленников. Это Розанов – «"простой" русский человек, всегда искренний и потому всегда разный». Это Ремизов. Это Шалапин – Пришвин (вслед за В. Розановым) выделяет его как явление национальное и природное, былинное, он «точно вышел из темного волжского леса», он запел, и «все волжские леса, зеленые и ласковые, запели с ним и в нем» (1941). В 1948 г. записал: мои современники, «братья и боги по духу»: Шалапин, Горький, Коненков. А на другой «совершенно противоположной стороне» – Гиппиус, Блок, Белый. Декаденты, к которым «всегда испытывал... в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком низшего круга» (1926).

Но есть люди, от которых является «подозрение в своей ли неправоте или даже в ничтожестве своем, и начинается борьба за восстановление себя самого, за выправление своей жизненной линии». Таким для него был Блок. Стихов Блока и вообще этой «высшей стихотворной поэзии» он не понимает: «эти снежные кружева слишком кружева». Блок – это «человек, живущий "в духе", редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами. Это и плюс аристократизм стиха, в общем какая-то мучительная снежная высота, на которой я не бывал, не могу быть, виновачусь в этом себе и утешаюсь своим долинным бытием без противопоставления» (1926).

К Горькому отношение противоречивое и сожалеющее: он «должен был представить собой народную совесть в согласии с государственным делом, как было это во время Дмитрия Донского с преп. Сергием. А при конце жизни Горького оказалось, что весь "монастырь" его состоит из "врагов народа"» (8 апреля 1941 г.). Пришвин сочувствует ему, потому что «все написанное, а и жизнь его и даже, что всего обиднее, самая смерть пошли на потребу текущей политики – ужасающее несчастье!» Из всего горьковского наследия Пришвин больше всего

ценит «Детство». Бабушка в нём кажется ему «самым удачным в русской литературе образом нашей родины. Думая о “Бабушке”, понимаешь по ней, почему родину представляют себе в образе матери» (1941). Но война внесла коррективы, и Пришвин сделал открытие: «Вынес Горького наверх особый, присущий народной среде романтизм, подхваченный Горьким в среде босяков. Вот эта близость к подвижным и малодоступным для интеллигенции слоям народа и была счастьем Горького». Но дальше он не пошел, а ехал вперед «на политическом моторе». Пришвину представилось, что это «нечто народное; какая-то сила, выметающая немцев из России, в своем психологическом основании и есть тот самый босяцкий романтизм, которым питался Горький: вот на каких дрожжах вырастали наши генералы и герои военные» (1942).

Его литературные предпочтения, «вечные спутники» (поэты) – Лермонтов, Блок, Есенин, Пушкин. А «совсем недоступные»: Брюсов, Маяковский, в том числе и Гёте. Тут «вопрос о рукотворности вещи, мне поэзия должна быть как молитва».

Из прозаиков у него «живут»: Шекспир, Толстой, Достоевский, Гамсун, Чехов, Лесков. Понимал, что искусство настоящее есть «здоровье человечества, и лучшие представители искусства все здоровые люди»: Шекспир, Толстой, Леонардо... (1934). Он ценит «общий ум», в котором «очень даже мало разума и гораздо большая доля чутья», оно главным образом и составляет этот «“ум” народный и вселюдный, благодаря которому между всеми ступенями образования и развития все-таки существует общение. У нас на Руси этот ум и лег в основу литературы...» Благодаря этому создаётся «язык намеков, как у Гоголя, Достоевского: читаешь и все время чувствуешь нечто большое, стоящее за словами...» (1935).

В словесной силе народов чувствовал «все их лучшее». Сила русского слова, считал Пришвин, явилась «за счет отказа от всяких материальных ценностей». Это хорошо понимали «все гении русского слова, и благодаря этому создавались ценности такой силы, что заставили слушать себя все миры» (1928).

О самом народе у писателя много неутешительных, нелицеприятных оценок, но далеко не однозначных, ибо нет худа без добра – всё в единстве. В 1914 г. констатирует: «Людей благочестивых в России достаточно, но мало честных людей. Если вы приступаете к какому-нибудь делу и пожелаете найти честного помощника, вам скажут: “таких нет”. Вы сомневаетесь: мало ли людей, которые служили бы по совести? Отвечают: не верю в существование такого человека!» Однако такая национальная черта, как «сознание своего ничтожества», способна превратиться в дело исторического собирания Руси: «если... “великорусы” знают... “ничто”: то, конечно, само возле себя у них и остается это “ничто”, зато другие народы к этому тянутся, и так “собирается Русь”. (“Ничто”: жить кое-как и вдруг подняться всем миром.)» «“Ничто”... являет собой силу и особенность великорусского племени: этой силой и собирались вокруг Великороссии терпеливые и устойчивые племена» (1936). На эту всемирную отзывчивость народа не раз обращали внимание классики нашей литературы, прежде всего Достоевский.

Пришвин знал, что русское поколение интеллигенции Толстым, народниками и славянофилами воспиталось «в религиозном благоговении к простому народу в его деле добывания хлеба на земле». Теперь

все это представление исчезло как дым, и осталось «лицезрение колеса будничной необходимости» (1918).

На народность у Пришвина свой взгляд. «Народность не есть высшая идея, которой мы должны служить, а есть живая сила природная и историческая, которая сама должна служить высшей идее». Чтобы народ был достойным предметом веры и служения, он сам «должен верить и служить чему-нибудь высшему и безусловному». Чему же? Речь идёт о пробуждении национального самопознания, познании себя как «служебного орудия в совершении на земле Царства Божия». Вывод писателя: «Мы как народ спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением» (1919). Этим задачам, несомненно, призвана служить интеллигенция, потому что основное различие народной психологии и интеллигентской заключается в том, что «народ трудится в подневольном состоянии, а интеллигент в свободном...» (1918). Предполагал, что сущность патриотизма, по-видимому, и состоит «в отношении интеллигенции к народу, подобному Дон-Кихота к Санчо» (10 января 1925 г.)

Все пороки русского человека «идут от вековой бедности». А «при порочности желание быть хорошим до того напряженное, что при малейшем упреке русский человек становится на дыбы: самолюбие его болезненное, заостренное». Все же хорошее русского человека сохраняется в глухих местах, в стороне от цивилизации, а чем ближе к городу, тем жители «мельче душой». «Притом это страшно талантливый народ, если судить по тому, чего он достигает в своем гении» (5 ноября 1924 г.).

Пришвину нравятся радости русского человека (близкие самому): «самая первая» – «по странствовать», в Соловецкий монастырь или в Киевские печуры Богу помолиться, или по широким степям так походить, или в Сибирь уехать попытать счастья на новых местах, узнавая, как люди живут». И соглашался с Аполлоном Григорьевым: странствие тем хорошо, что «чувствуешь себя в руках Божьих, а не человеческих» (1930). А «вторая половина русской радости»: «блудному сыну» «вернуться в дом родной к родному уюту» и взяться за доброе дело (9 февраля 1920 г.).

В 1925 г. ушла всякая надежда на мало-мальски устроенную жизнь. Если бы у нас предоставить Америке свободно распоряжаться своими капиталами, то все граждане перешли бы на службу к ней. Но «как перешагнуть через родину, через самого себя? Ведь только я сам... могу преобразить ее, поминутно спрашивая “тут не больно?”, и если слышу “больно”, ощупываю в другом месте свой путь». О себе записал: «через уважение к родным, некоторым друзьям и, главное, через страстную любовь к природе, увенчанной своим родным словом, я неотделим от России, а когда является мысль, что ее уже нет, что она принципиально продана уже другому народу, то кончается моя охота писать и наступают мрачные дни».

В 1928 г. он приходит к выводу, что людей разделяет не собственность, а наличие «природного дара»: даровитые и темные – вот два главных класса. А потом уже – «собственность, богатство и бедность, зависть и щедрость», как второстепенные. Пришвин не считал себя народником, но воспитывался среди них, и этика его была народническая. Он всю жизнь «приглядывался к мужику», и пришел к убеждению, что «его все обманывают», а русскому государству даже существовать нельзя без обмана мужика. Он и сам чувствовал себя в народе почти как Миклухо-Маклай на Новой Гвинее среди дикарей. В своей личной жизни, которая «сложилась столь причудливо», стирались все сословия

и классовые границы. Немало он знал мужиков и рабочих, которые целиком попадают в категорию высшей интеллигенции, и сколько встречалось князей, ученых и богачей, целиком падающих «в безликую массу простого народа».

Он различает народ и интеллигенцию ещё по такому принципу – готовности продолжать свой род. Само слово «на-род» созвучно с обилием роста, разрастанием, интеллект же «сопротивляется диктатуре акта природы». Однако делает оговорку, что «культура и “безымянная жизнь” (интеллигенция и народ) нигде, кроме России, не разграничены так резко». Но это до революции, а после неё из народа вышло такое «множество полукультурных людей, а интеллигенция так побавилась», что резкое разграничение между ними исчезло. К тому же нынешнее состояние массы крестьянской подобно дореволюционному только «по нищете, пьянству и хулиганству», а изнутри она подготовлена – с оживлением индустрии – к лавинному переходу из крестьян в рабочие (1928).

В год «великого перелома» Пришвин отвергает правомерность классового подхода «к живой личности», потому что это «самая ужасная попытка для людей и губительство всякого творчества: это все равно, что стрелять в Пушкина или Лермонтова». А что стоит общее крестьянское название всех коллективов – «принудиловка». «Принудиловка» – «страшней, чем война»: там всегда есть надежда, что когда-нибудь вернуться домой, а тут «самый дом исчезает» (1929).

Возмущён раскулачиванием. И заносит кулаков-капиталистов как организаторов производства и большевиков («людей власти» – тоже организаторов) в один класс. В деревнях вся нынешняя политика представляется ему «грабежом и систематической пауперизацией», (хотя в городах «много разумного дела, вероятно, даже энтузиазма»). 1929 год внешне очень напоминает 18-й, но тогда «грабёж оправдывался революцией: “грабь награбленное”, теперь социалистическим строительством будущего». «Тогда на каждом месте был убежденный революционер, теперь только исполнительный чиновник, а убежденных вовсе нет». (Зачеркнуто: «Мир в своей истории видал всякого рода грабежи, но таких, чтобы всякий трудящийся был ограблен в пользу бездельничающей “бедноты” и бюрократии под слова “кто не работает”... Противно думать об этом».) Статью Сталина «Головокружение от успехов», в которой он идет «сам против себя» воспринимает как верх «цинизма» (1930). Для себя же выводит: «Надо приготовиться к тому, что некоторое время кормиться писанием будет невозможно» (1929).

Долго не понимал значения «ожесточенной травли “кулаков” и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние». Потом только понял причину: все они «даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства». Все они «не знали счета рабочим часам своего дня», как все организаторы производства в стране. Ныне работают все по часам, а «без часов, не помня живота своего, не за страх, а за совесть, только очень немногие». Вот и выходит, что «деревенская среда является положительной средой для кулака, способный человек непременно проходит в кулаки»: «всякий талантливый обращается в кулака». А вокруг «лень, безвыходность, пьянство, слабость, зависть... И вот это идеализировали и поэтизировали!» (1930). Но эта политика против частной собственности как орудия эксплуатации проводилась в соответствии с теорией марксизма и имела своё историческое оправдание, в том числе

и в борьбе с нищетой. Для Пришвина – выходца из купеческого сословия, этот вопрос был очень болезненным: он сам попал под экспроприацию: потерял землю, сад, дом.

В результате что получилось? По Пришвину: «Коммунизм выскреб все личные привязанности наших людей к своим вещам, все личные навыки (кустарей), все народные обычаи. Так образовалась аморфная масса, ныне распределяющаяся вокруг личности вождя, как опилки вокруг магнитного полюса». Отсутствие собственности на орудия производства, личная материальная бедность, крайняя неприхотливость, выносливость обеспечивают легкую управляемость; возникает идея возможности устройства «полной счастливой и зажиточной жизни для этой податливой и неприхотливой массы» (1936).

Сравнивая коммунизм и капитализм (фашизм), писатель ставит узловую вопрос о собственности на орудия производства и подчёркивает её социальную значимость. У них наследственная собственность – «способ национального отбора способных людей», вместе с которой «наследственно передаются и сохраняются личные навыки, народные обычаи». У нас не удалось, и «крупнейший сознательный старатель Столыпин на этом пути был убит» (1936).

До сих пор наш социализм, считает он, «прозябает, как паразит на остатках капитализма»: «“кулак” никогда не может быть раскулачен, потому что капитал не в вещах, а в душе» (1930). Психологически это, действительно, оказалось неистребимым, судя по историческому опыту, в том числе и нашему.

Отказ признать право собственности извратило жизнь общества, о чём он пишет: «Самое-самое трудное теперь для всех – “чистка” или публичный разбор жизни личной и общественной всякого гражданина». Смысл этой чистки сводится к тому, чтобы «каждая человеческая личность в государстве вошла в сферу действия коллективной воли». В этом все. Крестьянин, кустарь, всякого рода мастер – независимый от воли коллектива, объявляется «врагом республики» (1929).

Воспринимая «государственный юбилей» Горького как «яркий документ государственно-бюрократического послушания русского народа», писатель с горечью записал: «Воля народа, по-видимому, без остатка сторела в расколе, после чего остался не народ, а... внешне послушная масса с затаенной жизнью личного, находящая свое выражение в какой-то артистичности... Нигде в мире нет, вероятно, такого числа артистов, придумщиков, чудаков, оригиналов всякого рода, в общественном отношении исповедующих закон “моя хата с краю”». В этом грехе он и сам признавался (1928).

В русском народе он чтит открытость, общительность (душа нараспашку): «вот ты встретил неизвестного человека, и через минуту ты с ним говоришь, будто всю жизнь знал его. Хорошее чувство: “вместе несем”. Русский человек хорош для незнакомого, готов открыть все и слушать...» Все хорошее – это частный человек, плохое – общественный (трус). И приводит слова Егора Воруланинова, побывавшего в плену: «Вот немец живет, никому нет дела: живет и живет, а у нас надо узнать все подробности, как живет и отчего...» У них «совесть есть, только не живая, а в закон перешла». «Русский человек... бедность какая, смотреть не на что, а совесть живая, и без товарища не может и не понимает, как и зачем жить без товарища: кусочек достанет чего-нибудь, и поделится с другом и благодарности не примет, а только скажет: ну, ладно, когда-нибудь сочтемся, мне будет плохо – к тебе приду» (1934).

У русского человека есть «болезнь, влияющая на весь ход русской истории»: «язык чешется», «с трудом хранит заветное, выжидая лишь случая, когда можно ему перешепнуть кому-нибудь и тем облегчить свою душу». На себя смешно смотреть, как «подмывает шепнуть земле про ослиные уши и как нет-нет и прорвется заветное в разговоре с людьми». И такой русский человек весь: «болтун, страшный любитель общества». Наблюдать со стороны – выковывается молчун. Но принудить себя надолго – не получается. И мы все такие. «Мы болтливы, как галки», когда слетаются на одно дерево. А жизнь заставляет сейчас быть молчаливыми, как «ястребы». Ястребы будут, как полагается в природе, но «весь народ русский в своем характере навсегда будет с галками. В этом его особенность и, может быть, сила» (1937). Вот в русском народе даже «очень милостиво и сочувственно относятся к пьяным, и у каждого пьяницы в трудную минуту откуда-то находится товарищ трезвый».

Наши русские люди (как «заваленные снегом деревья») до того сейчас «перегружены тяжестью переживаний, до того им хочется поболтать обо всем друг с другом, что просто нет сил больше терпеть. Но чуть кто не вытерпел, – другой подслушал, и пропал человек!» (1937).

Словно завет давал в 1939 году: если считаешь себя сыном своего народа, то должен «вечно помнить, в каком зле искупался твой родной народ, сколько невинных жертв оставил он в диких лесах, на полях своих и везде. Наш долг перед потомством помнить о них». А по дороге в Москву любовался людьми русскими и не сомневался, что «такое множество умных людей рано или поздно все переварит и выпрямит всякую кривизну... все будет как надо».

Русский народ «исполнен юмора», и это его характерная черта; юмор немецкий «никого не смешит», кроме самих немцев. Русский менталитет Пришвин оттачивает в сопоставлении с немецким. Отмечал более основательные различия этих народов, имеющие историческое значение и выходящие на особенности судеб. Речь идет о присущем немцам *Pflicht*, что привито протестантизмом. Это развитое чувство долга, как цементом, связывающим отдельные умы в общий ум. И которого нет в русском человеке: нам православие дало послушание. А большевики управляли народом, минуя склонность его к послушанию, требовали от русского народа немецкого *Pflicht*, лишая душу свободного волеизъявления. У одних немцев *Pflicht* – как мост между личностью и обществом, и этим они побеждают. Но оно развилось в ущерб личности, потому немец «при всем своем знании, умении, храбрости, честности не только французу, но и русскому кажется человеком, как личность, ограниченным». Поэтому, несмотря на «бесспорное уважение к его хозяйству и службе», из-за этой личной ограниченности проявляется наше «какое-то юмористическое отношение» к немцу в его домашней жизни (1941).

В 30-е годы Пришвин верил, что немцы, умея «отлично работать, гораздо ближе к социализму», чем мы – «социалисты на словах», так как социализм требует творческого труда (1930). Более того – русским порядочным людям «власть как бы не свойственна»: у нас нет «призывания властвовать». Они «ждут, чтобы пришел кто-нибудь к власти со стороны, и в особенности немца (варяга) любят» (1937). Русским надо сотрудничать с ними, так как у нас «жизнь под давлением: сжатая сила, б е з л и к а я», но если немца прибавить – будет «сила непобедимая, невиданная: вроде атомной силы; это и в человеке есть, в его родовой жажде жизни». «Коммунизм непобедим, но требует немца. Или они

нас завоюют, или опять провалятся и сольются с коммунизмом» (1936). По мнению писателя, если в далеком будущем чувство долга немцев и русская свобода взаимно обогатят друг друга, то тогда весь остальной мир должен будет «покориться этому союзу свободы и долга» (1937). Пришвин был счастлив тем, что принимал «с готовностью всякое влияние». И в этой готовности видел «и основную силу своего русского “рода и племени”» (1940). Пришвину ещё в молодости казалось, что у русского есть «страстная тяга» к иностранному, «мечта его о каком-то Светлом иностранце, который с любовью посмотрит на Россию». И это происходило «из нравственной необходимости самого русского человека все свое осуждать» (1916).

Даже сожалел о своей «вспышке патриотизма во время Германской войны», а теперь с готовностью отдал бы свой народ во власть немца как «организатора и воспитателя трудового начала». И без всякого колебания, потому что уверен «в молодости и таланте русского народа: пройдет германскую школу труда и будет русский народ, а не бесформенная инертная масса. И с такой радостью будут работать, учиться!» Настолько страна наша «жаждет труда для улучшения своего бытия», из которой вытекают «великие последствия обновления страны». В этом видится «благодетельный сдвиг революции»: не отдельные люди, а все хотят лучшего, «жаждут разумного труда, разумного хозяйства» (1928). Дело не в том, что они умнее, а что они власть «всерьез принимают», – и у них в государстве всегда все выходит, а у нас ничего. Именно из-за презрения народа к власти она у нас «как будто она даже совсем и не земная и не от нас...» (1933). Значит, «послушание» – это не порок, а «добровольное сознательное подчинение необходимости». И надеялся, что сталинская эпоха со временем будет понята как «необходимая для нашего народа школа послушания» – как проявление «внутреннего патриотизма» во имя возрождения. Если же время послушания будет сорвано, то неминуемо нас подчинят немцы, и мы будем у них в послушании, пока не преодолеем их плен изнутри (13 июня 1941 г.). Речь, несомненно, шла о дисциплине, организованности народа уже в оборонном значении.

7 октября 1941 года появляется запись: «Наступает страшное время, надо собираться на борьбу самую грубую за жизнь и самую тонкую за смысл ее, надо быть мудрым, как змий». Как? «Начало всего в нас: без веры нашей и без дел церковь и Бог – все мертвое». Для него народ наш русский – «не дворяне, мужики, пролетарии, интеллигенция и т. п.», а «собрание лиц, которое каждый из нас собирает сам и поминает о здравии или за упокой. Как и в брачном союзе, источником нашей нравственной связи является наша уверенность в себе перед Богом, так и связь с народом происходит именно из этого самоопределения среди любимых людей, живых и мертвых». Он уверял, что «надежда на какую-то спасительную перемену извне напрасна, что Кашеева цепь есть [непременная] необходимость жизни человека на земле и действительная перемена к лучшему возможна лишь в себе самом» (1941).

Отсюда его требования к Дневнику: писать для себя, чтобы «самому разобратся в себе», или с намерением «войти в общество», сказать свое слово. Когда хочешь сказать людям о себе, надо суметь «умереть для себя и найтись или возродиться в чем-то другом». Стоит «поглядеть на все живое в природе и понять: все живое – зверь, птица, дерево, трава умирает для себя, чтобы воскреснуть в другом». Человек же «умирает и возрождается» – в своём творчестве, это его «собственный

путь к бессмертию». Если это знать, тогда нечего «бояться смерти и атомной бомбы» (20 февраля 1946 г.).

Находя, что обида и счастье – два фактора, определяющие психологию русского народа, Пришвин примерял это на себя. Признавал: обиды в его жизни «сколько угодно», и творчество его – результат «особого смирения в процессе борьбы с личной обидой», «не есть обычное «счастье», а усилие радостного выхода из личной обиды: это есть «путь к радости, но не к счастью» (1946).

Счастье? Была иллюзия счастливой жизни, если не будет царя. Та же иллюзия теперь у тех, кто мечтает о счастье без большевиков. «Счастье на свете одно – это быть самим собой», «согласовать свои природные склонности с общественной деятельностью и находить удовлетворение своим природным склонностям» (1930). (Ницше как пример: «хочет быть сам собой и не достигает»).

Самопостижение Пришвина нашло своё отражение в Дневниках. Это разбросано по всему тексту и никогда не уходило из поля зрения автора. Как человека он изобразил себя в «Кашеевой цепи» в герое Алпатове (Алпатовы – уличная фамилия Пришвиных в Ельце). И литература – его вскармливала. Лев Толстой – «жив и близок», его слова ещё в юности запали в память и помогли самоопределиваться. Особенно Пьер – «один из тех людей, которые чувствуют себя сильными, только если они чисты» (1935). В царское и в советское время считал себя мятежником, но не хотел быть в оппозиции как таковой, боялся хамства и боялся быть «не самим собой». При царизме считал себя «безупречным в близости к русскому народу и неприязни к правительству». И теперь не изменился к своему народу, уважал правительство. Но был готов на борьбу с бюрократией – «с этим самым страшным врагом творчества» (1936).

19 декабря 1931. Его расстроило, что отказались печатать «Кашееву цепь», и на это чувство обиды легла «картина московской трамвайной давки, злобы, бой за место на железной дороге, серые лица, множество людей с мешками провизии, усталость, “истинный ад!”» «Нечего и думать об издании книг, если пишут: “Пришвин, реакционный писатель”». Остаётся одно: «служить и тихонько пописывать под другим именем».

Мучит мысль о гибнущей родине, тоска не забывается ни при каких восторгах: «эти ручейки из-под снега, песенки жаворонок или зябликов, молодая звезда на заре – все это каким-то образом непременно возвращает к убийственной росстани: жить до смерти в полунущете среди нищих озлобленно воспитанных на идее классовой борьбы» или оказаться на чужбине, где «с иностранной точки зрения взвесят твою жизнь и установят ее небольшую международную значимость...» Если думать о современной жизни, принимая все к сердцу, то «жить нельзя, позорно жить...» «Как болит душа у русского, сколько людей сослано и как там страдают!» (1930) «Берут одного за другим, и не знаешь, и никто не может узнать, куда его девают. Как будто на тот свет уходит. И чем больше уходят, чем неуверенней жизнь остающихся, тем больше хочется жить, да, жить несмотря ни на что! Так вот бывает пир во время чумы» (1938). Внутри партии происходит «отбор личностей, исключаящий одного, другого до тех пор, пока не останется личность одна. Теперь это Сталин, человек действительно стальной», в котором «нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе»; «гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени. И так нужно, потому что наступает время военного действия» (1930).

Эпоха диктатуры «страшно понизила нравственное сознание масс»: главным образом «через мальчишек, которых в месячный срок учат на курсах “в два счета на ять” классовый борьбе» (1930). Думалось: «вся поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа, и я взялся за нее как за якорь личного спасения от оскорбления и злобы». Потом вывод: «считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека» (1937). Признаёт: «Не могу с большевиками, потому что у них столько было насилия, что едва ли им уже простит история за него. И с фашистами не могу, и с эсерами, я по природе своей человек непартийный, и это необязательно – быть непременно партийным» (1938). «Много раз я был у конца, и даже, можно сказать, все советское время жизнь моя протекала в настоящем чувстве конца (замерзнуть бы или сгореть), но конечное чувство радости жизни удерживало меня, и потому я хватался за радость и все советское время писал только о радости». Гордился тем, что «единственный из писателей» доказал, что писатель может и при советской власти отстоять «независимость авторства». Верил, что «не унижится и выйдет невредимым из всякого унижения», но имел страх «постоянный перед унижением». Всегда перед ним стоял Медный всадник – государство, Евгений (я – мы) и, конечно, в перспективе будущего: «ужо!» И какой выход? «Величайшее, единственное и последнее средство борьбы с насилием и господством – это молчание». Но «если будет открыто средство видеть мысли, то этим будет вырвано последнее средство борьбы с господством, хотя тем самым и господство прекратится: все личное будет побеждено», – заключал он. Как же это современно звучит при нынешних расчётах на коварную цифровизацию!

Романтичность и чувство природы сделало, по собственному его признанию, «писателем, человеком известным». В писательстве, как он говорит: «есть что-то больше меня». И это пришло через родителей от церкви. Больше всего был признателен своей матери: «Не будь у меня матери, никакого чувства я бы не испытывал к земле, это материнская любовь делает землю родной и прекрасной». Когда надоели научные занятия ботаникой, Пришвин «сделался пейзажистом родной страны» «без человека». Когда освободился «от мелкой собственности и физического чувства к родному углу» и погрузился «в просторы лесов, русских рек и морей», через слово о них нашёл друзей, – возникло «чувственное, собачье влечение к земле», названное им любовью. Что-бы найти «равновесие сил и счастье» в природе, прелесть которой есть «выражение душевного мира (согласия)».

Любимым временем года была «весна света»: ночь с сильным морозом и сильный свет солнца от снега. А в преддверии – восторг от света в январе, когда «небо голубеет, оживает, зацветает и облака по нем распускаются, как весной лед на реке, открывая живую воду». И весеннюю воду в лесных лужицах с отражением в них неба и белых берёз, и широкую воду озёр и моря. Счастье? – «та же радость бытию... до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе». «Радоваться небу, солнцу, траве... встрече с человеком и разделить с ним путь до его села и в селе... просто обрадоваться всем людям, поговорить, попеть с ними и расстаться так, чтобы дети долго потом вспоминали про веселого странника. Это счастье никак не связано с удачей...» (1920).

В 1929 г. одну книжку всегда брал с собой и читал ее все лето. Это «Биосфера» Вернадского. В ней знание о том, что «мы – дети солнца».

Вернадский доказывает это путем эмпирических обобщений и «избитое в поэзии место становится новым». Сам всегда чувствовал смутно эту «ритмику мирового дыхания», и потому научная книга Вернадского, где его догадка передавалась как «эмпирическое обобщение», читалась теперь, как в детстве «авантюрный роман». А может быть, эта необходимая для творчества «вечность» и есть чувство «не своего человеческого, а иного, планетного времени», «способность соприкасаться посредством внутренней ритмики с иными временами, с иными сроками и следует назвать собственно творчеством?» В прежней русской интеллигенции было «особенное, тоже сверхвременное чувство цельности человеческой жизни», что увлекало к действию и готовило неизбежность Голгофы в тюрьме и Сибири (1929).

В 1933 г. он оценивал свою нынешнюю жизнь, наполненную «любимым делом и часами отдыха в своей семье», «сравнительно с другими очень счастливой». В 1937 г. записал: «мне 65 лет от роду и всех своих, жену, детей я устроил и обеспечил года на 3-4 свое личное существование, – я могу теперь жить, совершенно не заботясь о будущем в матер. отношении. Я с 1938 года выбрасываю из себя совершенно эту заботу и живу лично как свободный и счастливый человек с одной оговоркой: от сумы и тюрьмы не отказывайся». В 1940 г. ему улыбнулась большая любовь: в 68 лет сделал предложение замужней Валерии Дмитриевне на пятый день знакомства и был счастлив до конца своих дней. Записал: «Вот появление Ляли у меня я считаю за чудо, и со времени ее появления считаю себя верующим в Бога и, по всей вероятности, христианином» (14 июня 1940 г.). Считал, что их объединяет «общая и самая русская черта в характере – это органическая неприязнь ко всякому господству над людьми и даже над имуществом» (1941). Хотел только создать «Песнь Песней», и «это будет истинное чудо, если я ее напишу...»

Всё время манило его жить в усадьбе, в саду, как в детстве. В 75 лет достиг этой мечты и «устроился»: «как верблюд, сумевший пройти сквозь игольное ушко». Но не забывая только, что «люди нашей страны живут тяжело и выносят невыносимое...». «А впрочем, стыд личного счастья – есть основная черта русской культуры и русской литературы, широко распространившей эту идею. Тут весь Достоевский и Толстой. У русских, бывало, стыдятся даже, когда счастье само приходит...»

Он же стыдился хвалить русских: «С малолетства и до старости во мне, как кровно русскому человеку из города Ельца, живет странное чувство, которое не встречал ни у одного народа. При встрече с представителями любой народности, будь то англичанин, или француз, или китаец, познакомившись с каждым из них, я узнаю в них нечто лучшее, чего не знаю в своем народе. Русский человек хуже всех, – вот мое основное чувство... оно несколько меня не угнетает, напротив, я искренно по-детски радуюсь, что где-то на стороне у других так много всего хорошего... Но как только я хочу сказать хорошее о русских, какой-то тайный голос повелительно запрещает мне: так нельзя». Ему дорого «благословенно чисто детское состояние души русского человека»: этот восторг перед другими народами. Даже кажется, что «если каждый народ будет о другом народе думать лучше, чем о своем, разве это не станет возрождением мира, не станет истинным путем в интернационал?» И не есть ли это «путь морального переустройства всего мира?» И тогда он начинал думать: «не пора ли пересмотреть это завещанное нам и прадедами чувство смирения русского человека перед иностранцами». Удивляло и другое в русском народе: «приспособительный» ум (1942).

А также «очень быстрое, легкомысленнейшее самоуспокоение» (1941). В «Лесной капели» сформулировал: «суть русского человека – не в красоте, не в силе, а в правде». Отсюда и «сущность нашего реализма: это подвижническое смирение художника перед правдой».

В 1945 г., сравнивая германский народ с русским, находил преимущества у нас: «массовый немец шел за материальными благами, каждый индивидуально. Русский шел сверхлично, сам ничем не заинтересованный. Итак, сила нашего социализма состоит в устранении индивидуальности с ее наследственными правами (собственностью)». Это его новое понимание социализма. Социализм (большевизм) – это «взрыв скопленной народной энергии». А в основании взрыва – чувство долготерпения: «будь доволен тем, что тебе дано», в нём «вся сила русского народа». И ещё одна черта: болезнь и здоровье русского – идеализм. Его «легковерие и неопытность» исходит из того, что никогда не был богат (1946).

Также обновилось чувство вождя. Сталин – «Сталин – это грузинский кувшин с русской кровью, это теперь такой же русский человек (скорее – русское явление), как и Петр I». Теперь и себя нельзя понять без Сталина – он входит «в состав моего собственного “Я”». Сталин – «это корректив нашего послушания, это необходимость и свобода, или “я сам” есть С. как осознанная необходимость. Только в зеркале Сталина я вижу себя как начало божественной силы». Это Сталин «разделяет во мне вечное божественное от родового наследственного человеческого» (1945). Стал понимать, что Сталин думал «о личности, полезной для общества». Понимание пришло «из-за обострения “холодной войны” с ее спором о войне и мире» (1950). «В славянстве всегда таился огонь неудовлетворяемой родовой силы, и наша сила теперь именно родовая, сила огня». К тому же «в русском человеке как в природе есть все, что только нам самим вздумается: тут и англичане, и французы, и немцы, и татары, и финны, есть и семиты, и арийцы, и пассивные, и активные – все, все есть. И в этом всем – наша сила, впрочем, оговорюсь: только та сила, которой вот теперь берут города» (1945).

Его писательское кредо: «Я хотел найти доброе в нашем советском строительстве. Вот отчего начиналась борьба: добро мое боролось с наличием зла». С верой в коммунизм (нравственный). Только чтобы «коммунизм, питающий первенство каждого в едином деле красоты и добра, не подчинить чечевичной похлебке равенства всех». Работа над «Осударевой дорогой», писал: «Моя идея русская, народная». Идея сути главного героя Зуйка – это «наше влечение в “природу”»: к личному совершенству, что возвращает нас к людям. «Вся моя жизнь с колыбели была борьбой за свою личность, это моя тема и как писателя» (1948). И когда читал Макаренко, восхищался подвигом русского человека, отдавшего жизнь свою «на утверждение веры в человека» (1945). А когда осудили творчество Зощенко, Ахматовой, навалилось «чувство щемящей безнадежности. Никакое личное усилие, никакое счастье больше не отстраняют зрелище бедности, озлобленности, уродства жизни всего русского народа» (30 января 1946). Беду видел – «в несомненном факте морального распада в нашем обществе». Это разделило людей «на потерявших веру в завтрашний день» и на тех, кто не веря, «перестраивает насильно свое настоящее на будущее». Поэтому Пришвин намеренно «сгущает добро». И в его творчестве, как и в природе русского человека, «в его наивном жизнеощущении» содержится упование, что «добро перемогает зло» (1947). Его герой нашего времени обладает «чувством

правды, как инстинктом и без всякого раздумья от первого веяния правды переходит к действию». Ему кажется, что главное в его произведениях – это «философия случайного и неповторимого, постигаемого удивлением». Он считает: «Писатель – это свободный человек. Нет ничего труднее, как сделать себя свободным. Вот почему так трудно сделаться хорошим писателем (1945). Для себя уяснил, что сохранял «живое чувство к хорошим людям», от которых произошёл, как и «живое чувство родины», поэтому его «в советское время не трогали, хотя и не любили». Отсюда чувство: «если погубят меня, погибну я – погибнет Россия» (1941). А в 77 лет записал: «жизни не жалко, но если я представлю себе, что придет когда-нибудь время и я брошу перо, то мне кажется это невозможным и недостойным себя жизнь без охоты писать».

После войны перспективы страны оценивал достаточно оптимистично. Понимая смысл нашей истории как борьбу «какого-то общинно-родового духа с возникающей индивидуальностью», Пришвин очень верил в русский народ, что он выйдет «на широкий путь борьбы всего человечества» именно за личность. Убеждение черпал из прошлого России: «Величайшей моральной независимостью обладал частный человек у нас в царское время, на этой почве возникла, одной стороны, богатейшая в мире литература, а с другой – революция» (1944). Из истории Великой Отечественной войны, которая явила «чудо» – наша победа в ней. Это была заслуга народа, с организующей волей большевиков, Красной армии, в которой «главный тип бойца» – «тот самый чудотворец». А в тылу – её ковали колхозы, где работала выносливая и терпеливая «самая обыкновенная баба», ставшая символом победы. Бесстрашие, удаль, «народная сила» вышла «из вечной тренировки голодом, то есть смертью». Наконец, чудо совершилось благодаря «общественной душевной энергии», сравнимой с атомной. Поэтому есть уверенность: «Мог народ немца разбить, значит, он и во всем другом покажет себя» (1946). Хотя в лихую годину писателя не покидали тяжёлые мысли о самом существовании России, жила надежда в то, что СССР «не распадется и выйдет на лучшую дорогу». Понимал, что современная «борьба разрешиться не может, так как противники равные, она может принять только универсальные размеры, захватив в себя весь мир. Русский вопрос делается вопросом всего мира и даст нам возможность существования на земле только тем, что будет принят на плечи новых свежих масс. И так в будущем наш русский кулак-мешочник делается американским капиталистом, а странник града невидимого – каким-нибудь новым Ницше». Надежды писателя подкреплялись знанием традиции: «Историю великорусского племени я содержу лично в себе как типичный и кровный его представитель и самую главную особенность его чувствую в своей собственной жизни, на своем пути, как и на пути всего народа, – это сжиматься до крайности в узких местах и валить валом по широкой дороге». Он подчёркивал: «Ум приспособительный – характернейшая черта русского народа – и какой это ум!»

Пришвин всегда был честен перед самим собой, верен своему народу, отчизне и служил ей своим пером во имя добра, мира и гармонии с природой. Широта души и потенциальная энергия русских людей позволяла ему надеяться на историческую миссию народа в обновлении и совершенствовании человечества.

Валерий СУХОВ

Родился в 1959 году в селе Архангельском Пензенской области. Окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В.Г. Белинского и аспирантуру при Московском педагогическом университете. Кандидат филологических наук. Работал учителем в сельской школе и преподавателем литературы в университете.

Автор шести сборников стихов и монографии «Очерки о жизни и творчестве Анатолия Мариенгофа». Стихи и статьи публиковались в «Литературной газете», в журналах «Сура», «Подъём», «Современное есениноведение», «Простор», «Нижний Новгород», в альманахе «День поэзии – XXI век». Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова, Международной премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами», Всероссийской литературной премии имени Бориса Корнилова «На встречу дня!»

Живёт в Пензе.

«УБРАЛИ ТОПСЕЛЯ И ЖДАЛИ ШТОРМА» Дебют Анатолия Мариенгофа

В поэме «Развратничаю с вдохновеньем» (1919–1920) Анатолий Мариенгоф, обращаясь к своим читателям, с иронией призывал: «Веруйте в благовест моего вранья». Рассказав о своём появлении на свет, поэт утверждал, что стихи он начал писать ещё в родном своём городе Нижнем Новгороде: «С восьми лет / Стал я точить / Серебряные ляды. / Отсюда и все беды...» А дебют Анатолия Мариенгофа – прозаика состоялся в Пензе. Здесь его отцу была предложена должность представителя английского акционерного общества «Грамофон» («Пишущий Амур») в Пензе и в Пензенской губернии, «с процентами от оборота, довольно значительного, так как общество давало широкий индивидуальный кредит на аппараты и пластинки». Похоронив в Нижнем Новгороде жену, Борис Михайлович Мариенгоф, его сын Анатолий и дочь Руфина переехали в Пензу в конце лета 1913 года. Мариенгофы поселились на Казанской улице в кирпичном двухэтажном доме, который выделялся среди одноэтажной деревянной застройки.

Своё образование Анатолий продолжил в частной гимназии Сергея Афанасьевича Пономарева. В копии аттестата зрелости А. Мариенгофа, который сохранился в пензенском архиве, есть запись о том, что поступил он на учёбу в гимназию 20 августа (по старому стилю) 1913 года. Атмосфера, царившая в пономарёвской гимназии, располагала к твор-

честву. Анатолий вместе со своими новыми друзьями издавал рукописный журнал «Мираж», в котором выступал сам как поэт, прозаик и литературный критик. Через год и два месяца после его переезда в Пензу, 28 октября 1914 года (по старому стилю), в газете «Пензенские ведомости» был напечатан очерк Анатолия Мариенгофа «Полтора месяца на шхуне “Утро” (Отчёт ученика экскурсанта)».

Публикация предварялась вступительной заметкой, в которой объяснялось, каким образом пензенские гимназисты оказались юнгами:

В Петрограде семь лет существует Комитет Морских экскурсий, поставивший себе целью воспитывать в молодежи любовь к морю и склонность к морской службе. Для достижения этой цели Комитет каждое лето устраивал морские экскурсии в Балтийском море, на принадлежащих ему учебных судах «Утро» (парусная шхуна), «Ильмень» (пароход)... Шхуна совершала двухмесячное плавание, пароход «Ильмень» тридцатидневное... Экскурсанты исполняют все матросские работы и отбывают вахты... их обучают военному строю, стрельбе, гребле на веслах в шлюпках... судовая дисциплина и общие работы служат отличнейшими воспитательными средствами, правильный режим и постоянное пребывание на свежем морском воздухе отлично укрепляют здоровье, вместе с тем и значительно расширяется круг знаний.

Очерк, представляющий собой отчёт ученика, плававшего на шхуне «Утро», стал интересной творческой заявкой, если воспринимать его в контексте всего многообразного наследия поэта-имажиниста, прозаика и мемуариста А. Б. Мариенгофа. Здесь начинают формироваться черты, присущие характерному стилю его зрелой прозы, проявляется острая наблюдательность молодого автора, сумевшего живо отобразить самые интересные события и выделить важные детали. Это заметно уже в первом абзаце:

8 июня 1914 г. мы были приняты на шхуну. Она напоминала благоустроенную волжскую барку – чистая, опрятная, с запахом свежей окраски. Три голые огромные мачты уходили в небо, на флагштоке повис яхтклубский флаг. ...Мы спустились в сопровождении «старых морских волков» (т.е. совершающих уже не первое плавание) в экскурсантскую каюту. Это большая полутемная комната. По стенам в два ряда полки – наши будущие койки. У потолка подвешены ровно сколоченные доски, покрытые клеенкой – это висячие столы; несколько подвесных коек, табуреты, скамейки среди комнаты, обыкновенный («мёртвый») стол – вот обстановка каюты. Тотчас нас распределили по отделениям, а затем выдали рабочее платье... Ещё через несколько минут в люк высунулась голова вахтенного старосты, раздался свисток, и команда: «1-е отделение медяшку чистить», «второе на помпу», «третье палубу мыть», «4-е стекла протирать».

Плавание на парусной шхуне «Утро» дало Анатолию Мариенгофу богатый запас жизненных впечатлений. Стараясь отобразить самое главное, Мариенгоф был лаконичен в своих характеристиках. Его очерк написан в форме дневниковых записей, где чётко фиксируется время. Вот как кратко, буквально в трёх предложениях, рассказано о начале плавания: «В полдень был молебен перед отплытием. При этом присутствовали родители экскурсантов и другие посетители. К четырём часам шхуну очистили от публики, а в 4 ч. 15 мы с криками «ура» отшвартовались. Мы плыли на Кронштадт». Автор очерка не скрывает своих промахов: «Утром у меня первая служебная неприятность: проспал

рабочее время и получил выговор от командира и наказание чистить компас в то время, как товарищи будут отпущены на берег». В Кронштадте, в который шхуна прибыла 9 июня, Мариенгоф вместе с со своими товарищами увидел английскую эскадру и побывал с экскурсией на дредноуте Lion.

Анатолий с иронией передаёт чувства юных моряков, мечтавших о морской романтике и впервые столкнувшихся с реальными трудностями: «На другой день шквал и косой дождь. Мы надели дождевые плащи, что дало право воображать себя уже “старыми морскими волками”». Первые серьезные испытания Мариенгоф и его новые друзья переносят мужественно. На третий день плавания в открытом море началась морская качка, которая не испугала молодёжь. В очерке достоверно передана атмосфера, которая царила на шхуне «Утро» во время плавания по Балтийскому морю. Мариенгоф с удовольствием рассказывает о том, как на смену томительной скуке приходит радостное настроение, когда шхуна оказывается в порту: «прибыли в Гольсинфорс, где и пробыли почти два дня, так что могли обстоятельно осмотреть этот нарядный и интересный город». Морская романтика плавания на парусной шхуне, мечты о приключениях, суровая красота морской стихии – всё это нашло отображение в очерке:

27-го над морем повис туман, всё скрылось в молочном сумраке, в пяти шагах ничего не различишь. На вахте весь командный состав. Стонут сирены и туманные горны. На корме засветили большой фонарь. Увеличили число «впередсмотрящих». Все в дождевиках, настроение приподнятое и напряжённое... Далее встречаем европейские и американские суда под всевозможными флагами.

Плавание по Балтийскому морю и посещение зарубежных городов расширяло жизненный кругозор гимназиста Мариенгофа. В городе Мальме ему удалось даже увидеть настоящего короля, который, впрочем, не произвел на пензяка особого впечатления:

12 часам мы выстроились, – все чистенькие, в свежей форме, белых чехлах, подтянутые. Замерли. Входит король. Русский посол подводит его к нам и представляет. Замечаем, что король относится к представлению довольно безучастно... После переговоров посла с королем, последний едва слышно проговорил: «Вон!ju!» Мы ответили своё «здравие желаем» на редкость стройно, громко, отчетливо. Король как-то съезжился и быстро вышел из комнаты. Мы остались разочарованные.

Юный гимназист Анатолий Мариенгоф с мальчишеской гордостью пишет о том, как он, никогда до этого не видевший моря, научился смело подниматься на мачту и обращаться с парусами: «Теперь мы уже приобрели в работах навык и справляемся с ними быстро. Когда нечего делать, забавляемся лазанием на салинги (верхняя часть мачты на 13-й сажени). Секундами захватывает дух, когда висишь так на вытянутых руках».

В очерке «Полтора месяца на шхуне “Утро”» можно найти и описание серьезных испытаний, которые выпали на долю пензенского гимназиста: «10 июля ветер чрезвычайно усилился. Появились подозрительные тучи. Убрали топселя и ждали шторма. Но к нашему неудовольствию он прошел мимо. Только сильная бортовая качка... Поэтому трудные места теперь отданы кадровым матросам, а мы у них лишь

помощниками. Но и наше дело не из легких: постоянно срываешься, скользишь и катишься...»

Завершая в последние годы своей жизни работу над книгой мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», Анатолий Борисович заново переживал это юношеское приключение. Интересно сравнить то, как одни и те же события нашли отражение в первом его прозаическом опыте и в последней книге писателя. Приведём из неё отрывок:

Лето 1914 года. В качестве юнги я хожу на трехмачтовой учебной шхуне по Балтийскому морю. Иностранные порты. Стокгольм, Мальме, Копенгаген... Вот она, Дания, – родина Гамлета. Я стою под кливерами на вздыбленном носу шхуны... Стихи подкармливают мальчишеское зазнайство... Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаюсь прочесть там будущее своей жизни: «Моряк, адвокат или поэт? Один из миллионов или один на миллионы?»

В то самое время, когда на паруснике «Утро» пензенский гимназист мечтал о славе, началась Первая мировая война. Мариенгоф достоверно воспроизвел атмосферу, которая царила на парусной шхуне «Утро»: «Мы подняли паруса и двинулись. Настроение повышенное... Вечером миноносец сообщил нам, что Франция и Англия объявили войну Германии. В ответ грянуло дружное и радостное “ура!”» В мемуарах, иронизируя над наивностью воинственно настроенной молодежи, с высоты прожитых лет Мариенгоф писал:

А через несколько дней в открытом море, неподалеку от Ганге, куда шли для участия в торжествах по случаю отдаленной Гангутской победы, мы узнали о начавшейся войне между Россией и Германией. Война! Какая мерзость! А мы, дурачье, с восторгом орём:

–Ура-а-а!..Ура-а-а!..Ура-а-а!..

Очерк заканчивался на грустной ноте:

22 утром нам сообщено приказание затопить шхуну и самим отправляться по железной дороге в Петроград... Голос старшего офицера дрогнул. Обнажились головы, у всех на глазах слёзы...Взяли на память со шхуны деревяшки, куски веревок и отправились со своего судна, с которым так сроднились. Долго и трогательно прощались с командиром. Ещё труднее было проститься с морем, которое мы все так полюбили...

Плавание по Балтийскому морю для Мариенгофа было во многом судьбоносным. Именно тогда, во время ночных бдений на вахте, он решил себя посвятить литературному творчеству. Зародившаяся тогда же любовь к морю впоследствии нашла отражения в его выразительных «имажах».

Символично то, что именно с морской метафоры начинается стихотворение «Памяти отца» (1919). Оно было написано ровно через год после трагической гибели Бориса Михайловича Мариенгофа, который поддерживал в сыне его увлечённость поэзией. (Отец «нижегородско-пензенского» имажиниста получил смертельное ранение от шальной пули 1 июня 1918 года, когда на улицах Пензы шли бои с чехословаками, поднявшими мятеж против советской власти.)

Острым холодным прорежу килем
Тяжёлую волну солёных дней, –
Всё равно друзья ли, враги ли,
Лягут вспухшими трупами на жёлтом дне.

Я не оплачу слезой полынной
Пулями зацелованного отца.
Пусть ржавая кровью волна хлынет,
И в ней годовалый брат захлебнётся.

К женитьбе отца на пензенской красавице Ольге Ионовне Липатовой, которая работала кассиром в магазине по продаже граммофонов и пластинок, Анатолий отнёсся «ревниво». Отчасти этим можно объяснить его жестокие строки о рожденном от этого брака побочном брате. Это стихотворение, написанное в духе имажинистского эпатажа с характерной разноударной рифмой, завершается образной самохарактеристикой автора, который бравировует своей бесчувственностью: «И даже стихов серебряную чешую / Я не окрашу в багряный цвет, – / А когда все зарыдают, спокойно на пробор расчешу / Холёные волосы на своей всезнающей голове». Здесь проявился показательной аморализм и подчеркнутый дендизм поэта-имажиниста, доморощенного «Оскара Уайльда из Пензы», как его иронично окрестил финский учёный Т. Хуттунен.

В стихотворении «Утихни, друг. Прохладен чай в стакане...» (1920), посвященному собрату-имажинисту Сергею Есенину, Мариенгоф создал пронзительный образ, который был также явно навеян его морскими впечатлениями: «Я голову – крылом балтийской чайки / На острые колени / Положу тебе». Продолжая «морскую тему», Мариенгоф устами своего лирического героя вопрошает в поэме «Фонтаны седины» (1920):

Каким норд-остом унесло
Мой парусник на мёртвый остров!

Отметим, что здесь автор вступает в диалог с Есениным, перекликаясь с ним в имажинистской образности. Сравним процитированные строки с концовкой есенинской поэмы «Исповедь хулигана» (1920):

Я хочу быть жёлтым парусом
В ту страну, куда мы плывём.

Своеобразный «морской» подтекст имело и название теоретического трактата Анатолия Мариенгофа «Буян-остров. Имажинизм» (1920), который упоминается в его поэме «Друзья» (1921): «Именно в этот час, / Я по всей вероятности, / Вспомню / Про утреннее путешествие / За коротким счастьем / На Буян-Остров». Давая образные характеристики своим друзьям-имажинистам, автор поэмы так характеризует свой творческий путь: «Под мариенгофским чёрным вымпелом / На северный безгласный полюс / Флот образов / Сурово держит курс. / И чопорен и строг словесный экипаж». Сравним характерную для имажинистской поэтики Мариенгофа развернутую метафору с отрывком из его первого прозаического опыта: «Утром, когда развеялся туман, оказалось, что мы окружены 35 парусными судами, идущими на Мальме».

Юношеские впечатления Мариенгофа от плавания по Балтийскому морю были настолько сильны, что он постоянно обращался к ним. Например, в «Поэме четырех глав», созданной в Берлине в 1925 году, изображая океанскую стихию, поэт упомянул камни на финском берегу Балтийского моря: «Пусть камня финского приподнятые плечи / Пусть ветер, / Соль / И синь». Стихотворение «Воспоминания» (1925), посвященное Сергею Есенину, Мариенгоф начал с характерной морской аналогии: «Немало чувств остыло и тревог, / Немало в море тонет кораблей. / В дни разбежавшихся дорог / Мы усомнились в верности друзей».

Морские образы в стихах, поэмах и мемуарной прозе Анатолия Мариенгофа доказывают то, насколько значимы были для него полтора месяца, проведенные на парусной шхуне «Утро». От дебютного очерка гимназиста об этом увлекательном плавании берёт начало долгая и непростая дорога к итоговой книге писателя «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», последняя авторская редакция которой датирована 1960 годом. Сюжет творческой биографии А. Б. Мариенгофа имел ярко выраженный кольцевой характер.

Елена РУСАКОВА:

ЖУРНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ МОКРЫМ ОТ СЛЁЗ ЧИТАТЕЛЯ – СЛЁЗ ЯРОСТИ, ПЕЧАЛИ, СМЕХА

«Роман-газета» как антология современной литературы

...Было время, лет тридцать пять – сорок назад, – стоило небрежно сказать в понимающей компании: «Вчера “Роман-газету” принесли, всю ночь читала – оторваться не могла», и «понимающая компания» наперебой просила дать почитать, выстраиваясь в очередь. Ещё бы – один из известнейших и популярнейших журналов. Причём вполне демократичный, издававшийся миллионными тиражами.

В Калининграде на фестивале ««Русский Гофман-2023» мы встретились с ответственным редактором «Роман-газеты» Еленой РУСАКОВОЙ.

– Елена Васильевна, «Роман-газета» – один из старейших литературных журналов...

– Именно так. В 1927 году Алексей Максимович Горький инициировал создание дешёвого, в сытинской традиции, народного журнала. Причём начиналась «Роман-газета» не только с новинок литературы. Проза Чехова и Толстого, которая сегодня хрестоматийна, была востребована широким кругом приобщавшихся к чтению масс. Ликвидация безграмотности – это был и наш социальный проект.

В 2017 году, к 90-летию «Роман-газеты», мы выпустили каталог и алфавитный указатель авторов с обширным очерком нашего главреда, известного прозаика и литературоведа Юрия Вильямовича Козлова, «История журнала, литературы, страны».

– И ваш узнаваемый стиль...

– Традиционный двухколонник, от которого мы не отошли, – это, на наш взгляд, для журнального читателя самая удобная форма расположения текста. Смысл укладывается, не так устают глаза. Даже при мелком шрифте читается нормально.

«Роман-газета» начинала с «золотого запаса» – хорошей русской литературы. Но наряду с этим печатали первыми романы и повести советских писателей. Мы первыми опубликовали, например, «Чапаева» Дмитрия Фурманова. У нас неизменно печатался и сам Горький (кстати, в 1997 году мы опубликовали его «Несвоевременные записки», ту их часть, что не вошла ни в одно советское собрание сочинений писателя). Не боялись печатать зарубежных друзей: в самом первом номере напечатали «Грядущую войну» Иоганнеса Бехера, позднее – «Огонь» Анри Барбюса, «Овод» Войнич, «Бравого солдата Швейка» Гашека...

1928 год. Продолжаем дружить с Горьким. Напечатаны «Мои университеты». Опубликован роман «Бруски» Фёдора Панфёрова – то есть начинается осмысление советского периода. И в том же году в «Роман-газету» пришел молодой красивый казак Михаил Шолохов. «Роман-газета» печатает «Тихий Дон», и печатает очень хорошими тиражами – еще не миллионы 60–70-х гг., но уже сотни тысяч экземпляров каждого номера. Журнал почти бесплатный, журнал, который могла себе позволить любая – лю-ба-я! – семья. Кстати, в течение последних шести лет стоимость журнала держится на уровне 200 рублей. Задаюсь вопросом: не стоит ли подумать о доброй программе государственных дотаций социально значимым, народным – таким, как наш, – журналам? Чтобы каждая библиотека России получала «Роман-газету»... Почему бы и нет?

Вернусь к истории. Среди наших авторов Серафимович и Новиков-Прибой, Либединский и Эренбург, Гладков и Караваева, Леонов и Паустовский, Федин и Фадеев. Растёт тираж, журнал становится самым массовым в стране.

Уже в 1929 году выходим на периодичность 24 номера (и по сегодняшний день те же два номера в месяц). Сборник «Поэзия революции» (№ 21 за 1930 год), составленный Михаилом Светловым, нарушив «романную» традицию журнала, представил двухмиллионному читателю стихи пятидесяти поэтов Советской России.

Три года у нас вычеркнула Великая Отечественная война. Редакторы наши продолжали трудиться над литературой для фронта, сотрудничая во фронтовой печати и в Гослитиздате – с нынешним «Худлитом» мы по-прежнему и в одном доме на Ново-Басманной, 19, и в одном литературном поле: стараемся печатать только хорошее.

Послевоенный литературный подъем захватил и наше издание. 1946 год начался с публикации фадеевской «Молодой гвардии», а далее – Катаев, Симонов, «Ленинградский дневник» Инбер, «Повесть о настоящем человеке» Полевого, «Василий Тёркин» Твардовского, «Солдаты» Михаила Алексева – да практически вся лучшая военная проза первых после Победы лет была на полках библиотек в формате «Роман-газеты». Журнал зачитывали до дыр, подписка была радостью для миллионов советских семей.

Появляются новые авторы, и подшивки «Роман-газеты» практически составляли антологию современной советской литературы, в том числе в переводе на русский с языков республиканских авторов.

– Что в «Роман-газете» публикуется в последнее время? Кто из авторов из глубинки недавно появился на ваших страницах?

– Посмотрим текущий 2023 год. Первые два номера мы отдали совершенно неожиданному автору – Сергею Степняку-Кравчинскому (1851–1895). Представлено его видение – того времени и изнутри – проблем формирования террористического мировоззрения. Это более чем серьёзно! Это – прицел на формирование размышляющего читателя, подписчика. Увы, книги Степняка-Кравчинского в связи с сокращением фондов из библиотек ушли на списание... Зато в февральском выпуске наисовременнейшая проза – сборник «Здравствуй, время!» Около тридцати авторов посвятили свои рассказы и очерки самой болевой проблеме нашего общества: созидание общего блага, работа перестали быть почетной обязанностью гражданина России, нами утрачены не только традиции коллективного труда, но и возобладала иная нравственная доминанта. Хищник и потребитель обрели почёт, труженик унижен, бесправен, нищ. Возможно, этот выпуск «РГ» (составитель Лидия Сычёва) кому-то покажется остро-провокативным, но честное слово авторов из разных регионов

России должно быть услышано. В мартовском номере «Не предай ближнего своего...» – современный рассказ. Девять разных и новых для нас авторов на тематически неоднородном материале рассматривают вечные нравственные проблемы в контексте нелёгкого для осмысления времени.

В апрельском номере «Где земли моей начало?» – традиционно, уже восьмой год подряд, представляем победителей конкурса «Справедливая Россия – За правду». В публикуемых разделах – проза, поэзия, публицистика – два десятка молодых, талантливых ребят из всех регионов. Кстати, конкурс продолжается и в текущем году.

Мы некогда пошли на эксперимент, оказавшийся весьма удачным, – конкурс для авторов 17–35 лет в номинациях: «Проза», «Поэзия», «Публицистика». Увы, не получилось с «Драматургией». Даже при поддержке Юрия Полякова...

– *Как обстоят дела с публицистикой?*

– На мой взгляд, самое слабое звено в этих конкурсах как раз – публицистика. Как правило, у молодых конкурсантов очень сильные стихи. На удивление, грамотно построенные. Да, стихосложению можно научить и научиться, но если добавляется поэтический дар, то стихи получаются хорошими. Неожиданно хороши стихи у девушек: эмоциональные – и разумные! У ребят больше конъюнктуры: они молоды, амбициозны, им хочется быстрее продвинуться, «засветиться», построить свою литературную судьбу и карьеру. Но опытный-то читатель, как автор ни лукавит, всегда видит, когда твои стихи поэзия, а когда – стремление понравиться и опубликоваться.

С прозой сложнее. Проза зачастую идёт как отклик на какие-то обстоятельства. К счастью, жюри у нас замечательное, профессиональное: главные редакторы литературных журналов, писатели. И отношение благожелательное. Одно лишь обстоятельство мешает работе – безграничная, какая-то простодушная малограмотность авторов. Но уже несколько лет мы ребятам рекомендуем: прежде чем отправить тексты на конкурс, покажите их своим школьным учителям – хоть русского языка и литературы, хоть первым учителям – начальных классов. Учителя читают так же здорово, как наши корректоры. Отмечаю, что сейчас именно благодаря вычитке учителями, а не этому встроенному в компьютер «редактору», тексты стали лучше. И бог бы с ней, с пунктуацией, с орфографией гораздо лучше!

Восьмой год мы награждаем лауреатов не только публикацией в спецвыпуске «Роман-газеты», небольшой премией, но и стартовыми возможностями. Лауреат нашего конкурса может прийти к областному, городскому руководству, показать публикацию и получить какую-никакую дотацию на издание своей книги. Выигранный конкурс «Роман-газеты» создает молодому автору репутацию. И это важно! Им важно признание, у них глазки должны гореть – такие глаза я видела у нашего – и «Русского Гофмана» – лауреата Дарины Стрельченко из Глазова (Удмуртия). Или Варя Заборцева из Пинеги. Тоже наш лауреат – и «Русского Гофмана». На финал конкурса «Роман-газеты» съезжается вся Россия. Мы же, как и на «Гофман», приглашаем лауреатов. А дальше – просто: ребята приезжают, с ними, как и на «Гофмане», разбирают работы, подчеркивают достоинства и упоминают недочёты. Позднее эти ребята обязательно звонят, рассказывают о себе. А мы... Мы же до сих пор самотёк читаем! И главный редактор Юрий Вильямович Козлов, и я. Никуда от традиций не денешься.

– *И это притом что вас в редакции от огромного коллектива осталось немного...*

– Да, было восемь редакторов и много-много акционеро-в. Но есть и нечто светлое – стало модно читать. И не в телефоне, не в электрон-

ной книжке, а «в бумаге». Вижу в метро немало пассажиров с книгами. С английскими, французскими – это язык учат, но многие просто читают. Просто читают. Два часа мне ехать электричкой на дачу – вагон читает книги. А если вижу, что человек читает журнал – и не гламурный, а настоящий, то мне радостно.

– *Вернёмся к выпускам 2022–2023 годов.*

– На фестиваль «Русский Гофман» я привезла прошлогодний выпуск с женской прозой «Страна со старой карты» (№ 23, 2022) – это моя «личная» программа. Порой женская проза для читателя становится существенно интересней мужской. Почему? Да, есть несколько имён писательниц – они популярны, на слуху, что называется. Их легко прочесть – и дальше ничего. Хотя их романы – антистресс. Женская проза в «Роман-газете» другая. Вот, к примеру, Нина Орлова-Маркграф. Прекрасный переводчик, человек высокообразованный. Православный писатель. Её книги для детей выпускает издательский центр Сретенского монастыря. А в «Роман-газете» издана её книга об алтайском детстве: повести – тонкая, благородная, умная проза – и стихи. Но «Простить Феликса» – самую сильную, самую острую, самую «больную» её вещь, мы пока не издали; нужно, чтобы читатель привык к автору, принял её. Непременно настанет момент, когда мы сможем напечатать и этот роман.

И далее, о выпусках «Роман-газеты» 2023 года. В один из сборников попали авторы разновозрастные, разностилевые. Это естественно. В нем напечатаны и рассказы лауреата «Русского Гофмана» Анастасии Роговой. Сборник прозы калининградского писателя Дмитрия Воронина вышел в апреле. Это его вторая публикация в «РГ». Он талантлив и современен. Дай бог, наше сотрудничество продолжится и впредь.

В двух майских номерах «Роман-газеты» очень разные авторы: Василий Киляков и Роман Сенчин. Когда они пишут о сверстниках, то могут написать жёстко, резко, в манере постмодернизма. Но как только дело доходит до дома, до близких, до старшего поколения, особенно уже ушедших из жизни, возникает – при стилевом разнообразии – то самое человеческое сопереживание, любовь. Что у одного, что у другого. А в подборках – рассказы о поколении родителей. У Килякова это деревня; у Сенчина – Сибирь, Красноярский край, Тува. Не Москва, а Россия. Та самая, которую ругают, мол, дороги никудышные, газ не проведён... Но в каждом рассказе, в каждой повести есть тема, выводящая на гнев, обиду, сострадание. Один из рассказов Романа Сенчина – о дороге, которой лишаю умирающую деревню, – метафоричен и... страшен.

В июне – журналы с прозой наших мастеров: «Зачёт по последнему» Владимира Крупина и «Трое неизвестных» Михаила Попова. Уверенно рекомендую к прочтению.

По моему мнению, каждый номер журнала должен быть мокрым от слёз читателя – слёз радости, печали, смеха.

«Роман-газета» жива. Да, уменьшился тираж. Да, сократилась редакция. Но «Роман-газета» остаётся надёжным маяком в океане Литературы.

*Елена ТРУСОВА,
Татьяна КРИНИЦКАЯ
Калининград – Саров*

Лидия ДОВЫДЕНКО

Родилась в деревне Хомичи Могилевской области БССР. Окончила историко-филологический факультет Гомельского государственного университета. С 1996 года работала в средствах массовой информации. Кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Калининградского института экономики.

Автор 19 книг, ряда телевизионных фильмов, главный редактор художественно-публицистического журнала «Берега». Лауреат Международного литературного конкурса «Славянские традиции», Международного литературного фестиваля «Русский стиль».

Секретарь Союза писателей России. Живет в Калининграде.

«ВЕСЬ МИР – ЛАЗАРЕТ...»

О новой книге Елены Крюковой

Книги с высшим смыслом... Их становится всё меньше, при постоянном количественном росте бессмысленных и ничтожных. Порой кажется, сам народ русский узнаёт себя через книги Елены Крюковой, через её героев, которые воспринимают мир как огромный храм с фресками на каждой стене, обращённой на Юг, Восток, Север и Запад.

Герои книги «Лазарет» Алексей и Николай – выдающиеся хирурги, опалённые войной и репрессиями; их пути сходились на фронтах и в лагерях в Сибири и на Севере. Главный герой Алексей – не только хирург, но и глубоко верующий православный, который под белым халатом врача носит рясу и крест. Николай – вначале яркий атеист, принимает православие под влиянием Алексея, после смерти синеглазой девушки-санинструктора и её ребёнка.

Фреска первая – «Северная стена» – знаменует собой эпилог большого жизненного пути. Алексей перед своим уходом в мир иной вспоминает свою жизнь, рассказывая её шёпотом девочке-нянечке. Он лежит в лагерном лазарете с разбитым побоями за очередной побег левым плечом и благодарит Господа, что у него правая рука здорова и он может креститься. Преодолевая телесную боль, он думает о девочке-санитарке, которая ассоциируется у него с музыкой, называет её инфантой, царевночкой. Он её не видит, один глаз выбит при побоях, другой не видит из-за сожжённой сетчатки и затянута белой плёнкой. Но врач слышит, как инфанта-нянечка моет полы, ощущает, как она кормит его с ложечки кашей – «собачьей едой». Ему трудно глотать, трудно

говорить, но он посылает девочке свои мысли и сны: «Тело – хворост, душа – играющая рыба, дух – усыпанное звёздами небо».

А за окном страшный мир; там, за перевалами ненависти и любви, на западе идёт война, о которой узникам никто не говорит. Мир воспринимается умирающим, а значит, и нами, словно живопись. Великий Небесный Художник создал его так, что мы или позируем Ему, или сами рисуем окружающий мир, в котором кто-то видит «вокруг себя не тех, кто верит в Бога, а тех, кто верит в кровь и злобу».

«Помню ли я всех встреченных на пути? – спрашивает себя Алексей. – Много людей прошло сквозь сердце моё. Сокровищами моими стали они. Имена их помню не памятью – кровью. Ибо они – мой народ; и я – народ их родной».

Герой «Лазарета» думает о себе как о зеркале, отражающем тысячи миров и людских судеб. Но на самом деле писатель Елена Крюкова – это зеркало миров, которое обращено то к православному храму, где идёт исповедание прихожан, то к лазарету всей многострадальной Земли, то к отдельной личности, осознающей свой срок в нашем мире: «Я не буду хвалить себя и очернять себя, – шепчет перед смертью Алексей, – не буду короновать себя или казнить себя; ты сама все поймёшь, ведь амальгама зеркала такая серебряная, праздничная, такая чудесная, она мерцает Луной и сверкает Солнцем в небесах, она освещает моё сердце изнутри, и ты увидишь, как оно бьётся Полярной звездой в зените, не в клети измученных рёбер».

Девочка-музыка становится последней слушательницей умирающего Алексея:

Знаешь, я от мук, причинённых мне, человеку, людьми, братьями моими, весь выгорел внутри, вместо печени пепел, вместо потрохов порванные струны, вместо сердца – кровавый комок... А ведь сказано в Писании: где сокровище твоё, там и сердце твоё. Где теперь сердце моё? Ужели в небесах? Нет, ещё нет. Здесь, на земле? Но и земли мне уже не видать. Так где я? На железной койке в тюремном лазарете? Железная койка – моя земля. И ты, дитя, ты моя исповедница, я твой причастник, а ведь сколько лет я исповедовал и причащал людей.

Невозможно прожить на Земле без боли, без неё ты не узнаешь правды о том, что не только Земля – огромный храм, но и каждый отдельный человек, его душа – это храм, часть большого Храма, серебряная дверь которого всегда открыта:

Исповедь – это чудо, исповедуясь, ты становишься всем сущим, Белым Светом обширным, Царём Космосом в смоляной, антрацитовый, расшитой турмалинами и лапами парче, и звёзды в тебе шевелятся, играют и мерно, медно, медленно идут по угольному, дегтярному полю, будто коровы с алмазами во лбу, и перебрывают великие небеса вдоль и поперёк, уходят вдаль, навсегда, – ты, признаваясь в содеянном, никогда больше не вернёшься туда, где ты это сотворил.

Оказавшись в лагере по доносу, что он, доктор, оперировал врага, Алексей совершенно отстраняется от понятий «свой» и «враг». Он размышляет о человеке и своей любви к Родине:

А может, я любил мою Родину ещё до рожденья; Родина ведь в нас течёт, она наша кровь, наше упование. Не изменим ей. Не поглумимся над ней.

Всю жизнь работая в лазаретах: в Первую мировую войну, в Гражданскую войну и в Великую Отечественную, начиная простым санитаром в Первую мировую, он понял, что люди «ко всему привыкают, и Мирь становится единым лазаретом, где все страдают, вопят, смеются, молятся, едят, пьют, выздоравливают и умирают, но только никогда, никогда не воскресают».

Я рос в лазарете, как фикус на белённом мною подоконнике. И я вырастал, и я осознавал себя, лазарет и таинственный Мирь за окном, где бесконечно творились революции и войны; и я, ухаживая за ранеными, сильно участвовал в страшных и прекрасных событиях, ибо тот, кто живёт, не может не жить, кто дышит, не дышать не может.

...Одною ногой ступал в безумие, зато другою я прочно стоял на земле, я знал: есть болезнь, и есть здравие, и я клал мою молодую жизнь к подножию общей, великой и кровавой Жизни-Распятия, в городе с храмовых колоколен лился то тяжелый и гулкий, то нежный и прозрачно-птичий, весенний звон, а мне было недосуг заходить в церковь помолиться и поставить свечу: я задыхался от работы, и хирургия была моим светом в ночи, слоями моего Времени, моей любовью.

Но этого оказалось недостаточно:

...я всё дальше, всё бесповоротней уходил по дороге священного безумия. Безумие мое, дитяtko, заключалось в том, что я хотел не в одном лишь родном лазарете лечить людей, а пуститься в дальний путь – по земле, по войне, по широкому Миру, и на этой длинной, страшной и бесконечной дороге лечить, лечить, лечить. Дарить, дарить, дарить. Отдавать, отдавать, отдавать. И не брать. Не брать никогда.

Отправившись на войну добровольцем, молодой доктор Алексей оказался в фронтовом лазарете:

Мы жили везде и спали везде. Не жалуясь, не разбирая. На войне никто ничего не говорит, только все всё делают. Война – молчаливое искусство.

Отдаются только приказы. Звенят крики команд.

И гром залпа. И летит огненная смерть.

Наше дело правое. Мы победим. А если не победим?

Что нас ждёт? Нас всех? И врагов, и друзей?

Некогда было искать ответов. Я еле успевал поворачиваться. Обезболить. Перевязать. Вытащить пулю. Выпростать из красного мяса дикий чёрный осколок, стальной коготь. Десятки осколков, иной раз и сотни, не вытащишь, изымешь лишь самые крупные, чтобы сильной муки не причиняли. Раны воспалились. Гноились. Я вытирал лицо от пота и слёз гимнастёркой: мне выдали обмундирование; глубже надвигал на лоб каску: бойцы кричали, ты, доктор, ты давай береги себя, ты тут у нас один-единственный, тебя убьют, и кончен бал, погасли свечи! Кто нас будет спасать? Жизнь нам возвращать? Очень много было ранений в живот и в голову. В животе тaitся жизнь; в голове живёт мысль. А дух? Где он живёт? А душа?

Вереницы солдатских глаз проходили перед доктором на хирургическом столе:

Эти глаза видели поля смертей. Созвездия смертей. Снопь смертей и её стога. Убитых людей Время сгребало в стога, а я? Что я делаю тут? Да, людей спасаю. А столько людей на земле – меня ждут! Разве я их покину!

Мой народ гомонил и кричал вокруг меня, и мне счастливо было чутать себя его семенем, маковой росинкой.

Алексей родился в маленькой деревне, матери не помнил, остался после смерти отца с двумя братьями, один из которых отвёз Алексея в городской лазарет санитаром, и этим уготовил ему судьбу хирурга.

И Алексей ещё не знал тогда, что встретит на войне своего друга-врага – хирурга Николая.

Николай – человек дела, он уверен, что все на свете «делают дело, а иного не дано». «Никакого Бога нет, – рассуждает он. – Всё это сказки, про богов. Люди сами себе утешение в скорбях выдумали, чтобы сильно не плакать по ночам».

Огромный врачебный опыт, полученный на войне, работа в госпитале делают Николая Петровича высоким профессионалом. Несмотря на внешнюю суровость, он задумывается о людях, их судьбах, о боли, которая выпадает им на долю:

Осколочных ранений тьма-тьмушая. То и дело осколки в ведро выбрасываю, они звенят. Спать лягу – этот звон у меня в ушах. Кого оперирую под местной анестезией, новокаин вкачу, они лежат, зубами скрипят, иной раз я им между зубов шепку вставляю, чтобы вгрызлись крепче и не орал. Терпят. А кому даю общий наркоз. Мне ещё в городе присоветовали, в госпитале: ты там раненых щади. Они и так в бою побывали. Смертушку в рожу видали. Жалей их. А тебе что, эфира жалко?

Но солдат после эфира

...медленно поворачивает голову на железяке стола, и его бурно рвёт. Всеми внутренностями. Всей проклятой войной. Всей святой войной.

И лазарет не является защитой от смерти и боли: «...бомбят раненых и врачей. По всем конвенциям такого делать нельзя. А вот делают. Наглецы. Война, разве у неё есть совесть? Совесть, она для мирных времён».

Слепой Алексей, лёжа на лазаретной койке, исповедуясь перед молоденькой нянечкой, вспоминает своё первое причастие:

Священник бормотал надо мной молитвы, и я не особенно вслушивался в слова. Я впивал их всем собою, будто я был хлеб, и это меня, меня обмакнули в сладкое вино. Потом я встал, неиспытанное чувство Вселенской чистоты разлилось по телу, по сердцу, по всей церковке, по всему окоёму за её старыми дряхлыми стенами. Я был одно с Миромъ. А Миръ воссоединился со мной. Как бы сохранить это чувство, думал я потрясённо, не уронить, не растерять.

Захлестнула волна неиспытанного счастья. Я боялся его нарушить любым жестом, разбить хрусталем. Это как в любви. Внутри меня пело. Кто это пел? Я сам? Бог? Душа?

Он открыл для себя, что православие дало миру живоносное, объединяющее начало, что русский народ благодаря благоговейной и горячей вере во Христа Бога наиболее способен к примирению и объединению с другими народами.

В последние дни своей жизни Алексей размышляет:

За нашими спинами столько драгоценностей в сундуках. Столько мудрости! А мы живём одним днём. Есть в одном дне наслаждение, но есть и опасность

забвения того, что было и что надобно помнить. Человек беспамятный – это машина, шуруп. Всяк может его вывинтить и ввинтить, куда заблагорассудится.

Надо помнить, что сундуки драгоценностей – это наши традиции, наше культурное наследие, научные достижения, наши святые, наши герои, наши победоносные битвы и трудовые подвиги.

Почему же человек убивает человека? Из страха, который, как известно, отключает одно полушарие, из-за сатанинского влияния, из-за низких вибраций духа, из-за ограничивающих мысль и мировоззрение убеждений?..

Я вижу мою Землю, а на ней идут войны, сшибаются миры, народы в кровь бьют друг друга, топят, сжигают и вешают, расстреливают в упор, один народ убивает другой, из ненависти, а бывает, из любви, ведь когда зверь-человек любит и страдает, он хочет убить того, кто причиняет ему страдания. А когда он любит и счастлив, он хочет убить того, кого любит и кто любит его, – чтобы его любовь никому другому не досталась. Чтобы только он один владел!

Свет с тьмой, добро со злом вечно сражаются, как на земле, так и на небесах:

Человек убивает человека. А там, вдали, над полем, я вижу, как сшибаются тучи. С одной стороны наползают тучи светлые, облака кучевые, летят из них стрелы солнечные, стрелы пламенные, стрелы огненные; с другой стороны наливаются тучи смоляные, нефтяные, дегтярные, цвета взорванной земли; они, несомые грозовым ветром, приближаются быстро и неотвратно; летят из них чёрные длинные копья, вонзаются в светлые, сияющие тела лёгких, победно-радостных облаков. Битва Небесная! Битва Предвечная! Там, в небесах, времена и народы бьются – не на жизнь, а на смерть. И очень важно, кто победит. И – надо победить! Даже если все умрём!

...Мы – сила! Мы – слава. Мы – вера. Мы – воинство. Мы пойдём сражаться за Родину и за жизнь, и мы уже – народ. И, умирая, падая на землю в кровавом бою, мы продолжаем жизнь. Мы не даём земле умереть! Ещё немного! Ещё живи! Ещё..

Мысли о встреченной на фронте синеглазой медсестре – её, раненую при бомбёжке санитарного эшелона, спас от смерти хирург Николай, а доктор Алексей нежно называл её Душой, Душенькой, – не оставляют героя книги. Она становится его упованием, его великой надеждой на жизнь, его любовью. У Алексея Душенька ассоциируется с Богородицей:

Где же душа, где она кочует, где ночует, где гнездится, птица? Если бы знать ответ! Синие очи глядели, летели в меня с византийской иконы. А может, с Херувимской-Серафимской фрески, где тёмно-золотой, как густой цветочный мёд, фон, и Оранта поднимает руки ладонями ко мне, и глядит на меня круглыми громадными, величиною с чайное блюдце, синими глазами, и хитон Её кровавый, и плащ Её синий, и спасибо, благодарю Тебя, Царица Небесная, что не оставляешь меня без призора, молчишь и глядишь, приглядываешь за мной; и всё меньше земного моего времени заботу Твою отработать Тебе, и всё больше понимаю я, важнее любви к Живому и постоянного, каждодневного воскрешения угасающего, бесконечно умирающего Живого нет у человека, да и у Бога, дела на земле.

Алексей лечит и молится. Он исцеляет людей чуткими руками и исцеляет Божиим Словом. Земное и небесное слились в единое целое, вневременное: «Душе моя, душе, восстани! что спиши!»

...я сам, сам те пламенные молитвы на ходу сочинял, и Господь меня простил за это, и не только простил, а в сём новом, северном Вифлееме, в сердцевине лютых полярных морозов, в скрещении кровавых закатных, посмертных ножей, среди расстеленных по выставшей землице белых парчовых платов, неистово, яростно сверкающих под низким молочным, сливочным Солнцем и под солью-россыпью юродивых звёзд, Господь меня – да, меня! жалкого слугу Своего! несчастного, битого-забытого иерея Своего! каждодневного пахаря чернозёмного-вселенского, безграничного поля Своего! – поддержал, ободрил, обласкал, с небес сильною рукой перекрестил! Так, без слова единого, Он сказал мне: делай, что должен делать, и буду Я тебе помощь!

И так понял Алексей, что его предназначение – собирать души живые, собирать сокровища душевной красоты, которые не подвергаются эрозии, работой духа укреплять каркас общественного бытия. Елена Крюкова уходит от политической его проекции, ей важна внутренняя, нравственная, совестливая, духовная опора, включающая в себя и личную, интимную, и общечеловеческую, общенародную составляющую. Войны всё равно заканчиваются, и наступают времена диалогов. И снова понадобятся верные слова для внутреннего оформления диалога цивилизаций, общения народов и культур.

Слово «славянин» возникло от полученного человеком в незапамятные времена небесного дара Логоса, Слова, чистого, совестливого, справедливого; оно дано нам, чтобы в очередной раз спасти планету от вырождения, эгоизма, злобы и хитрости и чтобы именно России, с её устремлённостью к высотам Духа, стать эпицентром позитивных исторических изменений. Народы мира, наконец, примут и поймут её, России, глубинность, святость, целомудрие, безмерные страдания, готовность через страдания созидать великую радость, и услышат её песнь, обращённую в небеса.

Книга «Лазарет» посвящена памяти великих русских хирургов: святителя Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) и Николая Михайловича Амосова.

Дарья СИМОНОВА

Родилась в Свердловске в 1972 году, окончила факультет журналистики Уральского университета. Жила в Санкт-Петербурге, сейчас – жительница Москвы.

Писатель и редактор, автор художественных книг: «Половецкие пляски», «Узкие ворота», «Свингующие». Постоянный автор журналов «Урал», «Знамя», «Новый берег», «Зинзивер» и других. Сотрудничала с журналом «От Питера до Москвы». Публиковалась и в сборниках современной прозы, в том числе в антологии на французском языке *La prose russe contemporaine* (Fayard, Paris, 2005). Автор историко-литературных генеалогических изданий «Родословия Огородниковых, Горлиных и Бурштейновых», «Дворовые или дворяне», «Родословная книга Балк». В 2011 году в «Центрполиграф» вышел детективный роман «Пятнадцатый камень», написанный Симоновой в соавторстве с Еленой Стринадкиной.

ВИТРАЖИ НА СОЛНЦЕ

О книге Марины Соловьевой «Разные двери»

У каждой книги свой характер. И он зависит не только от сюжета, от идейного замысла и от образов главных героев. Здесь речь скорее о неуловимой ауре, которая останется с тобой после прочтения. О том потоке ассоциаций и размышлений, который тебя захватил и унес, быть может, даже очень далеко от описываемых событий. Ведь литературное произведение – это вовсе не застывший текст. Как наблюдатель меняет объект, согласно квантовой физике, так и каждый читатель, знакомясь с книгой, по сути, становится соавтором. Его восприятие создает свою версию прочитанного.

Книга Марины Соловьевой «Разные двери» по характеру похожа на ажурный витраж, преобразованный солнечным светом. Рассказы, вошедшие в эту книгу, как напоенные лучами, витражные стеклышки, образуют некий единый узор бытия, в котором автор одновременно бережно и остроумно преподносит знакомые нам горькие и забавные перевертыши жизни. Жизни, главным образом, семейной. Но можно ли семью отделить от всего остального? Наша реальность не расчерчена на жанры: здесь романтическая комедия, а там семейная мелодрама, тут детектив, а там хоррор. Вся наша романтика и все наши «ужасы», в конце концов, имеют отношение к семье. Иногда даже к воображаемой, как в рассказе «Фамилия». И эта придуманная принадлежность к великому роду, в сущности, помогает герою выжить, обрести высокий мотив и смысл и передать их дочери. Святая ложь? Быть может.

Но в данном случае хочется думать, что выдающиеся представители того мощного родословного древа были бы не против обмана.

Все истории в этой книге проходят через лирическое «я» автора, что создает атмосферу достоверности. И пусть это ракурс неглубокого погружения, зато порой позволяющий увидеть грани жизни с неожиданной стороны. Например, кто знал, что девичьи оттопыренные уши в одноименном рассказе послужат мотивом для тонкой любовной драмы? И это было бы только комичным штрихом, если бы наш собственный опыт не говорил бы о том, что смешные милые несовершенства мы любим больше, чем достоинства. Или о том, что голос, этот удивительный инструмент человеческого тела, не стареет. Он ведь больше связан с душой, чем с материальной оболочкой, он не подвластен времени. Однако, возможно, в рассказе «Анестезия» речь не только об этом, но и о магии нашей памяти: тот, кого мы знали и любили юным и прекрасным, всегда таким и пребудет для нас. И если та самая брэнная оболочка сдастся под напором коррозии времени, то голос останется не тронутым ею. Он все тот же волнующий, манящий, нежный. Кто знает, может, это такой подарок человеку от высших сил, а большего ждать не стоит. Не оборачивайся назад, не сворачивай с пути, просто наслаждайся тем чарующим тембром молодости, если много лет спустя вдруг услышишь его в телефоне. Просто слушай и помни, что все любимое и подлинное с тобой навсегда, и никакая сила его не отберет...

Есть в этой книге два рассказа, которые словно две самые высокие вершины над горной грядой – впечатление от них очень сильное, и именно они дают представление о потенциале автора. Один из них называется «Время покажет». Здесь автор использует все тот же прием перевертыша, обманутого ожидания, однако тема на сей раз болезненная, неоднозначная и серьезнее, чем в других рассказах, проработана. Тема предательства. И вот что интересно: сегодня, когда яд потребительства, приспособленчества и подмены понятий активно размывает границы добра и зла, острота этой темы как будто тоже сгладилась. Но отрадно видеть, что автор не идет на поводу у «модной» парадигмы, и его герои сквозь боль, потери и разочарования ищут свою правду. И тот, кто выдержит испытание, знает: «Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица!»

Рассказ «Аллергия» по-бунински, в неспешном, курортном ритме подводит читателя к выстрелу прямо в сердце судьбоносным вопросом о пути и цели. О том, что в твоей системе ценностей важнее – давать или брать. И в том ли направлении ты движешься. Когда ты идешь своим путем, когда ты вошел в свою дверь, то тебе не придется делать нелепый выбор между котом и ребенком, как главной героине рассказа. Никто из нас не рожден, чтобы заполнить собой чужую пустоту. И если для тебя есть место в чьем-то сердце, то оно вовсе не сродни свободному креслу в зрительном зале, куда может сесть кто угодно. Это место всегда будет только твоим, что бы ни случилось.

Выбрать ту самую, свою дверь далеко не просто. И этот выбор мы делаем не раз на протяжении всей жизни. Порой мы только годы спустя понимаем, в какой момент был сделан судьбоносный шаг. Никто не застрахован от ошибки. Но, как писал Борхес, «ищи не дабы найти, а ради счастья искать». Об этом и рассказы Марины Соловьевой.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

Надежда Шевелилова

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 07.08.2023.

Выпущено в свет 28.08.2023.

Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.

Тираж 800 экз. Заказ

Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.